

ЕВГЕНИЙ БАРАБАНОВ
ЛЕВ КОПЕЛЕВ
ПАВЕЛ ЛИТВИНОВ
МИХАИЛ МЕЕРСОН-АКСЕНОВ
ДМИТРИЙ НЕЛИДОВ
РИЧАРД ПАЙПС
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ
БОРИС ШРАГИН
ЮРИЙ ОРЛОВ
ВАЛЕНТИН ТУРЧИН

САМОСОЗНАНИЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"
Нью-Йорк, 1976

ЕВГЕНИЙ БАРАБАНОВ
ЛЕВ КОПЕЛЕВ
ПАВЕЛ ЛИТВИНОВ
МИХАИЛ МЕЕРСОН-АКСЕНОВ
ДМИТРИЙ НЕЛИДОВ
РИЧАРД ПАЙПС
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ
БОРИС ШРАГИН
ЮРИЙ ОРЛОВ
ВАЛЕНТИН ТУРЧИН

САМОСОЗНАНИЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ

Составители:

П. Литвинов, М. Меерсон-Аксенов, Б. Шрагин

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"
Нью-Йорк, 1976

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

СТРАНИЦА	СТРОКА	НАПЕЧАТАНО	ДОЛЖНО БЫТЬ
5	12 снизу	и в правую	в правовую
7	13 снизу	вновь	.Вновь
51	7 снизу	Позднее	позднее
61	10 снизу	оскопляющейся	оскопляющей
66	6 сверху	имеет	имеют
71	15 сверху	жестокостью	жесткостью
74	5 снизу	бесправной	бесправовой
76	5 снизу	после "интернационализма" вставить "а под знаменем великорусского национализма"	
92	10 снизу	противостояние	противостояние
96	3 снизу	Анатолий	Антоний
107	3 снизу	ее представления	представления
113	2 сверху	литературы	литературной
118	13 сверху	возникла	возникала
121	10 снизу	эвфемизы	эвфемизмы
126	17 снизу	иллюзорно	иллюзорного
130	16 сверху	соединенных как-ким-то	соединенных с как-ким-то
134	5 сверху	закодированный	закодированной
135	10 снизу	и неистребимой	о неистребимой
135	7 снизу	не обманывали	ни обманывали
146	1 сверху	набора	выбора
244	13 снизу	наболевший	надоевший
246	4 снизу	есть	здесь
311	11 сверху	потребностей	потребителей

К сборнику "Самосознание", издательство "Хроника", Нью Йорк, 1976 год.

В ЭТОЙ КНИГЕ ПРОПУЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СНОСКИ

На стр. 154:

* S.Frederick Starr, Decentralization and Self-Government in Russia, 1830-1870, Princeton, 1972, p. 48.

На стр. 155:

* M. Le Comte de Segur, Memoirs, Paris, 1826, II, p. 297.

На стр. 157:

* Hans-Joachim Torke, 'Das russische Beamtentum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts', Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte, B.13, Berlin, 1967, s.227.

На стр. 187:

* А.Кропоткин, цит. по: Ronald Hingley, The Russian Secret Police, New York, 1970, p. 55.

На стр. 194:

* George Kennan, 'The Russian Police', The Century Illustrated Magazine, v. XXXVII, 1888-9, p. 890-2.

На стр. 195:

* George Kennan, 'The Russian Penal Code', The Century Illustrated Magazine, v. XXXV, 1887-8, p. 884-5.

На стр. 200:

* Наиболее полное описание деятельности Зубатова см. в Dimitry Pospislovsky, Russian Police Trade Unionism, London, 1971.

На стр. 203:

* Grand Duchess Marie, Education of a Princess, New York, 1931, p.279.

На стр. 206:

* Richard Pipes, Struve: Liberal on the Left, 1870-1905, Cambridge, Mass., 1970, p.p. 257 & 279.

На стр. 221:

* Eisermann G. Die Bedeutung des Fremden für die Entwicklungsländer. — In: Soziologie der Entwicklungsländer. Stuttgart usw., 1968, s. 131-157.

На стр. 222:

* Simmel G. Soziologie. 2 Aufl., München-Leipzig, 1922, s. 510.

** Цитируется по: R.F.Behrendt. Die wirtschaft- und gesellschaftlich unterentwickelten Länder und wir. Bern-Stuttgart, 1961, s. 105.

К сборнику "Самосознание", издательство "Хроника", Нью Йорк, 1976 г.

От составителей

Статьи, вошедшие в предлагаемый читателю сборник, написаны в разное время в Москве для самиздата. Исключение составляет статья Литвинова, написанная специально для данного издания в эмиграции, а также статья американского историка Пайпса, представляющая собой главу из его недавно появившейся книги „Россия при старом режиме”, переведенную В. Козловским.*

Необходимость публикации сборника определилась как бы стечением объективных обстоятельств: вошедшие в него материалы отчасти оказались отвергнутыми существующими в эмиграции русскими журналами, отчасти же, и не будучи им предложены явно противоречили утвердившимся в русских эмигрантских кругах идейным течениям.

Направление мысли, объединяющее статьи данного сборника, можно назвать *либерально-демократическим*. Поскольку сборник не замышлялся как целое до написания этих статей и они не были связаны какой бы то ни было наперед заданной программой, это определение нуждается хотя бы в кратком комментарии.

История русского либерализма была недолгой и неудачной. Как течение, добывающееся превращения России и в правую представительную демократию, либерализм возник к концу XIX века. Правда, либерально-демократические идеи послужили критическим выводом из всего общественно-политического опыта русской интеллигенции предшествующих поколений — декабристов, народников, марксистов. На протяжении первых двух десятилетий XX века либерализм успел добиться известной степени свободы для русской общественной жизни и культуры, пришел на несколько месяцев к власти после распада самодержавия и был сокрушен, вырван с корнем большевиками.

В среде пореволюционной эмиграции либералы оказались в яв-

* В то время, когда сборник уже набирался, из Москвы были получены статьи Ю. Орлова и В. Турчина, которые по техническим причинам включены не в общем алфавитном порядке, принятом составителями, а в конце сборника.

ном меньшинстве. Трагедия большевистского переворота, выбросившая и продолжающая выбрасывать миллионы русских в изгнание, привела многих к аберрации, заставлявшей винить в происшедшей катастрофе именно либералов. Их обвиняли в том, что они своими требованиями свободы расшатали старый порядок и не сумели достаточно круто поступить с большевиками, когда оказались у власти. Крайности „левого“ тоталитаризма как бы по индукции склоняли противников большевизма к тоталитарности противоположного толка. Конституционных демократов ненавидели тогда едва ли не больше, чем большевиков. Ужасы красного террора, духовная опустошенность, которую принес с собой новый порядок, породили склонность идеализировать царское прошлое и осуждать всех, кто высказывал тогда недовольство, добивался реформ. Жажда мщения не располагала к умеренности, терпимости, отрицанию насилия, которые органичны для либерализма.

Поэтому если в период между 20-ми и 50-ми годами еще оставались количественно малочисленные, но творчески и интеллектуально могучие литературные силы, продолжавшие исповедовать ценности свободы и правовой демократии, с этих позиций пытавшиеся осмыслить русское прошлое и советскую современность, то они составляли в русской эмиграции меньшинство и оказались изолированными в эмигрантской среде.* Гораздо больший успех имели официально признававшиеся в царской России национализм и националистически истолкованное православие.

Между тем, когда началось уже в послесталинской России возрождение интеллигенции, когда к середине 60-х годов вновь сложились там идеи демократизма и началась тяжелая борьба за безусловное признание фундаментальных прав человека, произведения именно таких авторов, как Бердяев, Булгаков,

* Приведем свидетельство Г.П. Федотова: „Оглянемся вокруг нас. Мы живем среди людей, сделавших из отрицания большевизма свое исповедание веры... В сущности, многие из нас вполне готовы к тоталитарному строю — только, конечно, не коммунистическому. Для многих важнее не свобода, а символы, во имя которых попирается свобода. Они предпочитают символ нации символу пролетариата, двуглавый орел — серпу и молоту. Вот и все. Борьба идет не за свободу и даже не за Россию, а за СВОЮ Россию.”

(„Завтрашний день”, „Современные записки”, № 66, Париж, 1938 г.)

Изгоев, Милюков, П. Струве, Федотов, Франк, стали особенно читаемы. С ними, как и с авторами более ранними — Герценом, Салтыковым-Щедриным и Короленко, например, — восстанавливалась линия идейной преемственности.

В открытых конфликтах с утвердившимся в современной России полицейским режимом стала все явственней ощущаться глубокая духовная близость с теми людьми русской истории и культуры, которые еще в царские времена боролись против произвола, против насилия над личностью — за признание человеческого достоинства, за свободу, утвержденную на базе законности и права. Современные жертвы душителей слова осознают свою преемственность с такими же жертвами царизма, начиная с Радищева. Стало все более очевидно, что противники у нас не разные, а в сущности один и тот же, общий, хоть и на разных исторических этапах.

Это возродившееся сознание демократической преемственности сообщило моральную силу импульсу к свободе и одновременно лишило современный порядок тех опор в русской истории, тех традиций, которые он присвоил себе не по праву. Стала очевидна опрометчивость тех идейных течений, которые продолжали ненавидеть демократов и либералов, то есть практически всю русскую интеллигенцию, считая их вольными или невольными предтечами большевизма, а на деле помогая советской официальной пропаганде присваивать себе то, что ей не принадлежало, и тем самым сохранять на своем фасаде бутафорские имитации справедливости и демократизма, вновь обретенные либерально-демократические позиции помогли увидеть парадоксальную и трагическую родственность советских и антисоветских интерпретаций русской истории, хоть и принимавшихся с противоположных политических позиций, хоть и приводивших к противоположным моральным оценкам.

Другой особенностью либерально-демократических настроений, возникших в России 60-х годов, была их глубокая и сознательная связь со старыми демократиями Запада. Вместо традиционного для русского национализма разных толков — вплоть до официально советского — подозрительного отношения к Западу, вместо присущих ему чувств превосходства

над Западом и постоянной претензии его учить возникла потребность у него учиться, наладить с ним контакты, искать у него поддержки, сотрудничества с ним. То же можно сказать и о возрождении религиозности в среде либерально-демократически настроенной современной русской интеллигенции. Ей оказались близки не столько традиционно-изоляционистские, консервативные тенденции русского православия, сколько идеи религиозного возрождения, способного ответить потребностям современного человека, сколько стремление к экуменизму, выношенное либеральным меньшинством русской эмиграции.

Либерально-демократическое направление в современной России, как и весь западный мир, стремится извлечь все необходимые уроки из недавно закончившейся войны с фашизмом. Оно сознательно опирается на Всеобщую декларацию прав человека ООН как на высшее достижение демократического сознания в послевоенном мире. Оно органически входит в такие международные общественные организации, как Лига защиты прав человека, как Международная Амнистия. И это сотрудничество с Западом, с западной интеллигенцией оно готово расширять и продолжать во всех областях — в частности, и в области изучения исторической и современной России.

Началом такого сотрудничества и является, по замыслу составителей, публикуемая в данном сборнике глава из книги Ричарда Пайпса. Читатель сможет убедиться, что его оценки близки другим авторам, хоть и возникли из другого опыта.

Послесталинское двадцатилетие, когда ослабел террор и впервые за советскую историю стали возможны открыто критические выступления, показало, что идеи демократических свобод, что ценности права обрели огромную моральную силу. Советской бюрократии при всем чудовищном могуществе созданного ею аппарата подавления нечего противопоставить им идейно. Она вынуждена трусливо скрывать или отрицать вопреки очевидности установленное ею в стране бесправие. Поэтому, несмотря на свою малочисленность, несмотря на тяжесть понесенных жертв, движение за права человека в Советском Союзе не только продолжается, но и достигло уже извест-

ных успехов. Сегодня это трудно не заметить. Всего за одно десятилетие, начатое арестами 1965 года и попытками правительства подавить возрождающееся свободное русское слово, возникла целая литература самиздата, сформировались разные идейные, религиозные и национальные течения, информация о нарушениях прав человека в Советском Союзе систематически делается достоянием мирового общественного мнения, репрессивные действия властей в отдельных случаях удаётся пресекать, число людей, добившихся права на эмиграцию, исчисляется десятками тысяч, различные неофициальные контакты советских граждан с границей все больше становятся бытовым явлением.

Однако, несмотря на эти очевидные достижения, возродившийся в современной России либерализм недостаточно определенно заявил о себе теоретически. Мы не хотим сказать, что не было книг и статей либерально-демократического направления. Напротив, они были и не остались незамеченными. Назовем хотя бы таких авторов, как А. Амальрик, А. Есенин-Вольпин, Г. Померанц, А. Сахаров, А. Твердохлебов, В. Турчин, В. Чалидзе. Но идейная направленность их работ как бы тонула в общем потоке „инакомыслящей” литературы.

Кроме того, практическая защита прав человека, которую берут на свои плечи главным образом либерально настроенные люди, отрывает их от работы теоретического самовыявления. Защита права на существование всех идейных направлений, в том числе и тех, к которым они относятся критически, привлекает на либералов преследования, которые мешают литературной деятельности.

Для либерально-демократического направления естественно соблюдение норм толерантности, уважения к иным мнениям и взглядам.

Разумеется, представители других взглядов могут этих норм не признавать и имеют на то безусловное право. Но и для либерально-демократического направления настала пора заявить о своем особом существовании.

ПРАВДА ГУМАНИЗМА

— Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят "невиновен", а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят *человеку*, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта *вера в человека* сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В Бога веровали и Бирон, и Аракчеев, и инквизиторы. Нет — вы в человека уверуйте!

А.П. Чехов,
"Рассказ старшего садовника"

I

Новоевропейская культура двойственна в своем происхождении: она вышла из Церкви, но формообразующим ядром ее был гуманизм. И до сих пор проблема гуманизма остается центральной проблемой нашей духовной жизни. Духовный и нравственный смысл ее еще не до конца понят христианским сознанием. Как и современная культура, гуманизм двоятся и легко переходит в свою противоположность.

Гуманизм имеет христианские истоки: в основании его лежат мистические движения XII и XIII веков, святой

Франциск и Данте — от них берет свое начало гуманистическая вера в святую человеческую личность. Об этих истоках часто забывают и пытаются свести гуманизм только к "языческой реакции" на христианство. Действительно, в гуманизме эпохи Ренессанса и Просвещения эти черты проявились достаточно определенно, однако, не они составляют главное. Пафос гуманизма — творческая активность личности. Личность не хочет мириться с внешними авторитетами. Она утверждает свободу человека, свободу его совести, свободу его исканий. Именно эта свобода, столь часто граничащая со своеволием, определяет двойственный путь новоевропейского гуманизма.

Гуманизм возник как движение, стремившееся освободить жизнь духа от церковной опеки, снять монашеско-аскетические ограничения свободному развитию человеческой личности, раскрыть ценности земной жизни в государстве, хозяйстве, искусствах, науке. Впервые эти темы начинают изучать уже в позднем средневековье — в культе рыцарского сословия, в поэзии трубадуров и миннезингеров, в усилении индивидуальных запросов и требований, в столкновении таких значительных личностей как Абельяр и Бернард Клервосский. Однако радикальный поворот начинается значительно позже — с "героической эпохи" итальянских городских коммун. Культура города, а не монастыря и замка, становится почвой гуманистического движения. Здесь ярче проявляется рост земных интересов, и оттого глубже и сознательнее идет процесс выработки нового мировоззрения. В центре этого мировоззрения — тема о достоинстве человека, о его судьбе и назначении, о его силах и возможностях. Отсюда — интерес к прошлому, возрождение классической древности, которая становится одним из основных элементов в образовании и художественном творчестве; отсюда же — влечение к самоанализу и изучению природы.

Тема человеческой судьбы, познавательных и творческих возможностей личности подводи́ла к критическому пересмотру традиционного церковного учения. Так было в Италии; а еще более напряженно — в северной Европе, в странах германской культуры, где гуманизм развивался под знаком углубленной богословской заинтересованности. Новое знание

о человеке, открытие богатого мира классической античности столкнулись с христианством и постулировали необходимость синтеза: как оправдать право на свободное творчество и познание? как примирить вновь открытую классическую культуру с христианством? как соединить "божественного Платона" с учением Христа, Афины — с Иерусалимом? И гуманизм пытается обрести искомый синтез на путях "общечеловеческой" этики. Но для этого нужно доказать, что все религии и философские системы суть лишь различные исторические проявления единой, общей *всему* человечеству религии. И вот, в "Письмах об евангелической философии" Эразм Роттердамский развивает мысль, что новизна христианства состоит лишь в более полном и действенном откровении того, что было известно и античной философии, и ветхозаветным праведникам. Германский гуманист Муциан Руф идет еще дальше: по его мнению, Божественное Откровение является не чем иным, как вложенным в человеческую душу нравственным законом. Истина открывается независимо от сверхъестественного начала. Гуманизм настойчиво замалчивает абсолютное значение Богочеловеческого воплощения Христа. Для гуманистов эпохи Ренессанса христианство — это религия, которая лишь глубже и яснее учит тому же, о чем уже было известно древнему миру. При этом, как подчеркивает Эразм, евангельское учение полностью соответствует законам человеческой природы и естественного разума. Первородный грех, испорченность человека, искупительная жертва на Кресте, вечный соблазн Евангелия для безблагодатного ума — все это отодвинуто на второй план. И перемещая центр тяжести на моральное учение, которое отождествляется с "естественным законом" нравственной совести, гуманизм, в конечном итоге, отрывает этику от религии, превращая человеческую совесть в последнюю и окончательную инстанцию распознавания добра и зла.

Не будем рассматривать здесь дальнейшие исторические метаморфозы гуманизма. Отметим лишь неизменное и неотъемлемое — веру в человека, в его разум и нравственную отзывчивость, в нерасторжимое единство всего человеческого рода, разделенного религиозными и социально-идеологическими перегородками.

Гуманизм итальянского Возрождения, гуманизм Эразма Роттердамского, Рейхлина, Муциана Руфа, Лефевра д'Этапль, Бюде, Колета, Томаса Мора — все еще внутри христианства. Гуманизм этой эпохи утверждает христианство как религию любви и терпимости, проповедует отказ от фанатических форм борьбы с инакомыслящими, выдвигает требование частичных реформ Церкви: упрощения обряда, изучения первоисточников христианства и культуры древнего мира, изменения системы образования. Но гуманизм не срастается с христианством, а все более и более отчуждается от него. Роковую роль здесь сыграли и косность самих христиан, и жестокая борьба между протестантской Реформацией и католическим Римом, и движение контрреформации, выступившее против гуманизма. Сожжение Джордано Бруно, помещение труда Коперника в индекс запрещенных книг, процесс Галилея, беспощадные преследования свободной научной мысли — все это только углубляло пропасть между христианством и гуманизмом. Однако и вне зависимости от карательных действий Церкви, в гуманистическом утверждении автономии человека, свободы его разума, совести и творчества, в стремлении соединить "глубину христианского чувства с вновь открытую чувственностью и красотой природы" (Э. Трельч) уже скрывалась неизбежность дальнейшего разрыва. И этот разрыв человека с религиозным центром жизни сделал путь гуманизма в истории двойственным и трагическим.

Трагедия начинается с того, что творческое усилие создать новый мир, продолжить творение нередко оборачивается плененностью внешним миром, миром природной необходимости. И здесь сам гуманизм легко принимает культурно-идеологическую форму. Утверждая человека как высшую и последнюю ценность, он замыкает его в кругу собственной самодостаточности. При этом порыв, дерзновение, выход человека за пределы самого себя к вечности, к абсолютному — оказывается не нужен. И эта "вера в человека" уже не освобождает: человек оказывается в плену у самого себя, будь то плен обостренного индивидуализма или плен коллектива. Здесь с полным правом можно говорить о гуманизме как о "религии

человекобожества". Но это ложная, бесчеловечная религия: в последних своих пределах абсолютизации человека гуманизм становится неизбежно враждебным человеку. Двадцатый век сделал эту истину непреложным фактом.

Христиане чаще говорили о лжи гуманизма и не всегда хотели понять его правду. Действительно, нам легко критиковать гуманизм за его гордыню и своеволие, но нам гораздо труднее принять право человека на дерзновенный опыт свободы, понять это право как божественный дар, увидеть его ценность в перспективе богочеловеческого претворения мирского царства в Царство Божие. Мы как будто боимся свободы, не доверяем ее путям и слишком легко отождествляем ее с произволом. И это тем более странно, что мы исповедуем Истину, которая есть утверждение свободы. Однако именно при свете этой Истины мы должны признать: восстание против Церкви и отпадение от нее имели и имеют своим основанием не одну лишь "языческую реакцию" или "человеческую гордыню". Борьба идет не только против Духа, но и против ложного спиритуализма, не только против Бога, но и против искаженного Его понимания, не только против Церкви, но и против магизма и идолопоклонства. Гуманизм принял на себя жертвенный подвиг поиска Подлинности, и в этом смысле он может быть истолкован как трагический, но необходимый опыт внутри христианства. Путем открытий, проб и неизбежных ошибок гуманизм попытался утвердить *новый опыт*, смысл которого прекрасно выразил христианин Бонхоффер: "Человечество стало взрослым". Из этих слов вовсе не следует, что современный человек освободился от заблуждений, что в поисках подлинности и полноты человеческого существования он обрел истину где-то помимо христианства. Нет. Но заявив о своем совершеннолетии, он еще более обострил свою ответственность за судьбы врученного ему мира. "И это вовсе не означает самообожествления человека, — отмечает американский социолог религии Роберт Белла, — потому что верить во всемогущество желаний свойственно малолетнему ребенку. Человек же, достигший совершеннолетия, отдает себе отчет в неизбежной своей ограниченности. Однако

последнее его не пугает — скорее это побуждает его стремиться к полному раскрытию своей человеческой сущности”.

И вот здесь, в утверждении нового опыта и новой правды о человеке, начинается второй акт трагедии гуманизма: его поиск, его инициатива, его совесть и правда оказываются ненужными христианскому миру. В силу ”исторической необходимости”, поставленные перед этой инициативой и этим опытом, многие церковные христиане думают о нем с нескрываемым скепсисом — как о каком-то затянувшемся и обременительном маскараде: ”Сколько все это может длиться? Скорей бы занавес...”

Но при угасании собственной христианской инициативы, при умалении пророческого начала в Церкви нет ничего удивительного, что в современном мире бремя человеческой совести принимают на себя люди, стоящие за стенами храма. Это они свидетельствуют о лжи и насилии, борются за права человека и за свободу его творчества, творят дела милосердия и действительно помогают ближним. Несомненно, их нравственный пафос имеет христианские истоки. И вопреки своим ошибочным и замутненным представлениям о христианстве они воплощают в жизни подлинную волю к Добру. Используя терминологию католического теолога Карла Ранера, наш современник, священник Сергей Желудков, предлагает называть этих людей ”анонимными христианами”.

II

Священник С. Желудков пока единственный из современных православных писателей, кто всерьез задумался над религиозным значением жизни и опыта людей доброй воли. И как бы с богословской точки зрения ни оценивать результаты его размышлений, от них нельзя просто отмахнуться, пройти мимо.

По мнению о. С. Желудкова, есть не только христианство веры и надежды, но и христианство *воли*. ”Христос — Вечный Божественный Человек, и христианство в этом третьем зна-

чении слова есть стремление к осуществлению идеальной человечности. Не осуществление — это было бы христианство только святых — а воля, стремление ... Это не этическое "учение" Евангелия, а сама *жизнь* в стремлении к идеалу человечности, который выражен, конечно, и в евангельской проповеди, но и независимо от этого пребывает в душе человека. Этот идеал — Христос, не только евангельский образ Христа, но Сам Христос, присутствующий в единосущном Ему человечестве доброй воли... Все лучшее в нашей человечности, всякое стремление к духовной красоте, всякое движение любви и доброй свободы — все это таинственно приобщает нас к абсолютности Вечного Человека". Именно здесь, по словам о. С. Желудкова, берет свое начало "Церковь доброй воли", открытая для всех людей на всех уровнях духовного и интеллектуального порядка, во всех религиях и без религий" (Священник С. Желудков — "Христианство для всех", Самиздат, 1973 год).

Попытка о. С. Желудкова таким образом расширить понятие Церкви встретила в наших церковных кругах резкую критику. В этой попытке увидели стремление "подогнать христианство под секуляризованный гуманизм", "втиснуть его в прокрустово ложе наших "гуманных" и "гуманистических" представлений". Реакция характерная и многозначительная. К живому, действенному опыту осуществления добра церковные христиане подошли с трафаретом традиционных представлений: "Что стоит вся эта "добрая воля", если ее носители не исповедуют никеоцарьградского Символа Веры? Разве не прав был Августин, утверждавший, что вне христианства все добродетели только блестящие пороки?" Не менее характерно и само стремление свести добрую волю за стенами храма к понятию "безрелигиозного гуманизма". При этом слово "гуманизм", особенно в сочетании с эпитетом "секуляризованный", становится синонимом какой-то безусловной неправды, заблуждения или, в лучшем случае, духовной ограниченности, добренькой слепоты, глуповатого оптимизма.

Не будем оспаривать подмену терминов: "гуманизм" вместо "анонимного христианства". Действительно, в нашей стра-

не многие люди доброй воли не знают православного Символа Веры, не слышали его. И как бы помимо христианства, за оградой Церкви они направляют свои усилия к утверждению начал человечности, подавленных тоталитаризмом. Гуманизм ли это? Несомненно. Но не только в своих проявлениях — по самой "исторической ситуации" этот гуманизм принадлежит к какому-то *новому* типу; и новизна его безусловна: впервые человек отстаивает свои права не перед "господством религиозного дурмана", не перед "самодержавным деспотизмом", а перед всеобъемлющей идеологией, которая называет и требует себя принимать не иначе, как в качестве "подлинного гуманизма". И вот, попытаемся понять, почему этому новому гуманизму христиане так поспешно отказывают в *религиозной правде* и даже готовы свести его к антихристианству.

Несомненно, здесь многое объясняет традиция — опыт Церкви в истории, ее борьба с агрессивным безбожием, ее противостояние человеческому самообожествлению и ложным идеалам посястороннего счастья. И лучшие умы русского религиозного Ренессанса XX века, прошедшие через марксизм и освободительное движение, а затем вернувшиеся в Церковь, также много говорили о гибельных путях гуманизма. Но уместно ли сегодня механически повторять их аргументы по отношению к *иной* реальности?

Нет, новый гуманизм, который в атмосфере всеобщего страха и лживой покорности отстаивает высокое достоинство человека, вовсе не стремится к "человеческому раю" и отнюдь не утверждает "самодовольство человеческой ограниченности". Ему чужда "мораль благополучия и срединности". Он не претендует на идеологическое водительство, но прежде всего осуществляет конкретное и безусловное добро в жертвенном отречении от благоустроенности и безопасности. И ироническое отношение многих христиан ко всему этому как к "светскому героизму", копошащемуся где-то под ногами у "подвижничества", или высокомерно-снисходительное сведение нравственных усилий некрещенного мира к понятию "автономного добра" свидетельствует лишь о нашем слепом фарисействе.

Но пора прозреть: *добро неделимо*. В жизни нет и не было ни относительного, ни автономного добра. Автономны только идеологии, узурпирующие право быть окончательным критерием в распознании добра и зла. Поэтому справедливо говорить лишь о частичности и неполноте *воплощений* добра в человеческой истории. Но кто из нас, христиан, может похвалиться, что он способен осуществить добро в "полном объеме"? Полнота добра — это Бог, и вне Его нет и не может быть ничего подлинно доброго. Это значит также, что в бытии нет и не может быть того существующего помимо Бога "природного" или "естественного" добра, с которым Церковь могла бы вступить в диалог. Церковь есть становящаяся полнота, и по существу, онтологически, в ней есть все и она есть все. Лишь исторически пути действенного осуществления добра в эмпирической церковной организации и в мире так трагически разошлись. Но если мы знаем, что подлинное добро и силы на его осуществление исходят только от Бога, то будет большим нечестием ограничивать Бога в способах сообщения этих сил. Тем более нечестиво отрицать религиозную значимость воли к добру, если она не закреплена благословением священника или духовника. Этим мы только унижаем наше представление и о Боге, и о Церкви, и о священнике.

Конечно, естественно и вполне объяснимо желание христиан провести черту, отделяющую сферу сакрального от профанного — область веры и благодати от всего остального, что к этой области не относится. Однако не всегда христианское сознание отдает себе отчет в том, что черта эта *условна и относительна*; чаще всего она имеет *отрицательный* характер и служит прежде всего тому, чтобы в конкретной исторической ситуации указать христианам необходимые вероучительные и дисциплинарные нормы. В целом же, по своей сути христианство не сводится к "нормам". И потому будет большой ошибкой абсолютизировать эту черту, отождествляя ее границу с границей самой Истины. При таком подходе и Истина, и Церковь легко "опредмечиваются" и фетишизируются, превращаются в застывшую форму, в идола; в "*что*", а не "*кто*". И тогда остается лишь препарировать живую действительность,

отсекая от нее все неподходящее, чтобы подогнать ее под трафарет установившейся формы. Именно в этой плоскости и совершилась трагедия старообрядческого раскола, когда за верность устоявшимся формам обряда и быта, за грамматические ошибки и опечатки христиане шли на смерть и мучения... Но исторические формы христианской жизни подвижны и изменяемы. Церковь — богочеловеческий организм, в котором полнота божественной жизни постоянно раскрывается человеком в истории, но раскрывается со всей ограниченностью и относительностью той или иной эпохи. Наглядное свидетельство тому — каноническое право, в котором неизменное (догмат) просвечивает в изменяющихся и текучих способах регулирования церковного устройства. Это вовсе не означает релятивизма: меняются исторические условия существования Церкви, прежние формы ветшают, становятся условными, и перед христианами встает задача *творческого раскрытия* того, что еще не было выявлено и осуществлено. И так обстоит дело не только в сфере канонического права, но и во всем остальном, даже в области догматики и уж, конечно, антропологии.

Иными словами: бытие самой Церкви — Народа Божьего — по самому существу своему есть бытие творческое и динамичное. И творчество должно быть обращено не только к специфически "церковным", культовым формам, но и к тому, что Церковью в ее эмпирическом бытии еще не стало, а лишь призвано стать и войти в ее полноту. И здесь нужны духовная зрелость и чуткость, инициатива и дерзновение. "Мы можем сказать, где Церковь, хотя иногда и не можем сказать, где ее нет," — писал русский религиозный философ Л.П. Карсавин. "Ведь то, что становится Церковью, в меру этого становления уже церковно и ведомо самой Церкви как таковое, и однако может оставаться еще невидимым, как церковное, для очей грешных и телесных. Так говорит Церковь о "неплодящей языческой церкви", отмечая наличность истинного, то есть церковного в самих заблуждениях..."

Но если мы живем в Церкви только как пассивные потребители? Если наше христианство — номинально? Если у нас нет других забот, кроме опасений, "как бы не впасть в ересь"

и сохранить чистоту своих риз от "мирской грязи"? Не найдет ли тогда Господь себе сынов и работников за церковными стенами? И, может быть, уже нашел?

Сознание собственного превосходства и брезгливая подозрительность ко всему "нецерковному" мешают нам правильно оценить религиозно-исторический смысл нового гуманизма. Мы подходим к нему с устаревшими идеологическими мерками и при этом совсем не хотим понять своеобразие его опыта, его изначальных интуиций. Мы не видим в нем ничего нового. Даже в самом главном — в стремлении к первичной подлинности жизни, к духовной активности, к жертвенному служению добру — даже здесь мнятся нам образы прошлого: все те безбожные "благодетели" и "человеколюбцы", что положили свою жизнь на создание тоталитарных режимов. И забывая об инквизиции, кровопролитных религиозных войнах, о еврейских погромах и изощренных преследованиях раскольников, еретиков и сектантов, мы, не задумываясь, декларируем, что только христианство может спасти мир от кошмара социальной бесовщины. Но не иллюзия ли это? И в жизни, и в истории не было и нет однородного христианства. Есть лишь различные степени приближения ко Христу. Есть христианство святых и праведников, но есть христианство духовных язычников и изуверов. В образах старца Зосимы и монаха Ферапонта Достоевский показал, что даже в одном монастыре они могут существовать бок о бок. И сегодня, скажем, на заседаниях Христианской Мирной Конференции богословы и иерархи наперебой пытаются убедить нас, что есть особый "святодух" Революции и Прогресса и потому "нет ничего аморального и антихристианского в применении оружия против угнетателей". Другие же, считая про себя всякие преобразования в мире суетой сует, ради "тихого и безмолвного жития", ради "смирения" и "послушания" готовы превратить себя в идеальную марионетку, чтобы уже "бесстрастно" отдавать "дань Кесарю" (!) — славить прелести тоталитарной системы.

Однако существо дела не в частных эмпирических извращениях, а в нашей готовности постоянно отличать подлинные

реальности от идеологизированных символов. Ведь если двойственность, о которой мы говорим, оказывается справедливой по отношению к христианству, то что мешает принять ее и в отношении к гуманизму? Евангелие учит нас различать духов, а не сводить всю сложность жизни к набору известных формул.

Об этом в свое время настойчиво говорил известный русский религиозный мыслитель Вл. Соловьев. В его реферате "Об упадке средневекового миросозерцания" есть замечательные строки — строки на каждый день и уж особенно на наш сегодняшний.

"Если христиане по имени изменяли делу Христову и чуть не погубили его, если б только оно могло погибнуть, то отчего же *не христиане* по имени, словами отрекающиеся от Христа, не могут послужить делу Христову? — писал Вл. Соловьев. — В Евангелии мы читаем о двух сынах; один сказал: пойду — и не пошел, другой сказал: не пойду — и пошел. Который из двух, спрашивает Христос, сотворил волю Отца? Нельзя же отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков совершился в духе человеколюбия и справедливости, то есть в духе Христовом. Уничтожение пыток и жестоких казней, прекращение, по крайней мере, на Западе всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение феодального и крепостного рабства — если все эти христианские преобразования были сделаны неверующими, то тем хуже для верующих".

"Тем хуже для нас," — можем повторить и мы сегодня. Но найдем ли в себе мужество для этого? Во всяком случае, не будем торопиться осуждать и защищать, а попытаемся вступить в диалог с не пошедшим еще за нами человеком доброй воли.

Впрочем, для многих даже сама потребность в диалоге представляется религиозной ущербностью. "Если твое место в Церкви прочно, зачем суетиться, обременять себя лишними идеями, когда все найдено, когда дверь открыта? Нужно только ждать, когда народ валом повалит в эту дверь. Если же не повалит — его дело. Пусть толпится на своей "житейской ярмарке". Это "онтологическое" разделение всего Божьего мира

на храм и ярмарку основано на предположении о полной религиозной пустоте всего, что находится вне церковных стен. В этом мире, лишенном благодати церковных таинств, для многих из нас априорно нет и не может быть ни правды, ни добра. И если для нас их нет в истории, в социальности и культуре, то тем более нет их и в гуманизме.

Но можем ли мы сами скрыть от себя потребность в ценностях гуманизма теперь — когда наше гордо исповедуемое и часто очень комфортабельное христианство более всего нуждается в том, что составляет святыню этих ценностей: утверждение свободного, личностного и творческого бытия человека? Мы предпочитаем гнать от себя такие вопросы. Но сама настойчивость и ярость, с которыми мы обличаем их перед собой, ищем различные поводы для этих обличений, выдают наше внутреннее смятение и неуверенность. Ведь давно уже в нашей религиозной жизни мы испытываем потребность в новых словах и пророчествах. И если мы не дерзаем на пророческое служение в церкви, то прислушаемся хотя бы к тому, что говорится за стенами храма. Вместо торопливых, расхожих, ничего не значащих слов о "житейской ярмарке" и "антихристовом добре" попытаемся дать подлинно религиозную оценку тем святыням гуманизма, которые он утверждает.

III

На первый взгляд, в словах "свобода", "личность" и "творчество", которые и составляют святыню гуманизма, мы не слышим ничего нового. Разве не призваны мы к свободе славы детей Божиих? Разве не проповедуем мы, что личность есть основной принцип жизни во Христе? Разве не наша задача творить волю Божию не как Его рабы, но как Его сыны и друзья?

Все это так. И все же мы должны признаться, что в истории христианство слишком часто игнорировало эти начала. В борьбе с ересями арианства и монофизитства Церковь утвердила истину о Богочеловечности Христа, но еще не раскрыла всей правды о человеке и его творческом призвании. Глубокие ин-

туции отцов Древней Церкви о богоподобии человека, об образе Божиим в человеке как основе его личности в творческом начале, о теосисе как свободном восхождении, твари к воссоединению со своим Творцом были в массовой религиозной психологии оттеснены сознанием греховности и порочности человеческого существа. Идея творчества подменилась идеологией смирения перед авторитетом, а аскетика, понятая лишь в своем негативном аспекте, стала главным мерилом человеческой жизни.

В этом историческом процессе религиозного отчуждения человека от самого себя якобы во имя "высшего" и "божественного", но по существу внешнего и нетерпимого, под подозрением оказалась сама *человечность* человека, то есть именно то, что делает его ценным, а его существование — необходимым. В традиционной антропологии человечность обычно отождествлялась с низменным в человеке, с его своеволием и похотью. Высшую ценность человека видели только в сверхприродной искре образа Божия, вживленной потусторонним актом в косную человеческую природу. Сам же человек легко растворялся между крайностями греховного и Божественного, а его творчество мыслилось только как пассивное медиумическое отражение или запредельного, или демонического. И стремясь вырвать человека из-под власти косности и греха, нередко забывали о Божественных истоках его свободы. Внешнее принуждение, запугивание или грубое насилие казались вполне оправданными высшей целью — спасением человеческой души в загробном мире. Но это инквизиторское противоборство с человечностью не возвысило, а только расщепило жизнь человека, заставило его искать и осуществлять свои ценности за оградой Церкви. И что не менее важно: умаление человечности человека привело к умалению человечности Бога.

С тех пор прошло много времени. Но, кажется, мы, христиане, еще не в достаточной мере осознали эту трагедию, не проявили необходимой воли к ее разрешению. И потому человечность по-прежнему остается гонимой. В одной части света соблазном потребительского благоденствия ее стараются занять, обкатать, пристроить к делу и, в конечном счете, свес-

ти на нет; в другой — что гораздо серьезнее — человека, его свободу и творчество преследует тоталитарное государство, поставившее своей целью подавление всех не соответствующих его идеологии духовных проявлений. И в этой части света человеческое опять растворяется между принудительным "высшим благом" и недолжным, запрещенным образом духовного или интеллектуального существования. Снова, на этот раз в гротескной, хотя и более суровой форме, утверждается идеология смирения и послушания внешним авторитетам, снова творчество отождествляется с отражением безусловного и общеобязательного.

И вот в этой страшной, удушающей атмосфере искаженных и перевернутых ценностей не христиане, а люди, стоящие за оградой Церкви, активно и мужественно борются за человека, за его права и достоинство. Именно они откликаются на зов ближнего и деятельно помогают ему. И откликаясь на призыв алчущего и жаждущего, заключенного и больного, разве не встречаются они со Христом? Ведь это Он сказал: "Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тюрьме был, и вы пришли ко Мне... Истинно говорю вам: так, как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25, 35-36, 40). Может быть, для многих людей доброй воли эта встреча — встреча с Незнакомцем, с Анонимом, в Котором они увидели только то, что знали из своего опыта, да понаслышке? Но разве отменяется этим религиозный и благодатный смысл *встречи*? И разве в самой борьбе за правду — без расчетов на загробные награды, в самоотречении и жертвенности, в напряжении воли к добру, в благородстве и красоте мужественного противостояния злу и насилию, в живом чувстве ближнего, в первичности нравственной реакции на его страдания — разве не раскрываются здесь те подлинно христианские черты высокой и трудной жизни, от которой мы, христиане, как-то незаметно отказались и о которых даже перестали всерьез задумываться?

Но отторгая от себя эти действенные начала христианской жизни, мы, вопреки своему религиозному самосознанию, утверждаем новый гуманизм как *инобытие* христианства. И здесь невольно — хотим ли мы того или нет — мы разделяем и

уменьшаем наше религиозно-мистическое понятие Церкви. Ибо появление ее бытия в чем-то ином неизбежно ставит Церковь в положение конечное и обусловленное. Парадоксально, но Церковь ограничивается не властью "князя мира сего", не "вратами ада", но отторжением того, что составляет ее *собственное* бытие.

В этом самоотторжении воли к добру обнаруживается самоотрицание Церкви как всеединства спасения, полагается предел и граница тому, что призвано быть безграничным и беспредельным. Поэтому, принимая инобытие Церкви как тревожный факт, как предостережение, мы должны признать ложность и религиозную ошибочность нашего стремления сузить христианскую жизнь до культового сакраментализма. Церковь не определяется только храмом и богослужением, богословием и традицией. В своем существе и замысле она есть та Абсолютная Реальность, которая онтологически не имеет и не может иметь инобытие. Церкви противостоит зло и смерть, ложь и тьма мира, но *нет* в бытии той положительной реальности и благодати, которая на последней глубине, а не в нашем идеологизированном сознании, могла бы быть противопоставлена Церкви. Церковь есть становящееся всеединство, и потому сущность ее — в соединении разделенного и раздробленного. И все мы призваны сделать Церковью то, что ею еще не стало, что не вошло видимо и осознанно в нее. Ибо мы знаем, что нигде, ни на каких путях человек не найдет полноты того, что Бог открыл в Теле Своем — Святой Церкви.

Но почему же мы так глухи к этому великому "общему делу" воцерковления мира? Почему мы так молчаливы и бесстрастны перед натисками лжи и бесчеловечности? Неужели наша церковность — это только чувство немощи и жажда духовных утешений? Неужели слова о христианской ответственности за судьбы мира — пустая и ничего не значащая болтовня?

И если правда нового гуманизма только частичная и неполная правда, то что мешает нам раскрыть абсолютную правду христианства? Разве мир не нуждается в ее свете?

1975 год, Москва

О НОВОЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

I

В 1973 году из Советского Союза выехало 35.000 — 36.000 человек; примерно столько же — за предыдущие три года. Большинство уехало в Израиль — тамошняя статистика утверждает, что за пять лет число переселенцев из СССР достигло 90 тысяч. Однако многие нашли прибежище и в других странах — в США, в Канаде, в Западной Европе. В сейфах ОВИР а лежат еще десятки тысяч заявлений. Большинство по-прежнему от евреев, которые хотят "вернуться на историческую родину". Они уезжают с настоящей своей родины, потому что их гонит проклятье "пятого пункта" — невозможность учиться и работать по призванию, кривые ухмылки: "вам не положено", едва скрываемая или хамски откровенная неприязнь. С ними уезжают их "арийские" жены, мужья, родственники, свойственники, настоящие и мнимые. Московская шутка 70-х годов: "Брак с евреем (еврейкой) не роскошь, а средство передвижения".

Десятки тысяч заявлений поступают уже и от немцев, родившихся в Поволжье, на Украине или на Кавказе, но изгнанных в пору сталинского геноцида в Казахстан и в Сибирь, и они тоже стремятся на "историческую родину", на запад от Эльбы. Сотни украинцев и армян хотят уехать к родственникам, живущим в других странах, на других континентах. Все больше таких заявлений подают латыши, литовцы, эстонцы, молдаване, а в последнее время — и великороссы, которым посчастливилось обнаружить родню в дальних краях. Уезжают люди разных общественных состояний — крестьяне из еврейских деревень Грузии и немецких колхозов и совхозов Ка-

захстана, разноплеменные рабочие, ремесленники, служащие, интеллигенты самых разнообразных профессий — ученые, инженеры, педагоги, студенты, литераторы; за три года к лету 1974 года стали эмигрантами: М.Демин, А.Кузнецов, А.Белинков, И.Бродский, Г.Свирский, С.Маркиш, Р.Баумволь, А.Синявский, А.Солженицын, Н.Коржавин, В.Максимов, А. Галич, В.Некрасов, Е. Эткинд (названы в "хронологическом порядке"). Уезжают молодые, пожилые, дряхлые; уезжают бывшие политзаключенные и члены партии, сдавшие партбилет в день, когда подавали заявление о выезде... Своеобразно символическими предвестниками этого теперь уже массового исхода были — высылка за границу Тарсиса (1965) и бегство дочери Сталина Светланы Аллилуевой (1967).

Но были у наших нынешних эмигрантов и более давние предшественники...

С 40-х годов XIX века, начиная с А.Герцена, Н.Огарева, М.Бакунина, и до 1917 года в Западную Европу и в Америку уезжали многие подданные Российской империи — кто в одиночку, кто с гурьбою случайных попутчиков. В одиночку ехали революционеры, бежавшие с каторги, спасавшиеся от возможного ареста, направляемые в эмиграцию партией — так уезжали Тихомиров, Степняк-Кравчинский, Плеханов, Ленин и другие. Ехали за границу студенты — за европейским образованием, скучающие сынки богатых родителей и просто молодые искатели приключений. Большими группами ехали преследуемые сектанты (молоканам помогал переселяться Л.Толстой), безземельные крестьяне западных губерний, еврейские бедняки из "черты оседлости", безработные, обездоленные и соблазненные далекими отсветами "американской мечты"...

Многие тогда все же надеялись вернуться: политические эмигранты — когда будет свергнуто самодержавие, все прочие — когда преуспеют в науках или обогащении.

С 1880 года эмигрантами стали два с половиной миллиона подданных Российской империи. Число отъездов резко усилилось после поражения революции 1905 года и последующих событий. Только в США уехали из России в 1906 г. — 215.700,

в 1907 г. — 258.900, в 1908 г. — 156.700, в 1909 г. — 120.500, в 1910 г. — 180.800, в 1911 г. — 158.700 человек. Примерно 45% уезжавших составляли евреи, великороссов было 8%. Наибольшая часть этих эмигрантов осталась навсегда в Америке*.

В годы гражданской войны и вскоре после нее Россию покинули почти два миллиона. Больше всего унес отлив "белого движения": отступавшие армии и эшелоны беженцев в их обозах. Еще несколько сот идейных противников нового государства были высланы за рубеж в 1922—1923 г.г., а несколько тысяч перебрались сами, одни через "зеленую границу", другие — легально, пользуясь относительной мягкостью тогдашних порядков. В 1924—1927 г.г. из СССР уезжали на постоянное жительство в другие страны до 16 тысяч в год**.

После Второй мировой войны "перемещенными лицами" стали сотни тысяч советских граждан. Бывшие военнопленные, бывшие "остарбайтеры", власовцы, "легионеры", полицейские, служащие оккупационных учреждений, их родственники и просто мирные обыватели, захваченные немецкими войсками при отступлении, а частично уходившие с ними добровольно — все они оказались по ту сторону железного занавеса.

В 1959 году за рубежами Советского Союза жили 1.243 тыс. русских и 1.103 тыс. украинцев. Эти числа не так уж велики по сравнению с данными по другим государствам. Так, в том же году из 82-х миллионов немцев более 9 миллионов жили в эмиграции, из 57 миллионов итальянцев тоже больше 9 миллионов; из 6 миллионов ирландцев только 2.770 тысяч остались в Ирландии и почти столько же живут в США. С 1945 года до 1952 года больше 45 миллионов людей покинули свои дома, стали беженцами, изгнанниками, эмигрантами***. 18 миллионов ушли из родных мест после создания новых государств

* С. Корсунский. "Эмиграция из СССР". Статистическое обозрение, №11 1929 год.

** Б.Ц. Урланис. "История одного поколения", Москва, 1968 г.

*** "Численность и расселение народов мира", Москва, 1962, стр. 418-420.

Индия и Пакистан, больше 10 миллионов немцев из СССР, Польши, Чехословакии, ГДР перебрались на Запад; 4 миллиона корейцев ушли с Севера на Юг; больше миллиона палестинских арабов покинули районы, которыми завладел Израиль; два миллиона поляков уехали с территории, отошедшей к СССР; 1.300 тысяч китайцев переселились в Гонконг*. "Хроническая примета нашего времени — век Объединенных Наций вместе с тем и век бездомных людей".**

Однако "голая" статистика сама по себе не позволяет судить о том, как именно отразилась эмиграция на жизни той или иной страны или народа. Исход нескольких тысяч творческих работников — ученых, литераторов, артистов, художников и т.д. — может резче и глубже воздействовать на культурное развитие, на судьбу нации, чем исход нескольких сотен тысяч обычных людей. Из нацистской Германии и оккупированной гитлеровцами Австрии эмигрировали больше полумиллиона человек; до США добрались 104.098; из них 7.622 охарактеризованы статистиками как "высококвалифицированные интеллигенты"***. Мэр Нью Йорка Ла Гардия в 1940 году поднял иронический тост "за Гитлера, благодаря которому в США переселились такие великие умы, как Эйнштейн, Шредингер, Томас Манн и многие другие". Достаточно вспомнить, что создание атомной бомбы в США было бы просто невозможно без участия европейских эмигрантов — Эйнштейна, Ферми, Нильса Бора, А.Метнер, К.Фукс и др. Кибернетика, революционизирующая многие отрасли современной цивилизации, также в значительной мере возникла из работ ученых-эмигрантов (Винер). Эти и многие другие открытия обогатили США, обогатили за счет тех стран, откуда вынуждены были уехать открыватели.

Понятие "эмиграция" объединяет несколько существенно различных явлений. "Экономическая" эмиграция бывает чаще

* Encyclopedia Britannica, 1971 v. 15, p. 432.

** ————"———"——— v. 19, p. 72.

*** dtv — Lexicon, Munchen, 1968, B. 5, s. 92.

всего мирной, постепенной и только усиливается в годы кризисов. Эмиграция социально-политическая, религиозная, национальная и т.д. чаще бывает внезапна, катастрофична, вызывается войнами, завоеваниями, революциями и государственными переворотами. Однако известны и другие примеры, когда представители подавляемых или дискриминируемых национальностей, религий, политических движений покидают свою родину постепенно, отдельными группами или поодиночке на протяжении многих лет. Так в XIX веке уезжали ирландцы и английские католики, итальянцы — до объединения Италии; чехи, словаки, поляки, евреи и украинцы из России и Австро-Венгрии, русские сектанты, так уезжали армяне из турецких владений и др. В XX веке основные потоки эмиграции двигались более бурно. Их порождали жестокие, болезненные пароксизмы истории, мировые и гражданские войны.

Наша новая эмиграция развивается мирно, в этом она похожа скорей на первую, дореволюционную, чем на обе послереволюционные. Однако хотя известная часть уезжающих теперь покидает родину в поисках материального благополучия, большинство — это все же эмигранты национальные и политические. И десятки тысяч людей, уехавших за несколько лет, стали новым потоком эмиграции. Изменяются не только личные судьбы, но и взаимные связи между людьми, семьями, общественными группами. Возникают новые связи, пересекающие и государственные, и внутренние — идеологические — границы; неприметно меняются структуры социальных слоев; индивидуальное мироощущение множества разных людей меняется так решительно, что уже можно говорить о существенных переменах в общественном сознании.

Сейчас нельзя предугадать, как долго продлится и какие именно последствия будет иметь эта новая эмиграция. Но невозможно не думать об этом, нельзя хотя бы не пытаться исследовать, понять и ее непосредственные современные причины, и ее сокровенные давние предпосылки. Без этого любые суждения о ней будут несправедливы, а любые прогнозы — несостоятельны.

II

Русское государство, начиная с московской эпохи, обнаруживает стремление к византийски-ордынской замкнутости. Великие князья, цари, митрополиты, ближние бояре, воеводы и мелкий служилый люд — ярыжки, захолустные священники — кто за страх, но большинство и за совесть, решительно отгораживались, отрешивались от любой иноземщины, ближней и дальней. Особенно от западной; с татаро-монгольским Востоком и после крушения ордынских царств сохранялись постоянные связи: там Русь в свою очередь наступала, покоряла, завоевывала... А на Западе рисовались более богатые, более сильные и, значит, более опасные враги. Правда, Московской державе никогда не удавалось достигнуть такого прочного отделения от внешнего мира, какого добились манчжурские императоры за "великой китайской стеной" и мусульманские фанатики, закрывшие священные города Аравии, целые области Турецкой и Персидской империй от всех иноверцев. Однако и Москва — "третий Рим, а четвертому не бывать" — оставалась до преобразований Петра Первого достаточно основательно отгороженной. Самовольный уход москвича в чужие края считался тягчайшим преступлением, дружеские отношения с иноземцем вызывали подозрения, пресекались или жестоко наказывались. Иван Грозный, истребляя целые боярские роды, громя Новгород, где были перебиты десятки тысяч жителей, а все уцелевшие высланы, — как правило, обосновывал это обвинениями в "измене", в сношениях с иностранцами. Необходимость таких расправ красноречивый царь сам теоретически растолковал в письмах к эмигранту Курбскому.

Массовая жестокая ксенофобия распространилась по градам и весям России в Смутное время. Тогда это было закономерно: бояре попеременно присягали то польским ставленникам самозванца, то польско-шведскому принцу; по всей стране бесчинствовали иностранные вояки — и даже запорожские отряды воспринимались как чужеземные... Однако и позднее,

в мирные поры, при первых Романовых, когда в Москве ширилась "Немецкая слобода" — поселение ремесленников, торговцев и наемных иностранных солдат, число которых быстро росло, особенно при Алексее Михайловиче, — враждебное недоверие к чужакам всячески подогревалось и у государевых слуг, и в народе. За ученым дьяком Котошихиным, убежавшим в Швецию, охотились убийцы; добродушный богобоязненный царь Алексей Михайлович велел "тайно известить" молодого боярина Ордына-Нащокина, который не пожелал вернуться из Франции.

Между тем, на западе Европы тысячи людей переходили и переезжали из страны в страну, жили на чужбине и возвращались на родину, и никто — несмотря на все языковые различия, несмотря на часто весьма жестокие национальные, государственно-политические и религиозные противоречия — не видел в этом ни греха, ни преступления. Ремесленникам по цеховым уставам даже полагалось изучать ремесло и в других городах и странах; монахи и ландскнехты, ученые гуманисты и комедианты, студенты и торговцы уже по роду своей деятельности должны были пересекать границы государств, хотя бы те и воевали между собой. Однако все такие постоянные живые связи между народами не ослабляли и не умаляли развития самобытных национальных культур: напротив, лишь благоприятствовали им — и непосредственно, и опосредованно, побуждая к полемике, состязанию. В XIII веке двор германского императора Фридриха II в Неаполе стал одним из очагов развития итальянской национальной литературы. Поляк Николай Коперник, голландец Эразм Роттердамский играли ведущие роли в немецкой культурной жизни XVI века; великий немецкий художник Дюрер учился в Италии, как и многие художники других стран; многонациональны источники драматургии и поэзии Шекспира; странствующие английские комедианты — прямые предшественники немецкого национального театра XVII и XVIII веков.

Живительные родники своеобразного национального искусства многих европейских народов легко проследить в Италии и во Франции — примеров этому множество.

Плодотворное взаимодействие разных племен и разных

культур не слабело по мере становления национального самосознания европейских наций, а только ширилось и углублялось. Не приходится доказывать, что для Франции очень много значили немец Гольбах, швейцарцы Ламеттри, Руссо, де Сталь, креол Дюма, итальянец Золя, кубинец Эредиа и — уже в наше время — немец И. Голл, поляк Аполлинер, голландец Ван Гог, испанец Пикассо, итальянец Модильяни, русские — Бердяев, Шагал, Триоле, Саррот, Дягилев, армянин Адамов, румын Ионеско, ирландец Бекет и др. Яркое своеобразие и международное значение немецкой национальной культуры и немецкоязычной литературы наряду с немцами создавали итальянец Брентано, французы Ламотт-Фуке, Шамиссо, Фонтане, венгр Ленау, польская революционерка Р. Люксембург и чешско-австрийский писатель Кафка. Для развития англоязычной литературы и театра неизмеримо много сделали шотландец Бернс, ирландцы Иетс, Шоу, Джойс, О'Нил, О'Кейси, поляк Дж. Конрад, русские Набоков, Устинов, Стравинский, армянин Сароян, большое количество "цветных" американцев славянского, еврейского, итальянского, немецкого и др. происхождений.

Те же закономерности благотворного воздействия разнообразных этнических и национальных элементов на становление каждой по настоящему великой национальной культуры явственно воплощены и в истории России. Незабвенны в истории русского зодчества имена итальянцев Фиорованти, Растрелли, Росси. У истоков новейшей русской словесности — творчество молдаванина Кантемира и немца фон Визина; немцами по рождению были русские поэты, друзья Пушкина — Дельвиг и Кюхельбекер, ученый Эйлер, благородный филантроп доктор Гааз, художник Брюллов, поэтесса Каролина Павлова, создатель первого русского толкового словаря и самобытный беллетрист Владимир Даль ("казак Оренбургский"). Даже самые тупые черносотенцы не осмелятся сегодня отлучать от русской эстетической культуры таких "инородцев", как "немцы" Мейерхольд, Пильняк, Эйзенштейн, "евреи" — Фет, Левитан, Антокольский, братья Рубинштейны, Мандельштам, Пастернак, Бабель, как армяне Айвазовский, Вахтангов, Ша-

гинян, грузин Марджанов, поляки Вересаев и Паустовский, башкирка Сейфуллина...

Русской национальной культуре неотъемлемо присуща "способность всемирной отзывчивости", которую Достоевский называл "главнейшей способностью нашей национальности"* . Показательно, что именно он — великий художник, который был убежденным страстным националистом в лучшем смысле этого слова, — в последние годы жизни приходит к сознанию: "Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским может быть и значит только... стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите."** Много лет спустя в иную эпоху ту же истину поэтически утверждал Блок: "Нам внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений".

В январе 1827 года Гете впервые в истории человечества сформулировал понятие *мировая литература*. Он предсказывал развитие мировой литературы, но не в виде космополитической целостности, а в живом сочетании беспредельно разнообразных, однако постоянно взаимодействующих, разнородных и разноликих, но органически между собой связанных национальных литератур. Тем более действенны и явственно необходимы такие связи в современной *мировой науке* — во всех ее отраслях, и точных, и гуманитарных, а также в музыке, в пластических искусствах, в театре, кино, бытовой эстетике.

Худо, когда в бытие и быт народа вторгаются массовые, безнационально-безликие, стандартные импортные моды, поделки расхожего искусства и миазмы расхожих идеологий. Естественной реакцией на такие чужеродные эпидемии бывает романтическое обращение к национальному прошлому, к нарочитой самобытности, преувеличенная потребность воскрешать древ-

* Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений. Москва, 1958, том 10, стр. 455.

** Там же, стр. 457.

ние формы народного искусства, старинную народную — или якобы народную — речь, обычаи и предрассудки. Однако такая естественная реакция, становясь назойливо преувеличенной — а в условиях казенного декретирования и всяческих "административных восторгов" и воинствующей — неизбежно вырождается в бездушную манерность, в пошлое лицедейство, в ретроградный шовинизм, по сути столь же далекий от народа, как и привозной заемный снобизм.

Напротив, плодотворнее всего преодолевают дурные иноземные влияния те, кто, восстанавливая национальные традиции, не шарахается от хорошего иностранного опыта. "И чужому навчайтесь, й своего не цурайтесь" (Т.Шевченко). Так, в XVIII веке немецкие патриоты-литераторы "Бури и Натиска", восставшие против офранцузенного классицизма, против раболепного подражания французским модам в искусстве и в быту, вдохновлялись не только и не столько немецкими древностями, сколько живым опытом французских же и английских просветителей-"сентименталистов", мыслями и творчеством Руссо, Макферсона, Стерна и др. А через несколько десятилетий английские, французские, русские, итальянские и все иные европейские романтики, стремясь к возрождению и развитию самобытной народности в искусстве и литературе, наследовали теоретический и художественный опыт немецкой романтической школы.

Изолированных, замкнутых в себе, "автарктических" племенных или национальных культур по сути никогда не было, и уж никак не возможны они в современном тесном мире, все гуще переплетаемом каналами и нитями международных связей. Даже самые крайние шовинисты, ревнители сугубо изоляционистских теорий и программ, на поверку оказываются только подражателями дурных иностранных образцов. Гитлер учился у британских расистов и русских черносотенцев; сегодняшние проповедники "негритюд" и "черной власти", маоисты-"великоханьцы" наследуют и методологию, и логику, и даже полемический стиль нацистской и сталинской великодержавной пропаганды.

III

Реформы Петра, "прорубившего окно в Европу", поколебавшего вековые устои азиатской обособленности, благоприятствовали расцвету всех областей материальной и духовной жизни России.

Прекрасна тысячелетняя русская народная поэзия, могуча словесность, которую создавали неведомые певцы былин, летописцы, сказители, переводчики греческих духовных и светских книг и мудрые богословы. Нетленны творения зодчих-розыскальщиков, гениальных живописцев Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия и многих безымянных русских и обрусевших художников, резчиков, ваятелей, каллиграфов... Но за полтора-два столетия после Петра русская культура прошла путь, во многом более значимый, чем за предшествующее тысячелетие. Это путь от Кантемира и Тредиаковского к Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, от парсун и маньеризированных икон XVIII века — к Иванову, Репину, Левитану, Серову, от народного и литургийного пения — к Глинке, Чайковскому, Мусоргскому, Рахманинову, Скрябину; а в науке это путь от Ломоносова — к Лобачевскому, Менделееву, Павлову, Николаю Вавилову...

Справедливы и проникательны были многие наблюдения и предостережения славянофилов Леонтьева, Данилевского; они предвидели трагические последствия ускоренной и нередко искусственной казенной европеизации русской жизни. Сегодня болезненней, чем когда-либо раньше ощутимы невозвратные, невозместимые утраты национальных, духовно-нравственных и эстетических ценностей, которые понесла Россия с 1700 до 1917 года и в последующие десятилетия, — потери, не осознаваемые в ходе постепенного промышленного развития, и полуосознанные — в буйных мятежах и бездарных обновлениях, и вполне сознательные — в губительных походах разных иконоборцев, начиная от нигилистов-шестидесятников и до громил-хунвэйбинов сталинских "культурных революций".

Но, тем не менее, самые пристрастные "почвенники" не могут отрицать, что ослабление азиатской замкнутости было в конечном счете благотворным для русской национальной культуры. "Окно в Европу" расширялось в годы Александра I (Царско-сельский лицей!) и в ходе великих преобразований при Александре II, расширялось вопреки полицейским цензурным ро-гаткам, вопреки казенному и стихийному националистическо-му сопротивлению. Оттого что множились и упрочнялись духовные связи русской интеллигенции с Западом, в Россию проникали также всяческие тамошние моды и поветрия, традиции и нововведения — и здоровые, и болезненные. Прони-кало позитивистское наукопоклонничество и романтическое народолюбие, проникали идеи Маркса и идеи Ницше, снобист-ская эстетика "искусства для искусства", оккультномисти-ческие искания символистов и натуралистический материализм.

Но, главное, вместе со всем этим, и столько же вопреки, сколько и благодаря как многообразному восприятию, так и прямому резкому отрицанию и противоборству, поступа-вшие извне мысли, открытия, утверждения, сомнения, недоу-менные вопросы пробуждали все новые мощные родники соб-ственных творческих сил, которые впервые придали русской национальной культуре всемирную значимость.

Естественное развитие этих родниковых творческих сил жестоко нарушили первая мировая война, революция и граж-данская война. Нарушили и тем, что разорвались или надолго ослабели международные связи ученых, литераторов, худож-ников. В 20-е годы их пытались было восстанавливать, иногда успешно. Но уже десятилетие спустя, по мере того, как нарастало сталинское хамодержавие, такие связи расторгались гру-бо и уже не стихийно, как в годы войн, а с палаческой целе-устремленностью.

Показательно, что почти одновременно развернулись и гу-бительный поход против крестьянства — "сплошная коллекти-визация на базе ликвидации кулачества как класса", и рез-кое ограничение, обрубание международных связей, и массо-вое разрушение национальных традиций, церквей и других па-мятников национальной культуры. В начале тридцатых годов, после сталинской речи на XXVIII съезде (1930 г.), в которой он

издевательски глумливо говорил об историческом прошлом России, и после его письма о "троцкистской контрабанде" (1931 г.), ознаменовавшего решительное ужесточение идеологической цензуры, стали повсеместно разрушать церкви и либо уничтожать их (именно тогда в Москве был взорван храм Христа Спасителя и разобрана Иверская часовня), либо превращать их в склады и в антирелигиозные музеи (Казанский собор в Ленинграде, Печерская лавра в Киеве). Тогда же массами арестовывали священников и монахов. Тогда же на процессах "Промпартии", "Меньшевистского центра" и др. огульно осуждалась русская интеллигенция вообще — и ее предательские сношения с "иностранной буржуазией" — в частности; из учебных программ, издательских планов и даже из некоторых библиотек изымались книги Достоевского. Но именно тогда же радикально пересматривалась и вся история русского и международного революционного движения и недавнего прошлого большевизма. "Посмертно осуждены" были тогда Бакунин, Лассаль, народовольцы, Плеханов, Роза Люксембург. Изъята была книга Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир", изданная некогда с одобрителем предисловием Ленина. Запретными стали даже подшивки советских газет за все предшествующие годы и первое издание книги Сталина "Вопросы ленинизма" (1924 г.), где он еще называл "абсурдными и реакционными" надежды на возможность построения социализма в одной стране; за хранение этой книги арестовывали, высылали, а позднее осуждали на долгие сроки заключения.

Обычными приемами сталинской циничной тактики был шумный разворот "кампаний", затем периодические отливы их и громогласное критическое осуждение "допущенных перегибов".

Так, в феврале-марте 1930 года, в разгар коллективизации, он обличил "головокружение от успехов", свалив ответственность за свои губительные распоряжения на послушных исполнителей. Так, в 1934 году произошел внезапный поворот от надругательств над русской национальной историей и культурой к сугубо казенному патриотизму, и Сталин выступил разоблачителем "антипатриота" — историка Покровского.

IV

Новая российская держава названа Союзом Социалистических Республик; государственным гимном ее до 1944 года был "Интернационал"; в гербе и доньне сохраняется девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" — еще более анахронистический, чем серп и молот в стране комбайнов и блюмингов. В печати и в речах периодически возглашаются ритуальные лозунги, здравицы международному братству трудящихся и т.п. Однако в 1945—53 г.г. международные культурные связи России были низведены до состояния по существу тождественного допетровской эпохе. Новый советский шовинизм становился отрицанием двухвекового духовного развития России: сталинско-ждановские идеологи пытались возродить чванную спесь и пдозрительность косных московских подъячих, самых невежественных фанатиков-староверов.

Все это не было случайной блажью параноидального "отца народов". Нет, этот поворот в идеологии во всей его грубой примитивности и безвкусно крикливом мещанском оформлении был закономерен и необходим как составная часть той "реалистической" великодержавной политики, которая зарождалась еще в пору зычного преобладания революционно-романтической риторики — в походе на Варшаву (1920) и в завоевании Грузии (1921), в захвате Бухары и Хивы (1921—1922)*, в тайных договорах с рейхсвером (1923—24) и в боях за КВЖД (1929).

В 30-х и 40-х годах это развитие резко ускорилось и усилилось по причинам как внешним, так и внутренним. Русские

* Раньше это были вассальные княжества (эмираты) русской короны, сохранявшие административную и культурную автономию. После завоевания советскими войсками они были разделены между узбекской и таджикской республиками без учета этнических и языковых внутренних связей, по существу произвольно.

крестьяне, обездоленные колхозным крепостничеством, страшными голодовками, массовыми расправами и самой губительной из всех войн русской истории, прозябали в нищих деревнях или уходили на стройки, в стремительно разбухавшие города; рабочих, ремесленников, служащих нещадно эксплуатировало чудовищно громоздкое, всеохватное, везде проникающее государство (оно же партия, оно же комсомол, профсоюзы и т.д. и т.п.). Бестолково расточительное государство, удобное для проходимцев и казнокрадов, благосклонное к раболопным холопам, беспощадно угнетало и порабощало всех подданных, загоняя на каторгу миллионы недостаточно покорных или просто пасынков судьбы, случайно захваченных слепым рвением карателей. Русские купцы — и старые, и новые, "красные", — были уничтожены; интеллигентов, ученых, деятелей искусства и литературы подавляла идеологическая полиция, более ревностная, чем все инквизиторы и цензоры; вольнодумцы истреблялись или загонялись в тюрьмы и лагеря, prostituiрованные — благоденствовали. Национальные святыни были поруганы, осквернены, разрушены... Бессмысленно массовый террор 1937—1938 г.г. хаотически перелопатил все слои населения, привел к тягостным разрушениям в промышленности, обезглавил армию. Цинично безнравственная и трусливо бездарная внешняя политика — дружба с Гитлером, поставки стратегического сырья Германии в 1939—1941 г.г., захваты новых земель на Западе, народы которых становились врагами захватчиков, — все это обрекло разоренную и обескураженную террором страну на страшные поражения в начале войны, на бессмысленные жертвы и потери.

Неиссякаемые, воистину чудотворные силы России, помощь союзников и самоубийственная жестокость гитлеровцев привели к разгрому нацизма. И все живые страсти — оскорбленное национальное сознание, неутешная скорбь над несчетными могилами и пепелищами, ненависть к чужеземным врагам — убийцам и поработителям, патриотическая гордая радость победы — все это ловко использовали прямые виновники преступлений и бедствий, беспримерных в истории русского государства. Свою глубоко антинациональную политику — и довоенную, и послевоенную — они прикрывали густыми дымовыми завесами

шовинистической демагогии, бесстыдного хвастовства. Свои страшные вины перед русским народом они пытались уравновесить грубой лестью и жестокими расправами с инородцами. Так, уже в 1936—1939 г.г. были насильственно переселены, изгнаны из родных мест корейцы и китайцы с Дальнего Востока, поляки, эстонцы и финны из западных областей, в 1941 г. — немцы Поволжья, в 1943—45 г.г. — калмыки, балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, крымские татары, месхи, крымские греки и болгары; начавшаяся уже в 1943—45 г.г. шопотная антисемитская пропаганда и соответствующая кадровая политика достигла в 1949—1953 г.г. погромно-взрывчатой напряженности. Начиная с военных лет и вплоть до 1954 года, уголовным преступлением считался одобрительный отзыв о жизни за рубежом или хотя бы только об иностранных машинах ("восхваление иностранной техники" каралось по статье 58 п. 10 — "антисоветская агитация"). Брак с иностранцем или даже попытка такого брака особым указом 1947 года были объявлены преступлением, виновные подвергались заключению до 8 лет. С 1947 и до 1954 г. не слабела антиамериканская, антиюгославская и вообще "антизападная" пропаганда. С 1946 года начались пропагандистские кампании против "низкопоклонства перед иностранщиной" и "безродного космополитизма"; фантастические претензии на "русский приоритет" во всех областях науки и техники, начиная с древнейших времен, и презрение к чужеземцам утверждались в беллетристике, на сцене, на экранах, в учебниках, в школьных программах, в "научных" работах и судебных приговорах (в 1946 году врачей Ключеву и Роскина судили за "выдачу иностранцам отечественных медицинских достижений").

На основе тайных соглашений — сперва с Гитлером в 1939—1940 г.г., а затем с Черчиллем и Рузвельтом — советское правительство расширило свои границы на западе далеко за пределы бывшей Российской Империи (Западная Украина, Буковина, Закарпатье, Восточная Пруссия), вернуло себе с лихвой территориальные утраты 1905 года на Дальнем Востоке, напрочь привязало к себе Монголию, походя включило в состав РСФСР "независимую" Туву, глубже, чем когда-либо раньше,

проникло в Китай, Корею, Афганистан, Индию, Индонезию, Индокитай, на Ближний Восток. Неудачи и поражения советской военно-дипломатической политики в Иране, Китае, Индонезии вынуждали ограничивать экономическое и стратегическое "освоение" этих краев, зато множились успехи в Африке и в Латинской Америке.

Однако не только явные неудачи, отступления, но и самые пышные внешнеполитические триумфы — это в конечном счете проявления нездорового критического развития нашей страны.

Затяжной внутренний кризис советского общественного строя — кризис хозяйственный, социальный и духовный — резко обострился и вырвался наружу после смерти Сталина. В 1953—1954 г.г. стихийно усилились и ширились массовые забастовки и восстания в лагерях, начавшиеся еще в 1951—52 г.г.; вновь активизировались национальные партизанские силы в Прибалтике и на Западной Украине. Невозможно было подавить Югославию и невозможно было выиграть войну в Корее; нарастало брожение в Польше и в ГДР; росла и потаенная враждебность маоистов, ожесточенных сталинской колониалистской политикой на КВЖД и в арендованных военных базах и концессиях.

Все это привело к пресловутой "оттепели", к непоследовательно порывистой критике "культа личности", к "духу Женевы" во внешней политике и к периоду "позднего реабилитанса" во внутренней. Чересполосица хрущевских реформ определялась попытками устранить наиболее дискредитированные и очевидно саморазрушительные особенности социального строя, основанного на тиранической власти безответственного "номенклатурного" меньшинства над бесправным большинством народа. При этом однако не менялись по существу ни материальные основы, ни общественная структура, ни основы идеологической маскировки (мнимый социализм и мнимый демократизм) шовинистической великодержавной "номенклатурологии".

Однако даже непоследовательные, прерывистые попытки реформ, даже только декоративные, "косметические" исправления

надстройки без посягательств на базис все же высвободили живые творческие силы народа, ранее подавленные или одурманенные иллюзиями, или дремавшие, не познавая себя.

Это проявилось и в общественной жизни — возрождались гражданская самодеятельность на отдельных предприятиях и в творческих союзах, возникали вновь добровольные содружества — иногда легальные, чаще полуполигальные: политические (преимущественно марксистские или национальные), религиозные, философские, литературные, научные; были попытки демонстраций против возрождения сталинизма, против несправедливых судов, в защиту преследуемых крымских татар и литераторов, осужденных за "инакомыслие".*

В культурной жизни — в искусстве и в литературе — эти силы были и остаются необычайно плодотворными. Международную известность приобрели произведения Солженицына; однако они образуют не одинокую пирамиду в пустыне, как это представляется иными зарубежными наблюдателями, а одну из вершин мощного горного хребта, который пока лишь частично обозрим для внимательных читателей — не только "Самиздата" и "Тамиздата", но и легальных отечественных изданий. Уже с 1954 г. началось массовое распространение рукописных "самиздатных" публикаций — сначала стихов, потом прозы, а там и научных работ. В 1958 году Пастернака

* 25 августа 1968 года на Красной площади Москвы семь молодых людей демонстрировали против оккупации Чехословакии. Академик Сахаров, писатели Лидия Чуковская, Александр Солженицын, Андрей Синявский, Юлий Даниэль, Наталья Горбаневская; генерал Петр Григоренко, ученые Александр Есенин (Вольпин), Жорес и Рой Медведевы, Игорь Шафаревич, Юрий Орлов, Лариса Богораз, Валентин Турчин, Константин Бабицкий, Андрей Амальрик, Юрий Шиханович, Татьяна Великанова, Татьяна Ходорович, Валерий Чалидзе, священники Сергей Желудков, Димитрий Дудко, педагоги Павел Литвинов, Илья Габай, Анатолий Якобсон, рабочие Анатолий Марченко, Владимир Дремлюга, студенты Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Юрий Галансков и многие другие — люди разных возрастов, разных общественных слоев и разных взглядов, так или иначе проявившие себя в тот период, олицетворяют живые силы свободолюбия и гражданского мужества, истинные народные стремления к правде и к добру и новые потребности в развитии и утверждении демократического правосознания.

жестоко травили, а в 1966 году Синявского и Даниэля судили — и осудили на долгие годы заключения — за то, что их книги были изданы "там". Но число изданий множилось, и каратели оказались бессильны.

Порыв к гласности становился все более действенным, и это в значительной мере определило новое качество, новый общественный и нравственный уровень нашей литературы. Живые связи с зарубежной Россией рождали новое общественное сознание читателей и слушателей радиопередач, пробивающихся сквозь вой глушилок.

Русское слово стало неудержимо переходить государственные рубежи — "туда и обратно". Но по мере того, как подавлялись, угасали надежды на общественное гражданское обновление, после все новых арестов, обысков, административных и судебных расправ с "самиздатчиками" и "подписантами", новое сознание, новые духовные потребности, возникавшие в годы "оттепели", новое развитие русской мысли и слова становились и побудительными стимулами новой эмиграции.

V

Количественно в потоке новых изгнанников с самого начала и по сию пору преобладают те, кто едет в Израиль или эмигрирует в другие страны, пользуясь израильскими приглашениями.

Сионистская идеология в СССР была фактически полностью уничтожена уже в начале 20-х годов. Сталинские черносотенцы 1949—1953 г.г. лгали, распространяя слухи о сионистских заговорах, о врачах-убийцах и т.п. Однако эта абсурдно фантастическая лож оказалась посевом, который дал вполне реальные всходы. Буйно разросся новый антисемитизм, неизмеримо более массовый, чем когда-либо раньше в России, — полуофициальный и тем более действенный. А вместе с ним появился и новейший советский сионизм, который привлекает сотни молодых людей "еврейского происхождения". Некоторых, наиболее деятельных сионистов арестовывают, судят, но многим удается добиться права уехать, и они находят новых последователей и подражателей.

С помощью израильских "вызовов" покидают Россию и многие русские интеллигенты, никак не причастные к сионизму. Некоторым это недвусмысленно "советуют" представители госбезопасности.* Кроме всего сказанного выше, в условиях, когда нельзя отказаться ни от массового туризма, ни от расширения научно-технических связей с другими странами — нельзя потому, что этого требует экономическая необходимость и потому, что это стало потребностью номенклатурной элиты,— в эмиграцию ведут еще пути невозвращенцев, перебежчиков. В прежние годы эти пути были доступны только единицам — дипломатам или профессиональным разведчикам; сегодня они открыты и для артистов, и для ученых, и для участников зарубежных туристических экскурсий.

Современная тактика ведения административно-идеологической войны оказалась более гибкой и несомненно более гуманной, чем сталинско-бериевская. Время покажет, будет ли она более действенной; сталинщина породила только идеологический распад, полное омертвление официально прокламируемой социалистической идеологии и реакционное вырождение действительно сущей идеологии националистической. В последние десять лет давление на все едва пробивавшиеся ростки общественного мнения, на робкие завязи гражданской самодеятельности усиливалось, но вместе с тем становилось более изощренным, дифференцированным.**

В сталинские времена хватали кого попало, без разбора, и по малейшему подозрению, по глупейшему доносу загоняли в лагеря даже искренне преданных сторонников режима.

* Именно так вынудили эмигрировать Иосифа Бродского, Павла Литвинова, Александра Галича, Ефима Эткинда и др.

** В 1965 году, когда КГБ захватил часть архива Солженицына, против него повели еще только полуофициальную травлю, распространяя ложные слухи, будто он был власовцем, служил немцам-оккупантам, либо что он еврей *Солженицер* и т.п. В то же самое время Синявский и Даниэль были арестованы и жестоко осуждены, а Тарсис — "отпущен" за границу, где его появление должно было демонстрировать великодушные этого государства и духовное убожество его врагов.

Теперь преследуют все же именно тех, кто действительно "что-то делает" или говорит наперекор, — кто распространял "самиздат" или "тамиздат", выступал против КГБ или судов, участвовал в демонстрациях и т.п. И сами преследования теперь значительно более дифференцированы: одних заточают в тюрьмы или лагеря, других держат в психбольницах, третьих отправляют в ссылку, четвертых только пугают, пятых лишают работы, шестых, напротив, подкупают, седьмых выталкивают в эмиграцию...*

Итак, непосредственные причины и побуждающие силы новой эмиграции более или менее явственны.

Неотвратимо высыхают, мертвеют старые революционные, марксистские социалистические идеалы, иллюзии и надежды, грубо вытаптываются новые надежды и новые иллюзии насчет "социализма с человеческим лицом". Новое сознание гражданских и человеческих прав зародилось в годы "оттепели", а новые посягательства на эти права, новые преследования и репрессии уже не столько запугивают, сколько убеждают в неодолимости сталинского наследства.

Новое мироощущение — именно *ощущение мира* — возникло после того, как безнадежно прохудился "железный занавес", и это ощущение уже неистребимо, потому что никаким цензорам, никаким глушилкам не подавить потоки информации, излучаемой через границы. И тем более жалки новые попытки воспрепятствовать этим живым потокам, подновляя старые плотины мертвых догм.

Советское государство все еще остается достаточно мощным, чтобы возбуждать страх у союзников и соперников, чтобы навязывать международные договоры, создавать военные базы на других континентах, оно все еще удерживает в повиновении подвластные народы и подавляет любое сопротивление и в Праге, и в Ташкенте. Но это государство продолжает разбухать и разрастаться иррационально и бесплодно. Его

* Так, весной 1974 года, после насильственного "выдворения" Солженицына, должны были уехать Максимов и Галич, были арестованы ленинградские литераторы Хейфец и Марамзин, осужден на 5 лет заключения молодой ученый-библиограф Г.Суперфин. И в то же самое время были вынуждены эмигрировать Виктор Некрасов и ленинградский профессор Е. Эткинд.

чиновники и сановники стали абсолютно безответственны, им уже не приходится бояться террора сверху — ни слепой жестокости Сталина, ни своеволия Хрущева, их номенклатурные привилегии незыблемо отвердели. От всех видов идейности, от рудиментов революционных идеалов и этических представлений "руководящие кадры" избавились еще раньше. В государственном, партийном, профсоюзном, военном, комсомольском, судебно-охранительном и во всех иных "аппаратах" нет более настоящего рвения — ни от фанатизма, ни от страха. Есть только инерция, косная рутинная сила самосохранения и временами — смутное сознание необходимости неких реформ применительно к потребностям времени, к международным экономическим обстоятельствам. Экономический и социальный базис все больше разрастается и усложняется. А "надстройка" становится лишь более громоздкой, инертной, обрюзглой; в ней господствуют силы „статусквотизма" — равнодушно косное своекорыстие. Сегодня — при отсутствии прямых угроз — эти силы пока не проявляют склонности к террору, к изуверским расправам, к такому безудержному произволу, который, начинаясь в порывах революционного — или реставрационного — идеалистического энтузиазма, неизбежно вырождается в слепое, самоубийственное саморазрушительное массовое безумие. Но вместе с тем сама природа господствующих сил „номенклатурологии" несовместима с гласностью, со свободной общественной мыслью и свободным творчеством.

Поэтому комитет *государственной безопасности* с каждым годом расширяет штаты оперативников, следователей и „исследователей", ведающих „идеологическим фронтом", надзирающих за учеными, литераторами, священниками, педагогами, учащимися и т.д., и т.п. Поэтому судьи и прокуроры применяют и будут применять „растяжимые" статьи уголовного кодекса к тем, кого по требованию КГБ или местных властей следует полагать „идеологическими диверсантами". Но так как времена сталинского централизованного терроризма прошли и так как преследования за мысли, за устные или письменные высказывания мыслей противоречат букве и духу Основного закона — Конституции СССР и международным соглашениям, подписанным советским государством, и поэтому

такая деятельность КГБ, прокуратуры и судов по существу и по форме незаконна, то развивается она довольно непоследовательно и неравномерно: те же речи или поступки, за которые в Киеве или в Ленинграде грозят длительные тюремные сроки, в Москве могут остаться вовсе „незамеченными”, либо привести лишь к административным репрессиям, либо открыть путь в эмиграцию.

Среди многих сил, выталкивающих сегодня людей за границу, не последняя — *страх*. И это не только вполне конкретный страх перед возможными или уже „задействованными” преследованиями, страх перед тюрьмой, лагерем, тюремной „психушкой”, но и страх безотчетный, иррациональный, возникающий от зияния все новых пустот вблизи — друзья умирают, уезжают или существенно меняются, становятся чужими, от нарастающего удушливо глухого безразличия вокруг, от того, что уже не на что надеяться, некому и незачем писать и даже просто говорить о том, что вчера еще было жизненно важным, казалось многообещающими открытиями...

Все эти обстоятельства — объективные и субъективные проявления и последствия духовного кризиса, который после обострений 50—60-х годов отнюдь не был преодолен, а только упрятан, втиснут в подпочву, стал менее явным, полужавным, латентным и тем менее преодолимым.

Таковыми представляются сегодня внешние и внутренние побудительные силы новой русской эмиграции. Чего же можно ожидать от деятельности наших эмигрантов, что сулят они сами нашей стране и человечеству?

VI

История знает примеры эмиграции, плодотворной для развития международной культуры. Греческие эмигранты в эпоху эллинизма распространили по всему Средиземноморью богатства эллинской мысли, слова, пластических искусств. Тысячелетие спустя греки, эмигрировавшие после крушения Византии, стали провозвестниками и непосредственными участниками возрождения античных традиций в художественном и научном творчестве. Иудейские эмигранты, покидавшие завоеванную римлянами Палестину, разносили по множеству стран

первые семена и завязи христианства. Византийские эмигранты были провозвестниками Ренессанса на Западе. Феофан Грек, Максим Грек и Эль Греко олицетворяли разнородные жизнетворные силы греческой эмиграции тех веков. Мавры и евреи, изгнанные инквизицией из Испании и Португалии, содействовали экономическому и культурному расцвету Нидерландов, мысли Акосты и Спинозы стали значимы для всей европейской философии. Два потока французских эмигрантов — гугеноты после отмены Нантского эдикта в конце XVII века и изгнанники революции в 90-е годы XVIII века — влились источниками творческой энергии в хозяйственную и культурную жизнь ближних и дальних краев; добрую память о них хранят Берлин и Одесса, города Америки и Южной Америки. Сыновья французских эмигрантов — Лямот Фуке, Шамиссо, Фонтане — стали замечательными немецкими писателями. Китайские эмигранты в давние времена существенно помогали экономическому и духовному развитию народов Кореи, юго-восточной Азии и уже в новейшие времена были трудолюбивыми участниками промышленной и торговой жизни США, Индонезии, Малайи, городов Индокитая. Английские, ирландские, голландские, а позднее — немецкие, скандинавские, итальянские, а также польские и иные восточно-европейские эмигранты создали огромную новую страну, новую национальную культуру — США: правда, в первоначальном созидании и становлении этой нации движущими силами были — формирующая, активно творческая британская (а на юге — и испанская, и французская) — колонизация, и, так сказать, формируемые, часто пассивные, но не менее животворные силы: насильственно привезенные рабы и жестоко подавляемые аборигены—индейцы. Однако носителями наиболее значительных импульсов революционной и созидательной энергии и собственно нового национального сознания стали прежде всего иммигранты — искатели свободы и счастья, творцы „американской мечты”.

Немецкими эмигрантами в Англии были Маркс и Энгельс. Их научно-публицистическое творчество, их непосредственная революционная деятельность оказали очень большое, не проходящее и доныне влияние на развитие рабочего движения, общественной мысли и гуманитарных наук во всех странах мира.

Польская эмиграция XVIII—XIX веков была одной из главных сил, сохранявших и развивавших национальное единство народа, расчлененного границами трех государств. Мицкевич, Красинский, Норвид, Шопен творили в изгнании. Эта особенность трагической истории Польши запечатлена в национальном гимне: „Марш, марш, Домбровский, приди из Италии в Польшу!“. Польские эмигранты плодотворно участвовали в культурной и общественной жизни других стран и в политической борьбе других народов. „За вашу и нашу свободу“ — этот боевой девиз писали на своих знаменах поляки, сражавшиеся в армии венгерской революции 1948 г., которой командовал поляк — генерал Бем, поляки-гарибальдийцы и поляки-коммунары, которых вел трагический генерал Парижской Коммуны Ян Домбровский.

Польские шахтеры добывали уголь в Руре и в Боринаже; польские моряки плавали под самыми разными флагами; один из них стал замечательным английским писателем Джо-зефом Конрадом. В наши дни польская эмиграция насчитывает почти 6 миллионов в сорока странах.* Среди них есть и значительные ученые (Л. Колаковский, Ян Котт), мастера литературы (В. Вирппа, Сл. Мрожек, Т. Новаковская и др.), польско-американский (двуязычный) писатель Ежи Косинский стал президентом Пен-клуба США. Международное значение „Полонии“, как называют эмиграцию в Польше, высоко оценивают и польское правительство, и все партии, представленные в сейме. „Польша везде“ — озаглавил статью об этой эмиграции Карл Дедечиус („Франкф. Алльгем Цайтунг“, 25 мая 1974 г.), который утверждает, что число польских эмигрантов приближается к 11 миллионам.

Развитию американской литературы XX века многообразно способствовали писатели, подолгу жившие в других странах: „парижские американцы“ 20-х годов — Г. Стайн, Фицджеральд, Хемингуэй, Эзра Паунд, Позднее Ричард Рацт, Джеймс Болдуин, У. Сароян и др. Особенности „американского образа жизни“ не позволяют в данном случае говорить об эмиграции в обычном смысле этого слова; и объективные социально-исторические условия, и субъективные связи не-

* См. „Численность и расселение народов мира“ О.С.

поседливых американцев со своим отечеством существенно отличают их от русских и немецких коллег-современников.

В истории немецкой мысли, искусства и словесности раздел „антифашистская эмиграция” очень ярок, богат, он значительно шире двенадцати лет: 1933—45 г.г. Многие эмигранты вернулись позже (Брехт, Пискатор, Зегерс, Л. Франк, Адорно), либо вовсе не вернулись и годы спустя умерли на чужбине (Эйнштейн, Т. и Г. Манны, О.М. Граф, Ремарк, Фейхтвангер, Деблин и др.).

Мысли и мечты самых деятельных представителей дореволюционной русской эмиграционной интеллигенции были обращены к России в неизмеримо большей мере, чем к тем странам, где временно или постоянно оседали изгнанники. В Лондоне возникла свободная русская печать. Ее создатель — Александр Герцен — гражданин Швейцарии и житель Англии — до последнего дыхания жил Россией; при этом его деятельность, его личность, его мысли оказали существенное влияние на многих европейских демократов и революционеров, на развитие философской, социологической и политической мысли в разных странах. Еще более влиятелен был и остается на Западе, а теперь и в некоторых азиатских, латино-американских и африканских странах Михаил Бакунин; однако и он, сражавшийся на баррикадах в Германии, наставлявший итальянских, испанских, французских и американских анархистов, думал и тревожился только о России. Художник Иванов значительную часть жизни провел в Италии; плодотворно работал Гоголь — в Италии, Франции, Германии в последние годы жизни; Тургеневу была всячески близка Франция, и многие французские и немецкие литераторы видели в нем наставника. Ленин еще и до 1917 года основательно влиял на идеологическое формирование левой социал-демократии; Степняк-Кравчинский — прообраз героя романа Л.Войнич „Овод” — много лет был активистом английского рабочего движения; Горький дважды побывал в эмиграции — и до, и после 1917 года — и уже в начале века его творчество было популярно в Германии и в США. Но для всех них главным смыслом и целью жизни были судьбы России.

Послереволюционная эмиграция была более многочисленна — около двух миллионов за 56 лет — и еще больше раз-

нилась по взглядам, политическим направлениям, партийным и групповым интересам, чем дореволюционная. Но общим для огромного большинства эмигрантов и здесь было желание вернуться. И почти все они верили, что вернутся в обновленную, исцеленную, очищенную новой революцией (реставрацией) или постепенно возродившуюся Россию; первые годы многие из них пытались поддерживать связи с близкими на родине; до середины 20-х годов еще сохранялись некие связующие каналы между эмигрантскими и отечественными культурными силами. Андрей Белый, Пастернак, Маяковский, Есенин, Шкловский, Эренбург, Алексей Толстой, артисты Художественного и Камерного театров были непосредственными "связными" между Москвой, Петроградом и русским Берлином, русским Парижем; вплоть до 1930 года у нас переиздавали некоторые книги, изданные в эмиграции: Бунина, Шульгина, Аверченко, Тэффи, даже мемуары Деникина и Краснова... Но в последующие годы значение эмиграции для отечественной культурной жизни неотвратимо уменьшилось, сводилось к отрицательным величинам. В то же время все более значительным и необычайно плодотворным становилось и многообразно опосредованное влияние и непосредственное участие русских эмигрантов в материальной и особенно духовной жизни многих стран. Историкам еще предстоит изучить это явление, пронизывающее многие разделы мировой культуры XX века. А здесь назовем лишь несколько имен — тех, чье международное значение очевидно и без дополнительных комментариев. Это Рахманинов, Стравинский, Шаляпин, Дягилев, Баланчин, Анна Павлова, Кандинский, Шагал, Гончарова, Рерих, Трубецкой, Якобсон, Чижевский, Сикорский, Северский, Чичибабин, Бердяев, Франк, С. Булгаков, Лосский, Мережковский, Бунин, Набоков, Нина Берберова, Георгий Адамович и др.

В 1950 году Николай Оцуп написал:

Душой присутствуя и там и здесь,
Российский эмигрант умрет не весь;
На родине его любить потомок будет
И Запад своего метека не забудет.

Они очень различны между собой во всем. Однако всех

этих философов, писателей, композиторов, живописцев, артистов объединяет вполне определенное общее двойное свойство: каждый из них, оставаясь русским по душевному складу, по строю мысли, по глубокой сути своего творчества, вместе с тем — и даже именно поэтому! — становился настоящим гражданином мира и деятельным участником духовной жизни тех краев, где жил. Его личность и воплощенные, олицетворенные в ней самобытные особенности русской национальной культуры вплетались неотъемлемыми частями в развитие метафизической мысли, словесности, музыки, пластических и зрелищных искусств того народа, той страны, которые раньше, казалось, были совершенно чужды России, беспредельно далеки от нее. Русская эмиграция XX века стала одним из наиболее явственных и щедро животворных проявлений того развития *мировой* культуры, которое Гете предсказывал в 1827—28 г.г.

Значение русской диаспоры для тех, кто учился в советских школах и институтах, и особенно для тех, кто родился, когда в России, казалось, уже напрочь забыли о „выброшенных на свалку истории последышах царизма и капитализма”, начало проступать все более явственно с конца 50-х годов. Стали возвращаться или впервые прибывали на родину не только книги самих изгнанников, но и сохраненные ими творения мыслителей, художников и поэтов, живших здесь, но погубленных или подавленных. Молодые москвичи и ленинградцы, новосибирцы и киевляне открывали неведомые сокровища, целые континенты национальной духовной культуры, впервые читая Бунина, Бердяева, Цветаеву, Ходасевича, Булгакова, Франка, Шестова... И оттуда же, из тех же издательств, из тех же зарубежных радиопередач непосредственно или через „самиздатские” переиздания пришли „Реквием” Ахматовой, трактаты Флоренского, романы Пастернака и Солженицына, повести Лидии Чуковской, мемуары Е. Гинзбург, Н. Мандельштам, Е. Олицкой, рассказы Шаламова, стихи Бродского, Галича, Горбаневской.

Впрочем, в этом развитии новых взаимосвязей зарубежной России с отечественными читателями, слушателями, а позднее и с „соревнователями” немалую роль играли и послевоенные эмигранты. Однако большинство „перемещенных лиц”

— это все же случайные, стихийно захваченные событиями люди. Мы очень мало знаем о них, а самая крупная из их организаций — НТС — возбуждает недоверие ...

Несомненно, и среди этого поколения эмигрантов есть творческие таланты, о которых еще узнает Родина; однако вся эта вторая эмиграция — (или третья, если считать первой до-революционную) — в целом имеет несравненно меньшее культурное и социально-историческое значение и для России, и для других стран.

VII

Большинство из тех, кто сегодня уезжает из Советского Союза — в Израиль или в ФРГ, в Канаду, в Австралию или в США — уезжает навсегда, без надежд и желания вернуться, без веры в будущее покидаемой и отвергаемой родины. В отличие от эмиграции борьбы, поражений, надежды и веры 1918—1923 г.г., от эмиграции трагических обстоятельств 1941—44 г.г., сейчас преобладает *эмиграция отчаяния и отречения*. Именно *преобладает*. Среди прежних эмигрантов были ведь тоже и отчаявшиеся, и отрекшиеся от России, но тогда преобладали иные настроения, иные мысли и чувства толкали их на чужбину.

В этой статье и неуместно, и невозможно рассматривать проблемы эмиграции из СССР в Израиль — проблемы сами по себе многообразные и сложные. Нам представляется, что, вероятно, значительная часть уехавших и уезжающих туда советских граждан нашли или со временем найдут новую родину, обретут новый смысл своего общественного бытия и личной жизни. Сегодня израильскими гражданами становятся тысячи русских эмигрантов. Один из них печально шутил: „Нужно было приехать в Израиль, чтобы меня, наконец, признали русским все окружающие и я сам осознал себя русским и только русским”. Говоривший это не знал, что повторяет мысль Герцена, писавшего в Англии: „Никогда я более ясно не осознавал себя русским, чем теперь”.

Вероятно, часть из них со временем ассимилируется, но немалая часть останется именно русскими эмигрантами в Тель-Авиве и Хайфе также или почти также, как остаются русскими эмигрантами в Париже и Нью-Йорке.

Английский исследователь истории русской эмиграции в Германии с 1881 года по 1941 год пишет: „... Обиталище, недоступное в реальном мире, может быть найдено в литературе, в искусстве, в политической деятельности. Эмигрант — это человек, который нигде не стал „своим”. ... Русская эмиграция, рассматриваемая в этом смысле, приобретает тем более масштабное, универсальное значение, как архетип общих условий существования человека в XX столетии”.*

Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Андрей Синявский, Валерий Чалидзе, Павел Литвинов, Владимир Максимов, Жорес Медведев, Александр Вольпин—Есенин, Александр Галич, Анатолий Якобсон и другие — при всех различиях их судеб, убеждений, занятий, масштабов дарований и т.п., сходны между собой и с наиболее значительными дореволюционными и послереволюционными эмигрантами в том, что и там, в чужих краях, живут прежде всего Россией, для нее работают, о ней думают, ею болеют. Из Парижа, Иерусалима и Бостона сообщают о возникновении новых научно-исследовательских и творческих очагов русской культуры. Создаются новые издательства и новые журналы, публикуются новые книги, стихи, философские, исторические, филологические, богословские, литературоведческие работы...

Все это позволяет надеяться на добрые плоды, на благотворное развитие в будущем. Но предвидеть настоящее культурное творчество нельзя. Можно с известными допусками планировать и прогнозировать промышленное производство, разведение скота или севообороты. Совершенно невозможно предсказать, как и в каких направлениях будут развиваться литература, искусство, гуманитарное мышление... Однако помехи и трудности развития, противодействующие или болезнетворные силы можно распознать сравнительно рано. Иными словами — настоящее добро, настоящее творчество — непредсказуемы. Но зло и силы, враждебные творческим талантам, иногда удается предусмотреть. Потому что они обычно

* Rob. C. Williams "Culture in Exile. Russian Emigres in Germany (1881–1917), Cornell University press. 1973. Citate from Foylibra.

Books and Booksman. November 1973, v. 19, № 2. Issue № 218, p. 44.

примитивней и они — повторяются. И часто именно в примитивной повторимости их тлетворная суть.

Сегодня уже проявились некоторые особенности, общие для многих — отнюдь не для всех — новых эмигрантов, особенности, которые представляются недобрыми, сулящими дурное.

Они уезжают из страны, в которой больше полувека господствует режим, неотвратимо вторгающийся во все области жизни людей, начиная с яслей и детских садов, непрерывно воздействующий на умы и души всеми средствами воспитания, обучения, информации, пропаганды, развлечения, идеологического контроля, а также карательного и „предупредительного” терроризирования. Те, кто сопротивлялся этому, кто убегает от этого, естественно, сам меняет взгляды и убеждения — философские, религиозные, политические, словом, — *мировоззрение*.

Однако труднее изменить душу, изменить *мироощущение*, нравственное и эстетическое подсознание, а значит, в конечном счете и внутреннюю структуру сознания. Как бы радикально не изменялась его внешняя идеологическая оболочка, это чаще всего оказывается совершенно невозможным — и уж во всех случаях неосуществимым сразу, наспех. *Миросознание*, корнящееся и в сознании, и в подсознании, всегда неизмеримо прочнее, устойчивее *мировоззрения*.

Новые эмигранты, — даже те из них, кто с юности считал себя непримиримым противником советского общественного порядка и его официальной идеологии, — с детства восприняли и усвоили органические структурные особенности „советского” *мироощущения* и образа мышления. Те, кто всегда был неприязнен к государственной политике и партийной пропаганде, усваивали это тем более действенно именно потому, что не сознавали и никогда бы не признали своего органического *душевного* родства с *идейными* противниками — гонителями и карателями. А те, кто круто менял взгляды, стремительно переходя от „Краткого курса истории КПСС” к Евангелию, естественно, и не представляли себе иных приемов полемики, иных взаимоотношений с инакомыслящими, чем те, которым их учили с детства.

Принципиальная нетерпимость и фанатический дуализм,

(„кто не с нами — тот против нас”, „за или против — третьего не дано” и т.п.); нравственный релятивизм („все, что полезно моей партии или моей церкви — добро, все, что может ей повредить, — зло”, „цель оправдывает средства”); истовая и неистовая „партийность”, („чистота доктрин превыше всего”, „ради высокой цели никакие жертвы не страшны, не жалей ни себя, ни других”); предрасположенность к почитанию авторитетов, к обожанию героев и культу вождей у одних и — как необходимое дополнение к этому — претензии на авторитетную непогрешимость, на учительство и монологизм у других — таковы те особенности мироощущения, те „родимые пятна” душевного строя, которые присущи значительному большинству наших эмигрантов, в том числе и некоторым весьма выдающимся, высоко одаренным и героическим... Чем решительнее они отряхают прах советской действительности, чем радикальней, непримиримей ополчаются против пороков и преступлений нашего государства, тем явственней становится их собственная органическая связанность с этой действительностью, их родственная близость именно с теми, кого они считают своими злейшими врагами.

Одной из важнейших особенностей сталинистского мировосприятия был и остается абсолютный „москвоцентризм”. Главным, если не единственным критерием „прогрессивности” любого иноземца служит его отношение к „отечеству трудящихся всего мира”, степень признания всяческого превосходства СССР; соотечественник, же осмелившийся усомниться в абсолютном превосходстве, приоритете, авангардной роли и т.п. достоинствах России во все времена и тем более после 1917 года, подлежит проклятию и поношению как жалкий низкопоклонник и космополит. А в публицистике и в речах некоторых новых эмигрантов с таким истовым „москвоцентризмом” утверждается безоговорочно первенство России в страданиях и жертвах, в бедствиях миллионов и в преступлениях правителей. И для них „земля начинается с Кремля”... С истинно большевистским высокомерием они осуждают жалких западных либералов, интеллигентов-недоумков, которые, протестуя против административных и судебных расправ с инакомыслящими в Советском Союзе, осуждают их так же, как и полицейские преследования в Греции, Бразилии, Тур-

ции, Южной Африке, Чили, Индонезии и других местах, где арестовывают и убивают людей, неудобных правительствам. Это „КАК И” глубоко возмущает в равной степени и советских казенных журналистов, и воинствующих христиан новой эмиграции.

Наиболее радикальные эмигранты то скорбно укоряют, то гневно обличают тех западных литераторов, журналистов, общественных деятелей, которые не решаются признать именно русский народ самым несчастным, самым угнетенным, а его правительство — самым гнусным на планете, не согласны видеть во всех левых — и особенно в марксистах — слуг дьявола... И глубокое отвращение вызывают у них все „умиротворители”, „новые мюнхенцы”, „капитулянты”, т.е. сторонники разрядки международной напряженности, те, кто осмеливается доказывать, что на планете, уже сейчас сверх всякой меры перегруженной термоядерными бомбами, единственный путь к предотвращению гибели человечества — переговоры и соглашения всех государств со всеми. Старая пословица „Худой мир лучше доброй ссоры” сегодня — решающее условие существования жизни на земле. А некоторые именующие себя христианами проповедники новых крестовых походов противопоставляют этой простой истине гордую максиму: „Пусть торжествует справедливость, если даже погибнет мир”. Но некогда такая формула была риторической гиперболой, а сейчас гибель мира — вполне реальная возможность.

Новая эмиграция уступает предыдущим по численности, но уж никак не менее разнообразна, разноречива и разобщена, разделяясь на соперничающие, враждующие или вовсе несообщающиеся, взаимно отчужденные группы и группки.

Решительно отделяется ото всех Александр Солженицын, он и в изгнании остается пока таким же одиноким пророком, каким был в своем отечестве. Его художественное творчество — это, несомненно, самое значительное, самое важное из всего, что возведено миру на русском языке в последние годы. *

Поодиночке выступают и радикальный „неоромантик” Д.

* И хочется надеяться, что этому не помешают его „новостароверческие” проповеди в публицистике.

Панин (Франция), и „умеренный реалист” Жорес Медведев (Англия).

Несколько человек примкнули к НТС.

В США возникли кружки новой эмиграции в Бостоне, в Нью-Йорке. В публикациях Валерия Чалидзе и Павла Литвинова (книга „Права человека и Советский Союз” В. Чалидзе, новые издания „Хроники” и др.) воплощены стремления непосредственно отстаивать гражданские права соотечественников, защищать гонимых, обличать гонителей, оглашать правду об арестах, судах, административных расправах. Людям, выросшим в тоталитарном государстве, больше всего недостает терпимости, уважения к личности, в частности — к праву каждого на инакомыслие. Поэтому программа „Хроники” не политическая, а нравственная — правосознание, основанное на понимании демократии как свободы и равноправия не только для большинства, но и для любого меньшинства, для отдельных людей.

Созданный в конце 1974 года журнал „Континент”, судя по первым заявлениям его создателей, призван объединить под одной обложкой литераторов нескольких стран восточной Европы — эмигрантов и не эмигрантов.

Кроме того, „Континент” будет публиковать произведения, которые без него оставались бы погребенными в ящиках письменных столов или погибли бы. Вопреки утверждению булгаковского Воланда, рукописи иногда все же сгорают, а каждое живое слово, прорвавшееся на свободу, запечатленное черным по белому, пусть даже самым малым тиражом, — уже само по себе — прекрасное достижение.

Но еще до своего появления на свет этот журнал — по сути первый орган новой русской эмиграции — оказался средоточием неразрешимых противоречий. Хорошо, если бы они хотя бы не обострились в будущем.

Однако и самые плодотворные достижения в эмиграции не могут уравновесить, умалить тот ущерб, который приносят отечественной общественной и культурной жизни все новые отъезды, все новые утраты. Один московский литератор сказал: „Постепенно возникает нечто вроде лунного ландшафта — бесплодные кратеры-воронки... Ведь каждый, кто уез-

жает навсегда, вырывает себя „с корнями”, и почти в каждом случае это разрывает множество связей — деловых, научных, творческих, просто человеческих — которые существовали вокруг и „через” уехавшего”. Так разрушается живая структура почвы, питающей культуру. *

Еще более тягостны и разрушительны потери, не выразимые в числах и даже в точных определениях. Ничем не исцелим вред, причиняемый общей атмосфере и общей структуре нашей культурной почвы тем, что „воронки”, возникающие после отъезда настоящих ученых, настоящих творческих работников, заполняют хорошо если только случайные посредственные заменители, нередко на их места приходят бездарные бессовестные карьеристы. В участках, покинутых уехавшими по израильским приглашениям, особенно густо растут живучие чертополохи антисемитизма, расистских предрассудков. Многим родственникам, друзьям, ученикам и коллегам уехавших затрудняют жизнь, мешают работать и внешние „воздействия”, и внутренние помехи: сознание разлученности навсегда, невозместимости утрат, а пуще всего — сознание тщетности надежд, безнадежности добрых усилий, именно то сознание, которое других лишает родины.

Очень хотелось бы надеяться, что вопреки трудностям и болезненным процессам, вопреки „большевизму наыворот”¹ иных эмигрантских экстремистов, вопреки злым духам отчаяния, резиньяции, обреченности, безразличия, вопреки всем старым и новым (и будущим, еще не объявившимся) фанатикам, проповедникам слепой ненависти, насилия, мести, вопреки ядовитым соблазнам потребительского благополучия, оскопляющейся души „сладкой жизни”, — вопреки всему этому новая русская эмиграция сумеет обнаружить в себе и развить силы, способные, наследуя лучшие традиции эмигрантов прошедших эпох, обогащать русскую и мировую культуру, соз-

* После отъезда московских ученых Елены Сеमेка, Александра Пятигорского, Бориса Огибенина и смерти в лагере осенью 1974 года замечательного ученого и верующего буддиста Дандарона неоправданно разрушена целая научная отрасль — советская буддология. Тягчайшие потери понесли некоторые области математики, физики, лингвистики и т.д.

давая свои собственные духовные ценности, сохраняя и расширяя творения, подавляемые на родине.

Конечно, всего бы лучше, если бы *настоящая* — всеохватная — разрядка международной напряженности, настоящее разоружение, настоящая действенность международных договоров и соответственно *разрядка внутренней напряженности* в нашей стране вообще устранили бы необходимость новой эмиграции. Из государства, границы которого открыты в обе стороны для беспрепятственного обмена информацией и свободного общения всех людей, вероятно, мало кто захотел бы эмигрировать.

Но в обозримом будущем это возможно лишь как чудо.

Хорошо уметь надеяться на чудеса!

1974–75 г.г., Москва

О ДВИЖЕНИИ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СССР

I

Современное демократическое общество находится под постоянной угрозой различных тоталитарных тенденций. Два столпа, на которых оно стоит — толерантность и плюрализм — ежедневно сотрясаются от ударов. С одной стороны ему угрожает стремление поборников порядка сохранить статус-кво любой ценой и всеми возможными способами вплоть до затыкания рта критикам. С другой стороны — желание радикальных перемен со стороны бесчисленных меньшинств, которые ищут удовлетворения своих интересов, мало заботясь о последствиях подобных перемен для общества в целом. Эти интересы часто идеологизируются, используются в политической демагогии экстремистскими элементами.

Идеологической основой экстремизма является вера в человеческое совершенство, вера в то, что причина трагизма и противоречий жизни лежит исключительно в социальной несправедливости, за которой стоит несовершенство государственной системы. Согласно этой вере, идеальный общественный строй, который возникнет на развалинах сокрушенного старого несправедливого мира, проявит в человеке все лучшее, что в нем заложено, история остановится, люди заживут в гармонии с окружающей средой, друг с другом и государством (которое, впрочем, мыслится излишним в этом царстве совершенства) и счастливо и дружно будут строить здание общественного прогресса.

Любители порядка, напротив, уверены, что человек по природе плох и нуждается в постоянной опеке, что ему более всего необходимы безопасность и устойчивость, а более всего угрожают не могущие в сущности ничего изменить реформы и перемены.

Оба эти так называемые правый и левый, экстремизмы сходятся в неверии в свободу, в то, что человек сам без опеки и принуждения способен сделать собственный выбор, определить свой путь в жизни. Потому, придя к власти, они устанавливают режимы, неотличимые друг от друга в главном: в попрании основных прав человека, в попрании его свободы.

Эти режимы принято называть тоталитарными, и они столь схожи между собой, что, изучив проблему прав человека в одном из них, можно судить о ней и применительно к другим. Разумеется, не следует закрывать глаза и на их различия, обусловленные историко-культурными, экономическими и другими причинами, однако для человека внутри тоталитарной системы как субъекта права эти различия малосущественны. В нашей статье пойдет разговор о правах человека в СССР.

* * *

Сегодня хорошо известно, что в СССР нарушаются фундаментальные человеческие права, такие как право на свободу слова, право на свободу демонстраций и забастовок, на свободу религиозных исповеданий и создания независимых ассоциаций, право на гласное и беспристрастное судопроизводство, право на свободу эмиграции.

Менее известно, например, нарушение прав граждан менять местожительство внутри собственной страны. Система обязательных внутренних паспортов со специальным штампом о *прописке* ограничивает свободу выбора места жительства, либо вовсе отменяет ее. Проживание без паспорта или без прописки ведет к уголовному преследованию. Положение отягощается тем, что правила прописки никогда полностью не публиковались и известны лишь определенному кругу чиновников, а суды отказываются принимать к рассмотрению споры о прописке.

Однако не будем умножать список нарушаемых прав. Интересующийся может обратиться к посвященной этому вопросу литературе, приводящей многочисленные свидетельства того, что фундаментальные права человека не гарантируют-

ся и не уважаются в Советском Союзе. *

Правда, часто возникает возражение, что хотя в СССР подавляются политические права, связанные с первым словом лозунга Французской революции „свобода...” (вошедшие в Международный Пакт о гражданских и политических правах), зато там, как нигде в мире, осуществлены права людей, связанные со вторым словом того же лозунга — „равенство...” (Пакт об экономических, социальных и культурных правах). На Западе традиционно отдавалось предпочтение гражданским и политическим правам. Многие и сегодня склонны считать эти права единственными заслуживающими внимания. Признаться, и я, говоря о правах человека, имею в виду в первую очередь их... Напротив же, Советский Союз, страны Восточной Европы и Третьего мира выступают в качестве первооткрывателей и защитников прав на социальное, экономическое и культурное равенство.

Однако предпочтение социально-экономических прав правам гражданским и политическим по существу уничтожает идею прав человека как таковую. Недалеко ходить за примерами. В 1932—33 годах в южных районах Советского Союза свирепствовал страшный голод, согласно многим источникам во многом искусственно вызванный. Власти не только не делали попыток ликвидировать его и накормить голодающих, но окружили районы голода заградительными отрядами и стреляли по тем, кто пытался выйти из обреченной зоны. Отсутствие в стране свободы слова помогло правительству в течение многих лет скрывать самый факт голода от всего мира. Между тем, если даже оставить в стороне вопрос, был ли голод вызван искусственно, ясно, что при наличии информации он мог бы быть ликвидирован или, по меньшей мере, смягчен с помощью других государств, как это произошло, скажем, в 20-х годах во время голода в Поволжье.

Подобных примеров можно привести множество. Любому непредубежденному человеку ясно, что экономические права не могут иметь преимущества перед политическими. Однако пра-

* Кроме „Хроники текущих событий”, документально отражающей нарушения прав человека в СССР, отошлю читателя к недавно вышедшей книге Валерия Чалидзе „Права человека и Советский Союз”, Изд. „Хроника”, Н.-Й., 1974 год.

вомерен ли обратный подход, считающий экономические и социальные права второстепенными? Для его сторонников эти права не общеобязательны, поскольку они не применимы ко всему населению: право на труд, на оплачиваемый отпуск, на свободу профессиональных объединений, естественно, имеет отношение лишь к работающему по найму, тогда как в гражданских и политических правах нуждается каждый. Кроме того, согласно этой точке зрения, развивающиеся страны в силу низкого экономического уровня не могут предоставить всем гражданам, скажем, права на образование.

Но эти аргументы также не выдерживают критики. В современном обществе число людей, работающих по найму, непрерывно возрастает и уже составляет большинство населения. Что же касается слаборазвитых стран, то если они не могут обеспечить всеобщего права на образование, то нелогично от них требовать и обеспечения гражданских прав, поскольку, не имея достаточно грамотных людей или, скажем, адвокатов и судей, они не могут обеспечить всеобщего права на защиту и справедливый беспристрастный суд.

Потому не стоит говорить о примате одних прав перед другими. Их равнозначность подтверждается преемственностью социальных прав от прав политических и их взаимозависимостью. Современные политические права родились на Западе в результате длительного, можно сказать, аристократического пути завоевания этих прав, в ходе которого различные группы (аристократия, города, университеты) отвоевывали для себя привилегии, которые постепенно и не без борьбы становились позитивными правами для всех, кто заявлял на них претензии. Вначале это были имущие классы, затем на Западе эти права распространились на все слои общества, и в XX веке с распространением грамотности и средств массовой информации о своих правах узнали люди, не ударившие палец о палец для их завоевания.

В XX же веке возникло множество государств, население которых из отсталости, нищеты и неграмотности шагнуло в современную западно-европейскую цивилизацию. Оказавшись потенциальными обладателями политических прав, эти народы перед лицом голода и нищеты столкнулись с необходимостью утверждения прав социальных и экономических. Ради

призрака скорейшего их достижения они приносят свои унаследованные от Запада политические права в жертву диктатуре, сулящей установление прав экономических и социальных. Диктатура же заставляет эти народы рано или поздно задуматься о проблеме гражданских и политических прав.

Так, например, все более становится очевидным, что недостаток политической и гражданской свободы в СССР мстит за себя и не позволяет по-настоящему развить производительные силы страны, а, значит, и достигнуть того экономического уровня, который бы мог обеспечить социальные и культурные права.

Так или иначе, неправомерен иерархический подход к основным правам, отдавание предпочтения тем или другим. Человеку, жизни которого грозит опасность, вообще говоря, безразлично, кто ей угрожает — голод или произвол диктатора.

II

Возвращаясь к проблеме прав человека в Советском Союзе, постараемся освободить ее от различных исторических, идеологических и эмоциональных наслоений. Для этого выделим три господствующие точки зрения, к которым так или иначе тяготеет все множество мнений по этому вопросу.

Согласно первой из них, в СССР построен социализм — лучшая из возможных социальных систем, которая рано или поздно восторжествует во всем мире. Только социализм может гарантировать основные права человека для всех без исключения. Естественно, что в ходе построения социалистического строя было допущено (и, вероятно, будет допущено в будущем) немало ошибок и извращений, неизбежных из-за враждебного капиталистического окружения и сопротивления реакционных элементов, но в целом советское общество прогрессивно, и положение в нем постоянно меняется к лучшему. Конечно, индустриализация в экономически отсталой, неграмотной стране не могла быть произведена без жертв. Но если сравнить царскую Россию с Россией советской, то сравнение будет, безусловно, в пользу последней. В поддержку этого утверждения любят приводить статистику грамотности, производственных мощностей, жилищного строительства и т.д.

Другие авторы склонны рассматривать дореволюционную монархическую Россию как прекрасное место для жизни, в которое вторгся иноземный вихрь марксизма и революции, сметя старые традиции и создав коммунистическую тоталитарную Россию на развалинах прежней, ликвидировав все ее родовые черты и имевшиеся свободы. Ее сторонники склонны идеализировать русскую старину с православием и самодержавием и отрицать какую бы то ни было преемственность между царской и советской Россией. Их нежеланию признавать специфически российских форм жизни в современном СССР приходит на помощь сходство всех коммунистических режимов в мире, заслоняющее их национальные различия.

Представители третьей точки зрения, напротив, рассматривают Советскую Россию как простую модификацию России царской. Они отмечают общий для обоих азиатский характер деспотии и считают родовыми свойствами русского народа покорность и нежелание отстаивать свои права вместе со склонностью к „бессмысленным и беспощадным” бунтам, после которых вскоре снова возвращается готовность покоряться тирании.

Какая же из этих точек зрения наиболее справедлива?

Первая из них, очевидно, связана с мечтой о будущем идеальном обществе и верой, которая видит эту мечту уже осуществленной где-то в современном мире. Даже столкнувшись с разочаровывающей действительностью, эта вера легко избирает другой объект, о котором негативной информации пока меньше или ее можно отнести на счет так называемого переходного периода (что легче сделать на примере Китая, Кубы или новообразовавшихся стран Африки, чем Советского Союза).

Адептов этого коммунистического идеализма убеждают советские достижения в области всеобщей грамотности и среднего образования, равноправия женщин и т.д. Но можно ли их отнести к специфическим заслугам советского режима, если учесть, что все это в гораздо большей степени без таких жертв и напряжения за тот же срок достигнуто и западными странами? В этих случаях, как правило, возникает возражение, что при царском режиме не было условий для такого развития. Но история пореформенной России свидетельствует об

обратном: были не только условия развития, но и все развитие шло бурным темпом. При этом надо отметить, что царские цензура и каторга были несравнимо мягче советских, что несмотря на многочисленные попытки ограничения в России, начиная с 60-х годов XIX века, действительно существовала свобода печати, что XIX век был временем великого расцвета русской литературы. Существенно, что число жертв произвола властей в царской России XIX века на много порядков меньше, чем в советской, что и в самые „реакционные” годы русские подданные могли ездить за границу и возвращаться обратно и многое другое.

Продолжая свою аргументацию, сторонники второй точки зрения еще могут напомнить о суде присяжных, о земском самоуправлении, о развитии сети школ, больниц и бесплатных библиотек с конца XIX века, о культурном ренессансе, о появлении русского парламента — Государственной Думы и, наконец, об Учредительном собрании, в которое весь народ свободно выбрал своих представителей и которое было разогнано в 1918 году большевиками. Переходя к советскому периоду, они расскажут о планомерном уничтожении целых общественных групп России (аристократии, интеллигенции, духовенства), о запрете всех политических партий, а затем уничтожении внутрипартийной оппозиции в самой большевистской партии, о разгроме и частичном уничтожении крестьянства, о геноциде ряда народов, о захватнической внешней политике и т.д. Разумеется, они отметят, что основные черты коммунистических революций и пореволюционных режимов повсюду одинаковы, что в своей предреволюционной агитации коммунисты объявляют себя сторонниками демократических свобод и защитниками всех угнетенных, а придя к власти, устанавливают режим, как правило, несравнимый с предреволюционным по степени террора и порабощения населения, при этом заставляя народ публично клясться, что он счастлив и живет в самом свободном обществе на свете.

Тут настает время вступить в спор представителю третьей точки зрения: „Вы говорите: „ несравнимый с предреволюционным по степени террора и порабощению населения.” Тем самым, Вы признаете, что террор и порабощение были и раньше. Они были *всегда* в России. Русский народ органически

не приемлет демократии. Советский и царский режимы — близнецы-братья. Откройте сочинения любого русского сатирика от Гоголя до Синявского, от Салтыкова-Щедрина до Михаила Булгакова, от Алексея К. Толстого до Мих. Зощенко — и Вы обнаружите их приложимость к любому периоду русской истории. Сочинения Чаадаева запрещены в Советской России так же, как и в России Николая I, прозванного „Палкиным”. Западник Чернышевский сказал: „Проклятая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы”. Ему вторил славянофил Хомяков: „В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена”.

Еще более едки и горьки современные обличения покойного писателя А. Белинкова: „Вот как в нашей могучей стране, населенной нашим великим народом... обожают душителю, особенно с того дня, когда они окончательно обретаю власть, от которой укрыться нельзя”.

С этим странным образом перекликаются высказывания писателей противоположного направления. Например, Солженицын, скорее выражающий национально-идеалистическую точку зрения, так относится к русской дилемме авторитаризм—демократия: „... Требование „свободы” и понятие о „свободе” весьма слабо было в нашем народе развито...” „Внешняя СВОБОДА сама по себе может ли быть ЦЕЛЮЮ сознательно живущих существ?”* Слово „свобода” у Солженицына даже не заслуживает употребления без кавычек. „Может быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России все равно сужден авторитарный строй?” Но Солженицына это не смущает, ведь все зависит от того, КАКОЙ авторитарный строй ожидает нас и дальше. **

Другой современный русский литератор, Владимир Осипов, поддерживает точку зрения Солженицына: „Русскому человеку мучительно НЕДОВЕРИЕ, лежащее в основе выборной системы, а также РАСЧЕТЛИВОСТЬ, рационализм демократии”. ***

* „Из-под Глыб”, ИМКА-пресс, стр. 24-25.

** „Письмо вождям...”, ИМКА-пресс, стр. 45.

*** „Вестник РСХД”, № 111, стр. 217

Однако не будем умножать цитаты, можно заполнить десяти страниц подобными переключками XIX и XX веков. В своей книге „Истоки и смысл русского коммунизма” Николай Бердяев показывает, что большевизм с необходимостью вырос из всех основ русской жизни, что политическое развитие России и русское общественное движение неминуемо должны были породить советский коммунизм.

Выходит, что история России полностью предопределена и надеяться не на что, что „Россию могут спасти только сто лет оккупации войсками ООН”, как выразился один московский шутник.

Но все внутри нравственно протестует против такого вывода. Да и научность его вызывает серьезные сомнения.

Так ли все на свете действительно предопределено? Детерминирует ли история страны с непреодолимой жестокостью все ее будущее развитие? Где место человеческому творчеству, сознательно преобразующему будущее? Чтобы убедиться в абсурдности полного исторического детерминизма, попытаемся применить его принцип к какой-нибудь современной проблеме, скажем, к политическому будущему Португалии. Кто осмелится сейчас со всей определенностью предсказать, каким будет будущее Португалии: демократия или тоталитаризм, и если демократия, то надолго ли, а если тоталитаризм, то навсегда ли? Принадлежит ли Португалия к одному из заданных заранее общественно-политических типов: авторитарному или демократическому? Ясно, что невозможно ответить определенно на эти вопросы. Не менее наивным может показаться заглядывание в прошлое в поиске альтернатив развития. Рассуждения в сослагательном наклонении типа „если бы ..., то ... ” держат в напряжении читателя исторического романа цвейговского жанра и помогают коротать досуг ветеранам войн и революций, пытающимся найти виновников проигранных сражений.

Но подобное упражнение может оказаться и полезным, если не дать много воли эмоциям. Вернемся мысленно к нескольким моментам из предреволюционной русской истории. К 1905 году требования демократических свобод в России были настолько сильны, что заставили царя Николая II уступить и провозгласить манифест, дарующий основные демократичес-

кие свободы, и созвать первый русский парламент — Думу. Представим себе царя более гибким и реалистичным, способным смириться с тем, что свободы отданы навсегда, и не думающим, как бы их при удобном случае взять обратно.

Другой момент. Многие справедливо указывают на I мировую войну как непосредственную виновницу русской революции. Но ведь ход войны мог бы быть другим, или она могла бы задержаться с началом, хотя бы лет на десять, позволив сложиться и закрепиться в России новому конституционно-монархическому строю, уважающему права человека. Такие мысленные эксперименты помогают избавиться от абсолютно-го детерминизма в подходе к истории и от деления народов на демократические и авторитарные. Кстати сказать, наиболее влиятельной в стране и в Думе в период 1905—1917 года была именно „партия народной свободы” — конституционные демократы.

Скептики относительно демократических возможностей России могут указать на то, сколь историческое прошлое России отличалось от истории такой, к примеру, колыбели народовластия как Голландия. На это можно возразить, что между Японией и Голландией разница не меньше, и однако, она не помешала превращению Японии в демократическое государство.

Значит не столько следует говорить о наследственности, сколько о застаревшей и дурной традиции, привычке. А, может быть, лучше говорить о НЕпривычке к демократии, об отсутствии традиции терпимости к чужому мнению, уважения чужой жизни, чужой свободы, о традиции ксенофобии, неверия в силу вольного слова, в возможность порядка, основанного на праве, а не на авторитете и насилии, о неразвитости сознания собственного достоинства, наконец.

Где же, в чем искать опору для образования новых привычек, отвычек от старых? В течение уже двух столетий русская мысль пыталась найти их в русской истории, в древних вольных городах Новгороде и Пскове, в Киевской Руси и не находила их там, не находила их, по крайней мере, в народной памяти. Такие попытки, вероятно, будут продолжаться, но сегодня уже совсем трудно поверить в их успех. Так что же,

неужели ничего не было в русской истории, что могло бы дать толчок новому развитию?

Нет, кое-что было. Была традиция русской литературы и русской интеллигенции, традиция сострадания к униженным и оскорбленным, ощущение их боли, как своей, и попытки перестроить мир на справедливых, гуманных началах.

Выше говорилось об элементах случайности в развитии русской революции. Историк может проследить, как трансформировались сострадание и любовь к справедливости — первые импульсы, заставляющие человека думать о переделке мира — в обиду и ненависть, которые не могут породить ничего, кроме насилия и разрушения. (Современный психолог, вероятно, отметит в этой трансформации роль гипертрофированного чувства вины).

Историк покажет, как эта метаморфоза происходила в сердцах одних и тех же личностей, как люди, говорившие и делавшие одно и то же не понимали, насколько различны двигающие ими мотивы, как это различие, наконец, вылилось в разные партии, а затем и фракционные расколы этих партий, как развивающаяся в стране революция поднимала все новые и новые слои населения, пока не добралась до самых „униженных и оскорбленных“, в душах которых уже не осталось ничего, кроме жажды мести, как, действительно, нашлась в этот момент „единственная“ партия — большевики — спусковой механизм, который освободил и объединил эти эмоции ненависти, превратив их в машину разрушения, и как до конца используя эту машину, она вновь заковала эти эмоции и заодно все живое в стране.

Русская революция, как и другие революции до и после нее, свидетельствует об одном: революции сами по себе не решили ни одной реальной проблемы, стоявшей перед народом, напротив, вызывая реакцию на революционный разгул, они всегда высвобождали тоталитарные силы, дремлющие в каждой стране.

Однако далеко не после каждой революции эти тоталитарные силы брали верх. Почему же они победили в России?

В России был крайне низок уровень правосознания как в народе, так и в образованной части общества. Отметим сразу же, что после судебной реформы 1864 года в этой области произошли серьезные изменения. В России появились несменяемые судьи и суд присяжных. Конец XIX и начало XX веков подарили России плеяду блестящих юристов и профессоров права. Но в целом эта сторона жизни как бы прошла мимо сознания русской интеллигенции. Славянофилы считали отсутствие правосознания преимуществом русского народа перед европейским. Даже просвещеннейшие среди русских либеральных и революционных мыслителей — такие, как Герцен или Плеханов — недооценивали значения права.

Право традиционно рассматривалось в России как, в лучшем случае, ценность не первого порядка, как нечто временное и переходное, в худшем — как зло, хотя и неизбежное до поры.

Русский мыслитель — профессор права Б. Кистяковский писал в "Вехах" в своей статье „В защиту права" об опасности, которую несет недооценка правосознания в среде интеллигенции, о правовом нигилизме ВСЕХ направлений русской общественности. Разумеется, произвол властей только усугублял положение. Единственным, не успевшим за короткий срок укрепнуть росток права и законности на русской почве была кадетская партия, просуществовавшая в России двенадцать лет (1905—1917).

Надо здесь отметить и слабо понимаемую в России нерасторжимость понятий „права" и „свободы". Ленин, хотя и юрист по образованию, но абсолютно лишенный правосознания, писал в 1917 году после Февральской революции, что в России стало свободы столько, сколько нет нигде в мире. Ленин приветствовал эту неограниченную свободу: она нужна была ему для проведения широкой пропагандистской кампании против старого строя.

О разгульной бесправной свободе этого периода писал более, чем полстолетия спустя и писатель А. Солженицын: „... в настойчивых поисках политической свободы как первого и главного, есть промах; прежде хорошо бы представить,

что с этой свободой делать. ТАКУЮ (выделено мною — П.Л.) свободу мы получили в 1917 году (и от месяца к месяцу все большую) — и как же поняли мы ее? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. И с телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей”.*

Поразительно это абсолютно одинаковое понимание свободы и ее отношения к праву у мыслителей, стоящих, казалось бы, на противоположных концах политического спектра. Еще раз убеждаешься в том, как условно, и как в сущности ничего не выражает оценка политических деятелей по привычным критериям „правого” и „левого”.

По существу настоящим критерием может служить отношение к свободе и правам человека. Если свобода признается пустым понятием, синонимом анархии, а не условием реализации прав человека, то естественно, от такой свободы звать к авторитарному строю.

Это единство крайних „правых” и „левых” направлений в России, в нечувствии к ценностям свободы подтверждает, что традиции свободы, основанной на праве, а значит и уважения к правам человека вообще — в России практически не было.

* * *

Трагедию России революционного и пореволюционного периода часто приписывают большевикам и их идеологии, иноземному интернациональному марксизму, якобы лишенному русских корней, направленному большевиками против традиционной России, против русского народа. Допустим. Вернемся опять к революционным годам и поставим еще один мысленный эксперимент.

Никто не станет отрицать, что Февральская революция в стране произошла практически без участия и влияния большевиков, и только к середине 1917 года их пропаганда начала вносить свою лепту в уже развивающийся процесс радикализации народа, главным образом, матросов, солдат и рабочих Петрограда. К этому времени более или менее стало ясно,

* „Из-под глыб”, ИМКА-пресс, 1975, стр. 25.

что либералы (конституционные демократы), умеренные социалисты (эсеры и меньшевики), умеренные консерваторы (октябристы), не в силах справиться с революционной стихией. Но было в России движение, которое при известных обстоятельствах могло бы создать сильную партию, найти опору в народе и даже победить. Это движение — черносотенное.* Оно не победило, хотя во многих местах ему удавалось создать очаги сопротивления большевикам. Но что бы произошло, если бы оно победило?

Очевидно, что оно нанесло бы свой удар по интеллигенции, ее партиям и организациям, уничтожило бы завоевания не только Февральской, но и революции 1905 года, ввело бы жесточайшую цензуру печати и отняло бы все демократические свободы. Как реакционная партия, стремящаяся к тоталитарному порядку, она бы рано или поздно объявила жестокую войну крестьянам, начавшим передел земли и приобретающим экономическую свободу. Как партия с опорой на городские низы, она бы перебила и дворянство заодно с интеллигенцией.

Но не то же ли сделали и большевики?

Правда, кое-какие отличия были бы. Черносотенцы не казнили бы Царя и его семью, восстановили бы монархию. Они не стали бы уничтожать Церковь и православие, напротив, укрепили бы их и с их помощью — идеологический контроль населения, уничтожив все реформаторские течения вместе с начавшимся религиозным и культурным возрождением и его представителями. Они бы продолжили царскую политику преследования различных религиозных сект. Они бы попытались силой сохранить единую и неделимую Россию — только не под знаменем интернационализма, что, разумеется, для нерусских народов совершенно неотличимо. И начали бы они с грандиозного еврейского погрома. Отвердев, такой режим стал бы напоминать германский нацизм со специфической православной окраской.

* Под черносотенством или черносотенным движением я здесь понимаю не только собственно организации „Черной сотни“, но так же и организации типа „Союза русского народа“, „Союза Михаила Архангела“ и общественные настроения, ими выражаемые.

При всей маловероятности такого исхода наша картина вполне реалистична, ее детали то и дело возникали в России Победоносцева, в период реакции на революцию 1905 года и иногда во время Гражданской войны, а также в некоторых идеях и действиях части эмиграции. Проницательный современник революции поэт Волошин так представил глубоко национальный характер русской революции и неизбежность именно тех форм, которые она приняла, независимо от идей, провозглашенных на ее знаменах:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган во всех степях:
В комиссарах дух самодержавья,
Взрывы Революции в царях.

Но все же было бы одно существенное отличие. Черносотенный режим не нуждался бы, вероятно, в таком количестве идеологической лжи для оправдания своей легитимности. Он просто попытался бы опереться на традиционную российскую структуру власти, отбросив реформы.

Положение большевиков было иным — они были революционерами, крайними сторонниками принципа равенства, социальных и экономических прав для всего населения. И чтобы захватить власть и удержать ее, они должны были объявить себя исполнителями давних чаяний русской интеллигенции, ее мечты о свободе и гражданских и политических правах, т.е. фактически они не могли отбросить революционной терминологии, не могли не декларировать лозунгов февральской революции. Разумеется, с самого начала они уже видоизменяли эти лозунги в нужном для себя направлении, а окончательно укрепившись, сделали все, чтобы вытравить из них все либеральное и революционное содержание, превратили эти идеи в идеологию застывших форм, предельно национализовав интернациональное содержание марксизма, а многолетним террором и направленной идеологической обработкой населения отучили его от попыток применять критическое начало марксизма к собственной стране.

Но это непереваренное наследство демократических идеалов продолжало жечь желудок, заставляло украшать фасад,

демонстрировать легитимность режима. Поэтому в разгар террора 30-х годов принимается первая серьезно разработанная русская конституция, а в послесталинские годы подписываются международные конвенции о правах человека.

И в 60-е годы появились в Советском Союзе люди, решившие прочесть всерьез то, что написано о свободе на знаменах, и выяснить, почему не выполняются эти декларации и конвенции внутри страны, тогда как их не устают нести вовне, требуя свободы для народов всего мира.

Так странным образом советская официальная идеология пронесла через полвека закупоренный в сосуде слов дух свободы и права, дав тем самым возможность его возрождения в движении за права человека в Советском Союзе.

III

Это явление получило уже несколько названий: „демократическое движение“, „диссидентское движение“ и даже „движение инакомыслящих“. Последнее звучит диковато для русского уха, как, впрочем, и само выражение „инакомыслящий“, возникшее как перевод английского — dissident. Слово „диссидент“ стало уже привычным, но „диссидентское движение“ все же не прижилось: не хватает исторических аналогий, а так буквально — ничего не говорит.

Сложнее обстоит дело со ставшим популярным названием „демократическое движение“.* К нему тоже можно предъявить несколько претензий. Во-первых, оно преувеличивает размах и массовость явления, кроме того, оно подразумевает движение за демократию, т.е. буквально — власть народа. Однако в XX веке стало совсем не ясно, что это значит, поскольку каждый режим, даже самый антинародный, не перестает называть себя „демократическим“, обвиняя традиционные демократии в отсутствии демократии. Двусмысленность этого термина отягощается еще и тем, что советский режим в своем толковании „демократии“ имеет тот неоспоримый козырь, что народ его поддерживает.

Наконец, это название имеет политический оттенок, наме-

* По крайней мере популярным сейчас в России стало прозвище „демократы“ по отношению к участникам движения.

кает на роль политической партии, что на самом деле этому движению было изначально чуждо. Мне представляется исключительно важным подчеркнуть *внеполитический* характер этого движения, защищающего права высказывать любые мнения, в том числе и антидемократические.

Любопытно, что те, кто решительно настаивает на термине „демократическое движение“, как раз и пытаются представить его в виде некоего политического движения или даже партии. Так поступают анонимная „Программа демократического движения Советского Союза“, журнал „Демократ“ и даже некоторые активисты движения.

Мы предпочитаем название „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА“, что несколько длинновато, зато понятно и не имеет политической претензии.

* * *

Изложим вкратце историю его возникновения. 5 декабря* 1965 года в 6 часов вечера на Пушкинской площади в Москве у памятника поэту собралось около 50 человек. Некоторые из них держали в руках лозунги „Уважайте конституцию — основной закон СССР“, „Свободу Синявскому и Даниэлю“. Демонстрация была разогнана. Некие „люди в штатском“ силою запихивали державших в руках лозунги демонстрантов в заранее приготовленные машины и развозили по отделениям милиции и штабам народных дружин. Впрочем, на этот раз после нравоучительных бесед всех задержанных отпустили по домам.

Демонстранты протестовали против ареста писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, обвинявшихся в публикации своих произведений за границей. Протест не помог, ибо в феврале 1966 года состоялся суд, по которому Синявского и Даниэля приговорили соответственно к 7-ми и 5-ти годам лагерей строгого режима.

Но это осуждение писателей за литературные произведения вызвало волну возмущения в среде столичной интеллигенции. Москвич Александр Гинзбург составил „Белую книгу“ —

* 5 декабря — день принятия Советской Конституции.

сборник документов о процессе, в который вошли стенографическая запись суда и советские и зарубежные отклики на процесс над писателями.

Его друг — поэт Юрий Галансков составил альманах „Феникс” из различных произведений самиздата, куда, в частности, включил статью А. Синявского и свое открытое письмо Шолохову, в котором обвинял этого писателя за то, что тот присоединился к травле осужденных коллег. В своем публичном выступлении Шолохов утверждал, что они заслуживают расстрела. В начале 1967 года Гинзбург, Галансков, участник составления „Феникса” Алексей Добровольский и машинистка Вера Лашкова были арестованы. В январе 1968 года над ними состоялся суд, приговоривший Галанскова к 7-ми*, Гинзбурга — к 5-ти, Добровольского — к 2-м и Лашкову — к 1-му годам заключения в лагерях строгого режима.

Не говоря о том, что людей осудили за открыто высказанные убеждения, сам процесс проходил с многочисленными нарушениями советского законодательства: чрезмерным сроком содержания под стражей без суда (более года до вступления приговора в законную силу), нарушением гласности процесса (суд был объявлен открытым, но фактически на нем могли присутствовать только родственники и специально подобранная публика, которую пропускали в зал суда по специальным пропускам), нарушениями прав подсудимых на защиту.

Хотя такого рода судебные процессы были отнюдь не новым явлением для советского общества, данный суд вызвал неожиданно сильную реакцию внутри страны и за рубежом. Около тысячи человек подписали различные индивидуальные и коллективные петиции и письмо протеста.

Вероятными причинами такого непривычного в условиях советского режима массового открытого выступления были, во-первых, попытки нового руководства КПСС свести на нет даже те робкие шаги в сторону либерализации, породившие

* Юрию Галанскову не суждено было дожидаться окончания срока заключения. В 1972 году он умер в лагере от язвы желудка в результате недостаточного медицинского ухода.

много надежд, которые имели место при Хрущеве, во-вторых, совпавшее по времени начало „чехословацкой весны“, в которой многие увидели прообраз возможных в будущем перемен в Советском Союзе, и студенческие выступления в 1968 году в Польше, в-третьих, преемственность процесса четырех от дела писателей Синявского и Даниэля, которое уже успело вызвать массовую отрицательную реакцию интеллигенции на возрождение сталинских методов подавления свободомыслия.

Хотя письма и петиции были лояльны, опирались на советское законодательство, в частности, многие из них содержали требование подлинно открытого суда, практически ни одно из них не получило ответа.

Тексты с записями самого процесса, письма и петиции начали обращаться в самиздате, попадать за границу, публиковаться в западной прессе и возвращаться на родину в виде книг или передач западных радиостанций.

Не замедлила проявиться и реакция властей, которые надеялись отдельными репрессиями подавить движение, полагаясь на привычную запуганность населения. Режим еще раз рассчитывал собрать урожай со страха, посеянного десятилетиями массового террора, однако на сей раз механизм сработал лишь отчасти.

Против „подписантов” * началась кампания в печати и по месту их службы, где от них требовали покаяния и отказа от своих подписей. Ряд подписавшихся были уволены с работы. Однако репрессии не ограничились увольнениями, наиболее активных участников кампании протеста вызывали в КГБ и в прокуратуру, где они подвергались шантажу и угрозам. Математика А. Есенина-Вольпина и поэтессу Н. Горбаневскую насильственно поместили в психиатрические больницы. „Подписанты” подвергались унижительным „проработкам” на собраниях, „общественному осуждению”, недвусмысленным угрозам. Однако „покаялись” лишь единицы. Более того, движение протестов прекратить не удалось, оно стало постоянным явлением, которое продолжается и по сей день.

* „Подписант” – один из появившихся в 60-х годах шуточных неологизмов, обозначавший совсем нешуточное при советском режиме явление – советского гражданина, подписавшего осуждение беззакония власти.

Но 1968 год остается временем наивысшего подъема движения за права человека в СССР. Тогда же сложилась и форма движения — обоснованное, как правило, сдержанное в выражениях и непременно гласное письмо или документ. Поскольку советская пресса этих материалов не публиковала, то под „гласностью” понимается распространение в самиздате и публикация в зарубежной печати.

Каждый частный случай преследования по политическим мотивам стал восприниматься как свидетельство укоренившегося неуважения государства к человеку, его правам. Со временем определился основной круг проблем, ставших объектом пристального внимания со стороны движения за права человека. В него вошли:

- положение и нормы содержания политзаключенных в лагерях, тюрьмах и психиатрических больницах;

- движение народов СССР за свободную национальную, культурную и религиозную жизнь;

- борьба народов, насильственно переселенных со своих земель в сталинские времена, за возвращение на родину;

- возможность свободного выбора местожительства внутри страны;

- проблема выезда из страны, в частности, движение евреев за выезд в Израиль;

- притеснение православной церкви и преследования различных религиозных меньшинств, свобода вероисповедания;

- проблема цензуры печати и преследования рукописной неподцензурной литературы — ее авторов и распространителей, преследование независимой культуры как таковой;

- различные социально-экономические проблемы.

Эти и многие другие наболевшие вопросы, годами безуспешно стучавшиеся в официальные советские инстанции и печать, теперь вылились в самиздат. Термин „самиздат” появился в начале 60-х годов. Вначале в самиздате преобладали художественные произведения, не нашедшие себе места в подцензурной печати, но со временем все больше стало появляться публицистических работ, мемуаров, а к концу 60-х годов хлынул поток писем протеста, записей судебных процессов, многочисленных документов, свидетельствующих о много-

стороннем нарушении прав человека в нашей стране.

Число самиздатских публикаций росло, некоторые документы, произведения и имена приобретали широкую известность внутри страны и за рубежом; другие — привлекали внимание на некоторое время и забывались. Отбор самиздата не всегда соответствовал значению затрагиваемых в нем вопросов. Довольно часто он определялся степенью подготовленности и способности читателя в стране и за границей осмыслить значение ряда проблем к моменту упоминания о них в самиздате. Так долгое время не удавалось привлечь внимание мировой общественности к судьбе крымских татар, варварски выселенных из Крыма во время II мировой войны и долгие годы добивающихся права возвращения. Практически оставались неизвестными факты увольнения по политическим мотивам десятков людей с работы, что является наиболее массовым и эффективным способом давления на человека в стране, в которой единственным работодателем является государство. Появлялось все больше сведений о политических лагерях, где годами в полной безвестности сидели люди, осужденные за свои убеждения. Ко всему этому и многим другим фактам необходимо было привлечь внимание общественности.

Тогда и появилась идея издания бюллетеня, который бы смог отмечать по возможности все так или иначе становящиеся известными случаи нарушения прав человека в СССР и появление наиболее значительных произведений в самиздате. Воплощением этой идеи стала „Хроника текущих событий”, первый выпуск которой появился в самиздате 30 апреля 1968 года.

Постепенно „Хроника” стала важным общественным фактором, она была единственным регулярно выходящим информационным бюллетенем, который широко читался в самиздате, ее начали переиздавать за рубежом, на нее начали ссылаться, как на наиболее достоверный источник информации. Факты, сообщаемые „Хроникой” с помощью самиздата и зарубежных радиостанций на русском языке, доходили до многих людей во всех концах страны. „Инакомыслящие” во всех концах страны узнавали, что они не одиноки, узнавали о существовании друг друга, переставали считать себя „вырод-

ками и отщепенцами” из-за того, что они мыслят и поступают иначе, чем окружающие.

Кроме того, когда преследования за слово становились известны за пределами страны, то те западные деятели, которым дороги те же ценности — свободомыслия и прав человека — начинали выступать в защиту независимо мыслящих в Советском Союзе, беспокоиться о проблеме прав человека в нашей стране, о жертвах преследований.

Несмотря на пропагандистскую завесу, правительство СССР весьма чувствительно к мнению „заграницы”, не говоря уже о том, что в наше время увеличиваются международные контакты и все труднее становится избегать возникновения неприятных разговоров о политических преследованиях и нарушении прав человека во время встреч с представителями всего мира.

* * *

Такова в самых общих чертах история возникновения и сущность того явления, которое мы называем здесь движением за права человека в Советском Союзе.

Скептический наблюдатель, вероятно, скажет, что, хотя движение и составляют мужественные и честные люди, успехи его слишком незначительны, а жертвы велики. Что кроме гуманистических лозунгов движение не имеет никакой политической и экономической программы, могущей привлечь широкие слои населения, которые со своей стороны вряд ли отзовутся на абстрактное для них требование уважения прав человека. Что участники его слишком малочисленны, шаги слишком медленны, режим, который это движение стремится подавить, слишком могуч и бесчеловечен и не склонен прислушиваться к нравоучениям.

Но на само движение стоит смотреть в контексте тех условий, в которых оно возникло. Вспомним лишь, что перенесла Россия за полстолетия: революцию и гражданскую войну, многолетний террор эпохи Сталина, коллективизацию и Вторую мировую войну, унесшие десятки миллионов жизней, причем жизней лучших людей, наиболее блестящих представителей всех групп населения. Вспомним, какое деморали-

зующее влияние на весь народ оказали послереволюционный и сталинский террор, когда доносы были бытовым явлением, когда Павлик Морозов, пионер 30-х годов, донесший властям на своего отца, „классового врага”, был героем для многих поколений советских школьников. Люди „не узнавали” на улице жену арестованного друга. Газеты печатали письма детей, отрекающихся от отцов, письма жен, отрекающихся от мужей. Жалость к родственникам уже поверженного врага считалась преступлением, когда, говоря словами поэта А. Галича:

„Били морду за милосердие,
Рвали глотку за доброту”,

когда разврат насилия, страха и предательства отравил душу всего народа*, и уже казалось, что эта порча души необратима, когда достоинство человека было втоптанно в землю.

Естественно, что первым интуитивным шагом движения было восстановление отнятого человеческого достоинства, возрождение фундаментальных человеческих ценностей „милосердия и доброты”, сострадания и жалости. После ареста Александра Гинзбурга его друзья чуть не каждый день приходили к его матери передать деньги, узнать новости. Ее дом стал своего рода клубом сочувствия, соединявшим единомышленников вопреки страху перед КГБ. Возникла традиция посещать большими группами квартиры знакомых, у которых производились обыски, собирать деньги политическим заключенным и их семьям. Все эти „мелочи” ощутимо меняли моральный климат общества, возрождали почти утерянную традицию русской интеллигенции, сострадательности русской литературы.

Ощутимо стало расширяться поле интереса и сочувствия

* Не все были павликами морозовыми и в те времена. Всегда были люди, которые с риском для себя помогали своим арестованным друзьям, их родственникам, а то и пытались выступить в защиту репрессированного. Писатель Лев Копелев был арестован в 1945 году и обвинен в антисоветской пропаганде. Нашлось около 30 человек, подписавших письменное свидетельство о его невиновности, причем некоторые из них подверглись за это преследованиям. Человеческая порядочность, милосердие не умирали даже в самые страшные годы.

к „униженным и оскорбленным” жертвам режима. Письма политзаключенного из лагеря к его родным становились общественным явлением. Возвращался традиционный для русской интеллигенции ореол героизма вокруг политических заключенных, которые в течение десятилетий считались политическими прокаженными. Люди решались писать письма незнакомому человеку за колючей проволокой, помогать его семье, интересоваться политическими процессами в других частях страны, в других республиках.

Русская советская интеллигенция вдруг поняла, что можно и должно стыдиться и протестовать, когда ее страна вытаптывает свободу маленького соседа — Чехословакии, подавляет самобытность Украины, подвергает геноциду крымских татар, выкорчевывает религию литовских католиков.

В России родилось свободное общественное мнение, которое каждый новый политический процесс стало считать своим кровным делом, выступать в защиту каждого политического заключенного, независимо от национальности, вероисповедания, причины ареста.

Но это было не только возрождением доброты и милосердия, это было рождением правосознания в советском обществе. Впервые интеллигенция поняла, что советская конституция, несмотря на все ее несовершенства, — это закон, который в букве своей охраняет их достоинство граждан, который на бумаге стоит на защите прав человека. Движение за права человека, обратив внимание как советской бюрократии, так и общества и всего мира на несоответствие между поведением режима и конституцией — советским законодательством, а также на ряд международных конвенций и пактов о правах человека, которые Советский Союз ратифицировал, думая не столько об их исполнении, сколько о своем международном престиже, открыло мощный рычаг общественного преобразования — право.

Мы считаем, что если России суждено стать справедливым обществом, то только на этом пути.

Здесь коренится главное различие между движением за права человека в Советском Союзе и освободительными движениями в России царской. Движение за права человека по-

ставило в центр своего внимания *защиту человека от произвола государства*, а не вопросы государственного и социального устройства. Посвятив себя этой практической задаче, возрождающаяся интеллигенция изживает порок старой интеллигенции — слепую веру в возможность внешними средствами создать на земле абсолютно справедливую жизнь, преодолевает духовную болезнь утопизма.

Благодетельный скептицизм в сочетании с верой в непреходящие духовные ценности выстрадан десятилетиями массового надругательства над личностью от имени как раз тех идеалов, за которые боролась интеллигенция старая.

Поэт Александр Галич выразил эту новую мудрость словами:

...Земля — зола, и вода — смола,
И некуда вроде податься,
Неисповедимы дороги зла,
Но не надо, люди, бояться!
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: „Я знаю, как надо!”
Кто скажет: „Всем, кто пойдет за мной,
Рай на земле — награда”.
.....
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он *не знает* — как надо!

* * *

Никто не может быть уверен в успехе, но никто и не знает будущего и не может предсказать результаты какой-либо деятельности. Сегодня режим в Советском Союзе мягче, чем вчера, завтра он может стать жестче и уничтожить все наши пусть и небольшие достижения в области прав человека.

Но надо помнить, что царская Россия пала оттого, что не смогла разрешить реальных проблем, стоявших перед страной, и лишь пыталась запретить их свободное обсуждение. Все эти проблемы унаследовала Россия советская, приобретя кучу новых. Неважно, на каком идеологическом основании бу-

дет стоять будущая Россия — важно то, что без уважения к правам человека она столкнется с теми же и новыми обострившимися проблемами, и снова не будет иметь механизма, способного их разрешить.

Мы верим, что Россия сойдет с тоталитарного круга, но чтобы претворить эту веру в жизнь, необходима работа по созданию демократической традиции.

Тоталитаризм как болезнь может поразить любую страну с самыми прочными традициями, так как скрытые или явные тоталитарные тенденции есть в любом обществе и серьезный внутренний или внешний кризис может дать им возможность восторжествовать. Но страна, способная вспомнить о демократической традиции, выздоровеет скорее и прочнее, как выздоровела от фашизма Западная Германия, как вспомнила о своих прежних демократических институтах Чехословакия 1968 года.

Свобода, основанная на праве, — поздний и ценный плод цивилизации, и как все по-настоящему ценное, хрупка и уязвима. Поэтому разрушить и утратить свободу много легче, чем создать ее. Легко уничтожить бесценное произведение искусства, достаточно перестать беречь его — ветры, тепло и сырость сделают свое дело. То же и со свободой, ее надо суметь вырастить и суметь сохранить. Но для этого свободу необходимо любить.

Нью-Йорк, 1975 год

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

„Душа интеллигенции — ключ к грядущим судьбам русской государственности и общественности”.

С.Н. Булгаков. „Вехи”.

Русская интеллигенция

В наше время сборник „Вехи” переживает вторую молодость. Вместе с кризисом коммунистической идеологии, ростом национально-почвеннических настроений, вместе с потрясениями правового движения и обращением части интеллигенции к православию вся русская атеистическая и революционная интеллигенция превращается в отрицательного исторического персонажа.

В „Вехах” хотят видеть ее осуждение и отходную ее героям. Однако не только потому этот сборник стал и остается по сей день вехой духовного пути России, что был он великим обличением ее интеллигенции, но и потому, что сам объект обличения был велик. Трудно назвать другую силу, которая играла бы столь же значительную духовную и политическую роль в общественной жизни России второй половины 19-го и начала 20-го века, как интеллигенция. Много написано о ней ее агиографами и обвинителями. Г.П. Федотов определил ее как „группу, движение и традицию, объединяемую идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.” Н.А. Бердяев писал, что русская интеллигенция родилась со словами Радищева: „Я глянул окрест себя, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала”.

Из этой уязвленности родилась русская литература, назван-

ная самой сострадательной из всех литератур, из ее идейности, за которую платили каторгой и ссылкой, вышли начала, отсутствовавшие в политической жизни России, на выработку которых в Европе понадобились века: судебная реформа, конституция, парламент, свободы. Но в силу ее беспочвенности историческое „чудо” достижений русского либерализма и демократии, порожденное духом интеллигенции, оказалось хрупким и недолговечным.

Русскую интеллигенцию часто сравнивали с монашеским орденом, сделавшим борьбу с самодержавием своей почти религиозной целью. „Сила ордена в том, что души его рыцарей горят огнем целостной веры, озарены светом целостного учения. Орденский человек жаждет понять и обнять весь мир и каждый его освящен всем его миропониманием. Политическая борьба — только один из видов жизненной борьбы за преобразование мира. Политический идеал — только часть новой преобразенной жизни. Вот почему так неотразимо его влияние на живые души людей. Вот почему так сокрушительна борьба с империей. Все его миропонимание противоположно имперскому. Вся его вера — иного духа. И весь он противостоит империи. И империя это безошибочно чувствует..., она знает, что, как всякий государственный строй, так и она стоит на душах людей и что, когда души уйдут, она падет. Вот почему так отчаянно она борется с орденом за людские души, так беспощадно преследует все орденские течения, какого бы направления они ни были: умеренные и крайние, политические и философские. Славянофилы-монархисты так же ненавистны ей, как либералы-западники, и непротивленец злу Лев Толстой так же страшен, как революционер Бакунин” (И. Бунаков-Фундаминский).

Этот атеистический орден проникнут христианским духом искупительного самопожертвования. Более двух тысяч народников расходятся по деревням с социалистической проповедью, бросая университеты, оставляя должности, раздавая имения. Народовольцы отказываются от помилования и с радостью первохристианских мучеников восходят на эшафот. За философским убожеством их мировоззрения стоит исповедническая кровь. Паскаль некогда говорил, что он верит только тем свидетелям, которые дали себя зарезать. Идеи ин-

теллигенции безумны, но вера ее умна, ибо за ней, как за всякой подлинной верой, стоит религиозная потребность СЛУЖЕНИЯ. Иначе не объяснить слезы, которые проливала молодежь, читая философски наивные „Исторические письма” Лаврова, призывающие к служению народу, которым можно искупить вековые страдания. Не философскую истину, а силу этического пафоса, вдохновляющего на борьбу с общественным злом, искала интеллигенция в произведениях своих кумиров. И. Аксаков передавал отзывы молодых людей в провинции о воздействии на них В. Белинского: „Мы Белинскому обязаны своим спасением... И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, ищите таковых в провинции между последователями Белинского.”

Но почему „философская истина” расходится с „интеллигентской правдой”, почему именно богоборческая вера влечет ее к религиозному делу служения, почему атеизм, а не христианство вдохновляет ее любовь? Диалектика идейного формирования интеллигенции сложна, и описанию ее посвящены десятки блестящих книг и статей, но главной причиной мне представляется то, что своим возникновением интеллигенция внесла полярность в доселе монистическую структуру российского общества. В отличие от западного противостояния Церкви и светской власти, представлявших два полюса, напряжение между которыми создавало интенсивную общественную и политическую жизнь, Россия унаследовала от Византии тип сакрального восточного царства со слабой расчлененностью духовной и светской власти. Царство, соединявшее в собственном самосознании и народном представлении начала двух властей, было не одним из полюсов, а центром, из которого исходили и к которому возвращались все линии общественной инициативы. Православие в своем социальном выражении все более превращалось в идеологические стропила империи, утверждавшие ее сакральную завершенность. Однородность этой пирамидальной структуры исключала всякое произвольное развитие, независимое от государственного самодержавия.

Петровская реформа наряду с законодательным подчине-

нием церкви государству вносит и идеологическую двойственность в сакральную целостность православного царства: отныне правительство соединяет в себе два противоречивых и враждующих начала — самодержавие византийских басилевсов и новоевропейское просвещение, закващенное на рационализме и гуманизме. Последние вносят в русскую жизнь западную образованность и европейский дух свободы и создают основу будущей интеллигенции или независимой от государства общественности, которая возникает в тот момент, когда консервативная традиция государственного монизма торжествует над прозападнической тенденцией к конституции, просвещению и раскрепощению. Когда в лице Екатерины русская царица окончательно торжествует над ученицей энциклопедистов, в лице Н. Новикова и А. Радищева рождается интеллигенция, когда в лице Александра Первого неограниченный самодержец побеждает бывшего ученика Лагарпа, она принимает первое крещение в декабристах. В конфликте европейского начала свободы с восточным деспотизмом, личной этики с политическим прагматизмом, просвещения с обскурантизмом рождается интеллигенция.

Пока само правительство не сделало выбора между этими борющимися в нем началами, культурная элита, его детище, была с ним заодно, но сделав выбор и изменив общим идеалам, оно наживает себе врага. Отныне определяющей чертой интеллигенции становится отчуждение от государства всякий раз через личный моральный конфликт, в результате которого возникает нравственное неприятие его политики.

Но как только пути их расходятся, интеллигентское сознание само собой начинает складываться в противостояние господствующей идеологии и определяться необходимостью этой антитезы. При всемогущей власти и несправедливости оппозиции в России, на мир интеллигенции неизбежно должна была лечь печать конспиративности. От чтений парижских газет в масонских ложах, от философских ночей Любомудров и споров славянофилов с западниками до заговорщических квартир народовольцев и социал-демократов тянется катакомбная традиция, творящая новый идейный и нравственный мир интеллигенции, несправедливый, но могущественный. При всем понимании политической бесполезности тайных обществ, она не могла

обойтись без них в „такой стране, как Россия, где нельзя свободно и без опасения высказывать свои мнения без того, чтобы не заключиться в тесный кружок хорошо подобранных лиц” (Н. Тургенев). Не менее интеллигенции понимало это и правительство, издававшее распоряжения, подобные циркуляру 1848 года, предписывавшему следить, чтобы студенты не ходили друг к другу в гости. Поэтому естественно, что интеллигенция, сплоченная подпольным существованием, сильно разросшись во вторую половину века, уже представляла собой общество в обществе и государство в государстве, официально не признаваемую оппозицию, самым фактом своей гонимости приобретающую авторитет.

Рекрутируя инакомыслящих из всех сословий, она оказалась в закрепощенной социально и бюрократически империи, в которой даже дворянство было „тестом, из которого государство пекло себе чиновника” (Кошелев), единственным островком политической вольности, подобно тому, как старообрядчество и сектантство служили оплотом вольности религиозной.

Отстаивая свою идейную и политическую свободу, интеллигенция рвет все связи с империей, в том числе и религиозные. Разойдясь с государством, она не хочет делить с ним даже веры. Она могла зачислять в свои ряды христиан: Киреевского и Достоевского, Чаадаева и Печерина, своих религиозных наставников Л. Толстого и Вл. Соловьева, но войти в Церковь не желала, ибо в ее сознании православие составляло одно целое с империей.

Сознавая себя народной совестью, она все далее отходила от Церкви, от лица которой государство приписывало Христу афоризм, что „совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬСТВО”*, в которой, к примеру, священнику, преподающему Закон Божий кадетам, было велено внушать, что „величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям” и выставять Его образцом подчи-

* В книге „Наставление для преподавателей в военно-учебных заведениях”, (1848 г.), цит. по Иванову-Разумнику.

нения и дисциплины.*

И подобно тому, как официальная сторона общественной жизни была окрашена в тона государственной религии, клан интеллигенции приобретал характер не только политической оппозиции, но и своеобразного духовного полюса — религиозной общины или армии общественного спасения. В недрах его складывалось особое мировоззрение, синкретически соединявшее революционно-социалистические идеи и научные представления века с элементами христианской традиции. Народники писали на крестах лозунг „свобода, равенство, братство” и почитали Чернышевского наряду с апостолом Павлом, петрашевцы говорили о „новом, очищенном христианстве”, в воздухе носились идеи христианского социализма (но без веры в Бога!!) или этического христианства, в котором бы мораль заменила мистику.**

Хотя русская интеллигентская мысль питалась современными европейскими идеями, она делала из них оригинальное употребление, поскольку строила из их рационального материала религиозное мировоззрение. Они питали не столько спекулятивные доводы рассудка, сколько религиозные потребности души, рвущиеся к общественной деятельности. Еще родоначальник радикализма Пестель говорил: „Мое СЕРДЦЕ склоняется к материализму, но мой РАЗУМ этому противится,” — и собирался после завершения в России социально-политической революции „взяться за веру”, удалиться в Киево-Печерскую лавру и сделаться схимником.

Интеллигентское сознание, стоящее исключительно под знаком „общественности”, можно понять только как антитезу крайностям православия. Ее фанатическая вера во всепоспешительность социализма была обратной стороной социально-го безразличия русской Церкви. Устремленности к „горнему

* Письмо Грановского Герцену. Цит. по Иванову-Разумнику.

** Народник О.В. Аптекман пишет в своих воспоминаниях: „Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. Чего она искала в Евангелии?... Какие струны ее души были так задеты „благою вестью”? Крест и фригийская шапка!... Но это было, было! ... У всех почти находим Евангелие.” „Воспоминания”, Птр. Колос, 1924.

миру”, сочетавшейся с земной способностью к приспособляемости, интеллигенция со страстностью поповичей, терявших веру, но сохраняющих религиозную психологию, противопоставила совершенное человеческое общество. Апокалиптичность „горнего Иерусалима” уступила место мессианскому упованию „царствия Божия на земле”. Умозрительная ИСТИНА право-славия (умения правильно славить Бога) уступила место СПРАВЕДЛИВОСТИ, как практической праведности. (В этом смысле показательно толкование Михайловским — идеологом народничества — слова ПРАВДА.) Православному монашеству, унаследовавшему традицию византийского аскетизма, бегущего от цивилизации, интеллигенция противопоставила религию социального служения, секуляризованный образ западного орденового монашества, цивилизующего варварский мир. Подвижник от революции и социализма (Рахметов) пришел на смену христианскому подвижнику.

В многоликости своей просветительной деятельности: от бродячих апостолов социализма и атеизма — этих русских „миноритов” — до земских врачей, статистиков, учителей, адвокатов, бесплатно учащихся, лечащих, защищающих крестьянство, — этих „кларисс, доминиканцев и иезуитов” — до собственных „догматических” журналов и „конфессиональных” передвижных выставок, она стихийно воспроизвела в России разветвленный организм атеистического католицизма — церкви воинствующей. Чаадаев грезил о католическом динамизме, который мог бы преобразить Россию, но как бы он был поражен, увидев, сколь парадоксальным образом осуществляются его мечты. В пример достаточно привести хотя бы революционный катехизис Бакунина, представлявший собой атеистический слепок с конституции „Роты Иисуса”, в которой Бог заменен „революцией”.

Будучи не столько отрицанием православия, сколько расплатой за его односторонность, эта интеллигентская антитеза утверждала и положительные начала, коренящиеся в христианской вести, но забытые в церковной практике. Если эстетизму православия противостоит утилитаризм интеллигентского художественного вкуса, то слабость этического начала первого компенсируется морализмом второй. Иначе нельзя объяснить влияния на интеллигенцию Л. Толстого, открывающе-

го христианскому обществу Нагорную проповедь и предлагающего свое „этическое” евангелие. Русское общество испытывало такой нравственный голод, что этический идеализм интеллигенции не нуждался в метафизическом обосновании. Это философски вышучивал В. Соловьев, передразнивая дарвинистов: „Человек произошел от обезьяны, будем же любить человека”. Но не в первой, а во второй половине фразы заключался пафос интеллигентского сознания. Его острый антропоцентризм был своего рода ответом на монофизитские тона православного теоцентризма. Отсюда и наивная антропология социалистов, считающая человеческую природу благой, а человека — мерой всех вещей, и острый, если не философский, то психологический, персонализм интеллигенции: Герцен писал о необходимости гарантий личных прав в социалистическом обществе, Чернышевский — о личном творчестве, Михайловский предупреждал о дегуманизаторской опасности сверхспециализации будущего.

Истоки этого гуманизма помогает найти неканонический образ Христа, который все чаще появляется к концу века в произведениях художников и поэтов (см. А. Иванова, Крамского, Поленова, Ге, Некрасова и др.). В них человеческая природа Спасителя заслоняет его божественность. Это Иисус-сострадатель, придавленный всей тяжестью своей вселенской освободительной миссии, Иисус — герой, которого исповедуют народовольцы Михайлов и Желябов.

Это не традиционное для православия изображение Христа, и частое витание среди интеллигенции образа первохристиан может послужить ключом к ее атеистической религиозности. Все оттенки интеллигентского сознания распределяются вокруг трех его основных цветов — социального динамизма и служения, этики и гуманизма — отсутствующих в православном спектре.

И хотя в целом интеллигенция и Церковь смотрят друг на друга в ослеплении, не признавая друг в друге родства, у некоторых с обеих сторон спадает с глаз пелена неузнавания. В лице Веры Фигнер благословляет интеллигенцию митрополит Петербургский Анатолий Вадковский, к Церкви приходит бывший петрашевец Достоевский, атеист и материалист в юные годы В. Соловьев, народовольцы, марксисты. Без этого „уз-

навания” не могли бы и возникнуть „Вехи”, поставленные самой интеллигенцией на своем духовном пути.

Интеллигенция и большевизм

Слова Гершензона, что власть охраняет своими штыками интеллигенцию от народного гнева, подтвердились. Интеллигенция, отождествлявшая свои гуманистические и демократические идеалы с волей народа, обманулась, и именно этой принципиальной чуждостью интеллигентских идеалов стихии народного пробуждения можно объяснить ее неспособность удержать февральские республиканские завоевания и переворот Октября.

Если интеллигенция вступила в XX век из гуманистического XIX с его идеалом элитарного парламентаризма, с его теоретическим социальным утопизмом и либерализмом, то народ шагнул в него из века XVII, из крепостного права, крестьянского быта и православия. Пала империя, а вместе с ней выпал и клин европеизации, разделявший высшие и низшие классы России. Веками неподвижные пласты народной жизни взорвались, перевернулись. Потоки крестьянского моря, приведенные в движение войной и ею озлобленные, захлестнули и смели тонкую пленку культуры Петербургского периода и порожденную ею интеллигенцию. Она победила, наконец, царизм, но встала на очереди следующей жертвой.

Очень часто в Октябре винят интеллигенцию и представляют большевизм ее естественным порождением. Однако это не верно. Родившись задолго до революции в соединении крайних выводов интеллигентского нигилизма и конспиративной тактики, он стал исключительно орудием заговорщического ниспровержения строя, откровенно обнажая свою тоталитарную природу. Революционная техника, соединявшая его с народниками, марксистская фразеология и общее происхождение, соединявшее с социал-демократами, его собственная апелляция к интеллигентским традициям — все это помогло замаскировать непроходимую пропасть между ним и станом всех остальных левых сил. В отличие от идеализма и примата этики над политическим прагматизмом у интеллигенции (даже терроризм эсеров, как бы отрицательно к нему ни отно-

ситься, был проявлением политического идеализма и жертвенности), ленинская партия состояла из профессионалов от революции, лишенных всякого прекраснотворения и не гнушавшихся любыми средствами для захвата власти. Как порождение подполья, он воспринял в извращенном виде худшие черты государственного авторитаризма и был изначально враждебен либерально-этической позиции интеллигенции. Достаточно вспомнить, что и самые черносотенные проявления правительственного деспотизма не вызывали такого негодования у Ленина, как единственная в России демократическая и гуманистическая сила — конституционные демократы, в собственном смысле слова партия интеллигенции.

Но наличие общего врага в лице самодержавия и воспоминание о совместном сидении в тюрьмах, ссылках и эмиграциях, общее происхождение от Чернышевского и Маркса и непреодолимый идеализм души мешали интеллигенции вплоть до Октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания разглядеть истинное лицо большевизма.

Правда, окончательная трансформация произошла с большевизмом уже после прихода его к власти. Уже отмечалось, что до этого Ленин и его фракция — всего лишь носитель идейного знамени, одного из многих в общей антиправительственной демонстрации. После — единственный и самодержавный правитель проснувшегося демоса, выразитель его стихийной воли, рулевой его вырвавшейся наружу вековой страсти к мещинству. „В самом символе „Ильич” уже было что-то от мифа, фольклора, от безликого „мы”, таился зародыш будущей мифологии. Нервная нить от вождя тянется к массам, и сам он пахнет массами и подобно им ненавидит элиту, смевшую отождествлять свои идеалы с их волей.”*

Противостояние Февраля и Октября — это противостояние двух различных демократий: демократии как моральной цели, как порождения элитарного гуманизма и либерализма XIX века и демократии как темной, стихийной воли проснувшегося народа. „Октябрь казался срывом революции, а он был ее *зенит*, выявление сути ее, как восстание простонародной сти-

* И. Херасков, „О кризисе демократии”. „Новый град”; № 10, стр. 79-91.

хии (и в отдельном человеке, и в коллективе) против всех физических и духовных „господ” и вместе *рождение* субъективной предпосылки демократии, демоса — вступившего на путь ответственной, самостоятельной жизни народа. Вождей у Октября не было, были — вожаки. Вопль „грабь награбленное”, а не схоластическая „диалектика” сделал Ленина народным вождем, а марксизм преобразовал в „ленинизм”.*

Октябрь *перевернул* Россию, усадив вчерашних подпольщиков в Смольный и Кремль и загнав правительство в подполье, максимально усилил и довел до крайней степени централизма ее авторитарное строение. Интеллигенция, как прирожденная оппозиция и единственно сознательный враг авторитаризма, была обречена. Но вершиной ее трагедии и дьявольской усмешкой было то, что большевизм послал ее на гильотину, на которой было написано „социализм и революция” — все то, что составляло смысл и содержание ее жизни, трудов и борьбы. Если белая армия могла поднять имперский флаг и православную хоругвь, то социалистическое и демократическое знамя интеллигенции было вырвано из ее рук. Узурпировав ее идеалы и лозунги, большевики лишили ее души и силы сопротивления. Кому в революционной свистопляске, в кровавом клубке красно-белого террора могла она доказать, что это не та „свобода”, не та „демократия”?

В лице большевизма взбунтовавшаяся воля народа, восставшие пласты народной жизни и психологии, казалось, отступившие навсегда перед европеизацией, одержали верх над интеллигентской демократией. Прежняя интеллигенция исчезла как целое. Часть ушла в белое движение, погибла в войне и заговорах или эмигрировала, часть, увидев некоторое подобие между просветительской деятельностью новой власти и своими прежними идеалами, согласилась на сотрудничество, часть затаилась на третьестепенных советских должностях. Ее славная история на этом кончается, растекаясь на бесчисленные ручейки невероятных по трагизму личных судеб, ждущих своих биографов. Но, исчезнув, как оппозиция, интеллигенция при-

* И. Херасков, „О кризисе демократии”. „Новый град”, № 10 стр. 79-91.

вила обществу свои идеалы, а вместе с ними и многие отрицательные черты, которые находили в ней авторы „Вех”. Однако это принадлежит уже следующей странице — истории советской интеллигенции.

Новый служилый класс

Г.П. Федотов писал, что большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции*, можно добавить, — и государственности. Европа и Америка знали социал-демократию, но там из марксизма возник не большевизм, а компартии, ибо у них идеология не соединилась с исторически сложившейся *государственностью*.

Восстановление государства из обломков империи при скудных ресурсах потребовало быстрой перестройки профессионалов-революционеров в практиков-государственников. Неспособных переключиться мечтателей ждало крушение. Известно, что несколько тысяч коммунистов кончили жизнь самоубийством после объявления НЭПа. Революционная романтика, поэзия „буржуйской крови”, пролетарская эсхатология на всех фронтах — от культуры до внешней политики — начала все очевиднее становиться препятствием для новой бюрократии, вышедшей из низов, не связанной с интеллигентской традицией и ограничивающейся реальным делом — строительством российской социалистической империи.

Ленин, соединявший в себе государственного мужа и революционного авантюриста и тем самым способный объединять партийцев новой и старой формации, сменился более примитивной и одноплановой фигурой Сталина, которому и принадлежит заслуга создания советской интеллигенции. Новый господствующий класс нуждался в собственной интеллектуальной элите. Общество, вставшее на путь форсированной индустриализации и перестройки всей экономической структуры, испытывало потребность в идеологической элементарности. Марксизм, которому и так ради революции были принесены в жертву многообразные плоды человеческого разума, должен был в

* „Трагедия интеллигенции”. „Новый град”, Н.- Й., 1952.

свою очередь превратиться из философии в идеологию. Если ранее его чела еще касались поцелуи муз, то после „Краткого курса истории ВКП(б)“ от него, по крайней мере для России, уже навсегда отлетело вдохновение.

Идеология в отличие от философии — феномен государственный, мыслителей замещают жрецы. Идеократическая структура для своего воспроизводства готовит армию идеологических чиновников, поскольку новый катехизис со своей догматикой требует новых адептов. Режим требует от интеллигенции унифицированного коммунистического вероучения и узкой специализации в одной из практических областей знания, преимущественно производственно-технического. Она отождествляется с бюрократическим аппаратом, превращаясь в новый служилый класс, что официально фиксируется в графе ее социальной принадлежности. Широта культуры, причастность общечеловеческим ценностям, свободомыслие — все, чем характеризовалась интеллигенция дореволюционная, отныне вырывается с корнем, и вся система образования строится так, чтобы исключить саму возможность появления этих качеств в будущем „пролетарии умственного труда“.

Как и в 18-м веке, государство становится единственным организатором культуры, но если тогда оно проводило в дворянство европейские научные и просветительские идеалы, то теперь оно становится всенародной фабрикой, кующей из остатков всех сословий унифицированный тип „советского человека“. Все подчинено одной задаче создания человеческих деталей для однородной индустриально-коллективизаторской машины, и гуманитарная интеллигенция, вся армия пропагандистов, учителей, писателей получает соответствующее своей функции прозвание „инженеров человеческих душ“. Сталин наградил всех советских людей именем винтиков социалистического государства. Миссия производить и шлифовать эти винтики выпала на долю советской интеллигенции.

Над большевистской революционной интеллигенцией неожиданно для нее самой уже заносился топор, который она сама опустила на голову русских образованных классов. Прimitивно-однородное общество не нуждалось ни в одной капле „интеллигентщины“, даже трансформированной в больше-

вистских головах. Это предчувствовал еще А. Блок, говоря: „Какое *право* имеем мы (мозг страны) нашим дрянным... недоверием оскорблять умный, спокойный и многознающий революционный народ... Я не удивлюсь, если *нас* перережут во имя *порядка*”.

Как взбунтовавшийся народ руками ленинской партии свергнул интеллигентскую демократию, а в ее лице власть чужеродной элитарной культуры, так усмиренный народ руками сталинской бюрократии стремился освободиться от остатков революционной „интеллигентщины” и всего того, в чем еще звучали отголоски вольного интеллигентского духа. Извергая из себя непонятные и раздражающие элементы чуждой европеизированной культуры, общество приобрело структурные очертания Московского царства — ортодоксальной идеократии, в которой прежнее христианское сознание заменилось новым — примитивно-материалистическим, более способствующим государственно-имперским целям и атеистическому духу времени. Враждебность интеллигентской и народной психологий проявилась еще раз в терроре тридцатых и сороковых годов, и не случайно жертвы партийных чисток получают название „врагов народа”. Перевернутая революцией Россия строила свое народное государство, однородной структуре которого враждебны любые иноприродные элементы. Это давало возможность диктатуре говорить от лица всего народа: „Поймать врагов рабочего класса и крестьянства нельзя, действуя только сверху, только одними глазами коммунистов... , — врагов надо ловить и снизу, и сверху, ибо коммунисты всего увидеть не могут. Словить и раздавить врагов Советов, врагов рабочих и крестьян можно только развернув демократию вовсю, как этого требует товарищ Сталин, как этого требует сталинская конституция”.*

Тоталитарная власть, вздернувшая на дыбу всю страну, сделавшая существование народа невыносимым, глубоко *антинародная*, в то же время по своему существу и происхождению *общенародна*. В этом ее парадокс — власти самого демократического из всех обществ, в котором полностью отсутствуют все демократические начала.

* „Известия” от 8 июля 1937 года.

Так же двойственна советская интеллигенция. В отличие от старой русской интеллигенции, жившей народом, полагавшей души свои за народ и тем не менее остававшейся народу чужой и ненавистной, она именно народна в прямом генетическом смысле слова, психологически ничем не отличается от него, сохраняя в себе все бессознательные пласты народной души, но оформляя их в тех рационализированных представлениях, которые подготовила интеллигентская просветительская философия и коммунистическая идеология. Но выйдя из низов, служилый класс советской интеллигенции теряет с ними нравственную связь, превращаясь в средостение между ними и властью. С ее помощью режим умело эксплуатирует различные струны народной души. Далеко не одно насилие строило новое общество: за идеей колхозов стоит бессознательно привычное для крестьянства многовековое существование в общине (не о ней ли Герцен говорил, как о предпосылке будущего социализма?), за псевдо-демократией — крепостничество, отсутствие конституции и правовых традиций, за обоготворением техники — трансформированный магизм и суеверия крестьянского православия, за верой во всемирную освободительную миссию коммунизма — сохраненная в народной психологии раскольников вера в Москву — Третий Рим, столицу всего православного мира. Как гладко на эту психологию могли, к примеру, ложиться такие фразы В. Маяковского, „самого талантливого поэта эпохи”: „Начинается земля, как известно, от Кремля. За морем, за сушею коммунистов слушают” (Окна Роста).

Народ понимает это двойственное, холуйски-привилегированное положение интеллигенции, испытывая к своему более удачливому собрату — советскому чиновнику, сложное чувство, презрение и иронию, смешанные с уважением и завистью.

Но двусмысленное положение интеллигенции отражает всего лишь двойственность самой социальной системы, сочетавшей революционность и тоталитарную государственность, социалистическое лицо, обращенное к внешнему миру, и лютую эксплуатацию госкапитализма, граничащую только с рабоче-владельческими обществами, поддержку освободительных движений за рубежом и жесточайшее подавление малейшего

протеста в собственной стране и множество других парадоксов, происшедших от слияния в одну природу двух враждебных, но подобных ипостасей русской истории: деспотической государственности, раздавливающей личность с ее свободой, и безудержной революционности, сметающей на своем пути человека и сотворенную им культуру.

Советская интеллигенция, пребывая в полной зависимости от идеологии и состоя на полном содержании у государства, в главном остается полной противоположностью русской интеллигенции — единственного острова свободы и гуманизма между сциллой и харибдой деспотизма и революции. В отличие от прежней оппозиционной интеллигенции, внесшей атмосферу духовной свободы, советская интеллигенция утверждает идеократическое государство, препятствуя малейшему возникновению инакомыслия и свободолюбия, верой и правдой служит тоталитарному режиму.

Рождение новой интеллигенции

Подобно тому, как в 18-м веке интеллигенция отходит от правительства, ее породившего, так и в наше время мы являемся свидетелями начинающегося отчуждения части советской интеллигенции от режима, который ее создал.

Начало этого процесса было положено распадом целостного коммунистического сознания, который прошел через две решающие стадии. Толчок ему дал раскол в верхах, начавший десталинизацию и опиравшийся на ту часть партии, которая искренно считала сталинизм некоторым отступлением от прямого пути советского социализма. Реабилитация репрессированных старых коммунистов, разоблачение преступлений „культа личности” и частичный возврат к пореволюционным вольностям начали новый период — хрущевского романтического неоленинизма. Эта „схизма левых” имела огромные непредвиденные последствия. Обличив сталинские преступления, в которых в той или иной степени было замешано подавляющее число оставшегося на свободе бюрократического аппарата и советской интеллигенции, она провела демаркационную линию между „сталинистами” и „марксистами-ле-

нинцами” и расколола идеологическую и нравственную цельность коммунистического сознания.

При Сталине в умах господствовало сознание абсолютного первенства общего над индивидуальным и социального над личным. Интеллигенция, формируемая в духе религиозного служения коммунистической идее из народа, не имевшего за собой традиции персоналистического самосознания, воспринимала себя мозговыми клеточками единого общественного организма. Будучи служебным „думающим” органом коллективного социалистического человека с единой волей и единым мозгом, олицетворенными в личности вождя, она сознательно и бессознательно оправдывала свое личное существование с его жертвами и преступлениями принадлежностью цельной социальной системе. Личная совесть уступила место общественной совести, выражаемой в партийных суждениях, восходящих к разуму и сердцу вождя. Вера в его непогрешимость была необходимым условием цельности мировоззрения.

Хрущевская демифологизация „культа личности” начала стремительную релятивизацию советского сознания. Там, где ранее виделись абсолютное совершенство создаваемого общественного храма и непогрешимая фигура его первосвященника, открылся произвол тирана, окруженного кликой беспринципных политиканов, нравственных монстров, поправших все революционные, партийные и, наконец, человеческие законы. Никакая религия не способна пережить ниспровержение своих кумиров. Стоило один раз назвать „святость” злодеянием, чтобы рухнула вся „нравственная система”. За картиной разоблаченных преступлений одного каждый увидел, как в маленьком отражении, картину возможного разоблачения собственных преступлений. Вера в справедливость своих поступков и боязнь возмездия за них несовместимы. Но хотя духу русского коммунизма был нанесен удар, от которого ему уже не суждено будет оправиться, партийная политика, с одной стороны свалившая преступления на „культ личности”, а с другой нарисовавшая перспективу свободного и творческого коммунизма, весьма способствовала возрождению среди пострадавшей части интеллигенции и среди нового ее поколения иллюзии советского социализма „с человеческим лицом”.

Коммунистическая вера была снижена, но сохранена ценою перенесения ее трансцендентного предмета — счастья будущих поколений — в сегодняшний день. Коммунизм вместе с материально-культурным благосостоянием был обещан живущему поколению. Великий идеал эсхатологического будущего царствия, требовавший общенародной жертвы, раздробился и выразился во множестве маленьких идеальчиков личного благополучия, требовавших изворотливости в системе социалистического хозяйства.

Романтика целины и космоса, повторяющая в новом контексте старинные методы отвлечения русской души от отчаяния и бунта в пространство, продлила на несколько лет пламенение веры. Но детронизация нового идеолога с намеком на опасность „нового культа” и быстрое свертывание разговоров о стукавшемся в двери коммунизме было вторым актом ее разложения.

Из-под коммунистической маски все более явно начал выступать облик традиционной российской авторитарной государственности и империализма, в свое время умело замаскированный Сталиным под „социалистический лагерь”. Характерно, что возникновение неокommунистической иллюзии совпало с 1956 годом в Венгрии, а ее конец ознаменован 1968 годом в Чехословакии. Подобно тому, как чешский неокommунистический утопизм разбился о твердыню советского империализма, либеральный утопизм интеллигенции разбился о советскую государственность.

Другой стороной деидеологизации был начавшийся в хрущевскую эпоху распад советоцентрического видения мира. Выросшая в условиях закрытого общества советская интеллигенция могла мыслить весь мир в категориях только этого общества. Как иудей смотрел на язычников, эллин на варваров, средневековый христианин на мусульман, так советский человек смотрит на обитателей „капиталистического лагеря” — несчастных порождений ущербной, недочеловеческой расы. Поэтому он мог оценивать свою систему с ее „недостатками” только исходя из представлений этой же системы. Применять к ней иные, общечеловеческие критерии, взятые из того „до-социалистического” мира, означает для него прикладывать

к людскому сообществу мерки, заимствованные из волчьей стаи. Характерно, что этой плененностью догмой и неспособностью выйти за ее пределы объяснялась моральная беспомощность всех партийных оппозиций и фракций перед „генеральной линией”.

Встреча с Западом на своей собственной территории (от молодежного фестиваля до международных выставок) и выход в большой „свет” начали постепенно открывать советской интеллигенции глаза на единство человеческой природы, ненарушимое классовыми различиями.

Очевидно, что кризис коммунистической идеи должен был сказаться в первую очередь на служителях идеократии. Быть добровольно и безропотно идеологическим винтиком государственного механизма можно только веруя в надличный смысл твоего служения общему делу. С потерей веры все труднее становится подчинить частные интересы общим, личность все болезненнее начинает ощущать на себе безграничные притязания социума. Для неверующей души обязательная догма становится невыносимой тяжестью, так же как и власть коллектива над индивидом, переставшим сознавать свое духовное единство с коммунистической общиной.

Эти три изменения: распад коммунистической веры, замена единого общественного идеала мелкобуржуазным идеалом личного благополучия и постепенное расширение советцентрического видения мира в планетарное — становятся предпосылками грандиозной трансформации сознания советской интеллигенции.

На рубеже 60-х годов они породили новое поколение творческой интеллигенции, создающей полуофициальную и неофициальную культуру, удачно охарактеризованную А.Амальриком как „культурная оппозиция”. В рамках ее и начался процесс индивидуализации социального сознания. Эта индивидуализация, вычлняющая личность из принудительного коллектива, окрашена чаще всего в негативные и даже нигилистические тона, граничащие с подлинным трагизмом. Отвергающий все ценности ее системы, ее представления и мораль, выплывающий из себя все насильно заложенное содержание „советчины” подчас извергает и свое собственное нутро.

Не имея никакого идейного и нравственного стержня, человек попадает в нравственный вакуум. Ложь и беспросветность социального аморализма уступает место безысходности аморализма индивидуального. На смену социальной утопии приходит социальный нигилизм подобно тому, как почти столет назад „Записки из подполья” Достоевского прозвучали ответом на „Что делать?” Чернышевского: „А не послать ли нам к черту все эти хрустальные дворцы социализма, чтобы по своей глупой воле пожить?”

Такое отчуждение создает солидарность одиночек, объединяемых временно и случайно отталкиванием и побегом от тоталитарного общества. Содержание этой солидарности остается негативным, ибо даже лежащее в ее основе начало личной свободы оказывается бессодержательным, не одушевленным никакой положительной ценностью. Оно является симптомом не созидания, а распада и не может создать интеллигенцию в прежнем смысле слова, как группу, объединенную идеей этического служения.

* * *

История русской интеллигенции началась с конфликта. „Я взглянул окрест себя, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала”. Конфликт с миром *сущего* во имя *должного* стоит у истоков интеллигентского сознания. Нравственный императив, спроецированный на общественную плоскость человеческого бытия, создал русскую интеллигенцию. Подобный внутренний процесс происходит и в наше время, когда нравственный императив вынуждает личность вступать в конфликт с внеморальной и антиперсоналистической этикой государства. И здесь индивидуализация идет по мере пробуждения человека как меры всех социальных вещей.

Разложению партийной идеологии и коммунистического сознания отвечал духовный перелом в недрах самой интеллигенции. Б. Пастернак, дерзнувший в „Докторе Живаго” поставить личность над историей с ее революционной каруселью в перспективу вечности и А. Солженицын, показавший *этическую человечность*, перед которой оказался бессилён разгул со-

циального каннибализма, стали первыми вестниками зарождения нового общественного сознания.

Параллельно распаду коммунистического коллективизма шло возникновение этического персонализма, получившего общественное выражение в *правовом* движении. Характерно, что движение за *права человека* возникло стихийно, не имело идеологов, но сразу распространилось очень широко, объединив людей разных мировоззрений. Принцип *права* оказался наиболее действенным способом противостояния тоталитаризму и по существу его преодолением. Эту несовместимость субъективного права с коммунизмом еще отметил замечательный русский мыслитель Б. Вышеславцев.* При своем *законничестве*, стремящемся нормировать все сферы человеческой жизни, все подчинить декрету от экономики и законов природы до человеческой мысли и совести, коммунизм не признает законности для отдельной личности. Он налагает только обязанности, не оставляя за человеком прав отказаться от них. Его законничество есть именно отрицание права, которое ограждает человеческую свободу, давая ей *право* быть самой собой, осуществлять свой собственный замысел о жизни.

Правовое движение инстинктивно нашло главного врага — неограниченный произвол государства над гражданином и стало строить ограду вокруг человека. Этот существенный персонализм сделал правовое движение недостижимым для любых идеологических манипуляций режима, а потому и способным кристаллизовать вокруг себя общественную оппозицию. Если все марксистские категории апеллируют к социуму, то *право* прежде всего апеллирует к индивиду и по существу не вмещается в структуру коммунистического мировоззрения. Поэтому, начав с практической задачи защиты суверенитета личности, правовое движение стало совершать и идейную работу, в результате которой оно все более отделяется от коммунистической идеологии и сближается с христианством. Это не случайно. Как показал тот же Вышеславцев, существует внутреннее родство между юридическим прин-

* Б. Вышеславцев, „Два пути социального движения”. „Путь” № 4, Париж.

ципом права и духовным принципом христианства. Если коммунизм все декретирует, подчиняя человеческую свободу идее, воплощенной в государственной политике, то христианство освобождает, не признавая над человеком никакого внеположного законодательства, отвергая всякое законничество и постулируя только закон сердца, уважение к свободе другой личности: „Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки” (Мф. 7, 12). Христос никого не вынуждает, а лишь призывает. С рабами любого рода — закона, идеи, системы — христианству нечего делать. Оно начинается только там, где есть полная свобода: даже свобода неприятия *Творца*, свобода произвола, греха, отпадения. Цель его — *личность*, которая абсолютно, метафизически свободна. Поэтому в силу своего персонализма правовое движение и тяготеет к христианству, преодолевая, наконец, более чем вековую пропасть, отделявшую интеллигенцию от Церкви. Бывшая атеистической при православном государстве, оппозиционная интеллигенция теряет *raison d'être* своего атеизма в ситуации, когда деспотическая государственность сама утверждает на атеистической идеологии.

Историческое православие, политически связанное с государством, социально с крестьянством и его почвенностью, традиционностью, бытовизмом, отталкивало оппозиционную и беспочвенную интеллигенцию. Секулярная революция оборвала как политические, так и социальные связи Церкви. С одной стороны, она превратилась в идеологического конкурента власти, которого нужно максимально нейтрализовать, поскольку невозможно совсем уничтожить, с другой стороны, традиционная верующая среда — крестьянство под влиянием пропаганды, урбанизации и собственной трансформации уходит из Церкви, которая все более начинает состоять из городских элементов, которые сами были лишены почвенности. Таким образом, и социально, приобретая более городской характер, и в своем бесправии и идеологической оппозиционности она сближается с интеллигенцией.

Также радикально изменилось соотношение интеллигенции и народа. Современная Россия представляет собой массовое общество, в буквальном смысле слова рожденное восстанием масс. Бывшее различие европеизированных высших сословий и низших: крестьянства, мещанства, духовенства — кануло в лету. Все советское общество без исключения вышло из одного грандиозного тигля революции, индустриализации и коллективизации. Все воспитано в единой идеологии и культурно унифицировано.

Советская интеллигенция, подобно партийной бюрократии и армейскому командному составу формируемая из народа для идеологического, научного или производственно-технического руководства тем же народом, является плотью от плоти и костью от кости народа. Все государство, весь его чиновничий аппарат, в который составной частью входит и советская интеллигенция, построено из однородного культурного материала, и потому справедлива официальная точка зрения, что советская интеллигенция, партия и народ — едины, а советское общество — общенародное общество.

Но превратившись в общенародное, оно перестало быть „народным” в том смысле, как это понимали в 19-м веке, т.е. *почвенным*, сделавшись „интеллигентским”, т.е. *беспочвенным*. Единственную сохраненную традицию — авторитарную государственность и империализм — нельзя назвать *почвой*.

Советский народ максимально беспочвен, поскольку революцией вырван из своей привычной культурно-исторической почвы — православия и земледелия — и брошен в эсхатологический полет через коммунистическую утопию к материально-технической цивилизации. Общество футуристично, поскольку отсчитывает свой возраст не от прошлого, а от будущего. Никто не знает, что было вчера, но все знают, что завтра полетят на Луну. Подлинное культурно-историческое преемство разорвано и заменено фиктивным преемством бунтов и революций. Вместо своих *святых* народ смотрит на портреты

своих *бунтарей*. Если для 18-го века можно говорить о беспочвенности дворянской интеллигенции, а для 19-го века о беспочвенности интеллигенции разночинной, то 20-й век оторвал от почвы весь народ. Он лишен двух своих ценнейших традиций, составлявших два центральных нерва национальной жизни: религиозной традиции православия и гуманистическо-либеральной традиции дореволюционной интеллигенции, традиции русской гуманитарной культуры.

Советское общество, будучи массовым и формируемое на народническо-марксистских идеалах, впитало в себя идеи демократического просвещения и культурного утилитаризма, хотя и растворило этот интеллигентский субстрат в миллионном полукрестьянском населении, повысив за счет снижения интеллектуального уровня его социально-действенную мощь. Поэтому если до революции между народом и интеллигенцией лежала культурная, мировоззренческая и психологическая пропасть, то теперь все общество ориентировано в сторону интеллигентских идеалов научного просвещения и рационально-технической культуры. Культ человеческого разума, открывающего необъятные возможности человеческой воле, вера во всемогущество технических достижений, заменившая православие, воспитывают у всего общества уважение к умственному труду. Шкала ценностей изменилась, необразованный человек по-настоящему уважает труд лишь квалифицированный, не презирает, а завидует интеллигенту-специалисту. В эпоху, когда примитивные формы труда заменяются технически-организованными, работники умственного труда по преимуществу становятся, говоря марксовым языком, производителями материальных благ. Рабочий отчасти стыдится своей необразованности и все сильнее сознает необходимость рационализации и организации, которые бы пришли на смену идеологической мифологии и бюрократической бесхозяйственности. Стремление к материальным и техническим благам порождает вкус к благам культурным и духовным. Замена культуры художественным и идеологическим оформлением политики не убило, а наоборот пробудило культурный голод, достаточным тому свидетельством служат быстрое исчезновение с книжных прилавков многотысячных тиражей каких-

нибудь лирических поэтов античности или древнерусских летописей, отечественной или переводной литературы классики, репродукций европейской живописи или православной иконы, битком набитые театры, концертные залы, выставки и библиотеки.

Много говорилось о неспособности русского человека к демократии. Справедливо писал А. Амальрик об отсутствии необходимых для нее психологических предпосылок: уважения к человеческой личности, любви к свободе, инициативы, индивидуальной ответственности. Таковы и в самом деле были плоды своеобразия исторического развития России. Однако при этом забывается, что существуют периоды стремительного взросления наций, и одним таким периодом для России стал, увы, коммунизм. В результате в советской действительности появилась новая и очень прочная основа демократии, которой оказываются лишены многие страны и культуры с длительными либеральными традициями. Эта основа — *опыт* тоталитаризма, идеологической демагогии и общенародных страданий, опыт трагического бесправия личности перед лицом насилия.

Доказательством тому служит стихийное распространение *правового движения*. Возникнув в узком кругу московской интеллигенции, оно постепенно захватило все стороны советского общества; протесты против беззакония начали раздаваться отовсюду: из столиц и провинции, городов и деревень, их пишут ученые и писатели, студенты и рабочие, политзаключенные и простые верующие, татары, евреи, литовцы и русские, советские граждане без различия профессий, образования и национальности. Органом этого правового движения стала „Хроника текущих событий”, бюллетень, который стремится систематизировать все эти свидетельства о беззаконии, ставит целью организацию постоянного правового контроля общественного мнения над действиями власти, сводя к минимуму все проявления государственного и бюрократического произвола над личностью. Чрезвычайно показательно, что правовое движение оказалось *единственной формой* оппозиции режиму, которую последний, несмотря на длительные усилия и практически неограниченные возможности карательного аппарата, не смог до сих пор подавить.

Тот факт, что попытки оппозиции оказываются разгромленными в зародыше, а „Хроника” как фокус правового движения продолжает издаваться, несмотря на аресты и преследования, свидетельствует о той глубокой потребности в *праве* и либерализации, которую пока еще неосознанно ощущает все общество.

Правовое движение поэтому подавить вообще невозможно, ибо оно питается не интеллигентской оппозицией, не программой, не идеологией, а пробуждающейся общенародной жадой *справедливости, права, личной безопасности* перед лицом государства. Оно беспартийно и безнационально, но по природе своей человечно, поскольку ставит целью своей защиты ЧЕЛОВЕКА от произвола власти.

Но по существу именно принцип суверенитета личности, ее ограды от произвола коллектива или государства есть та *основа* демократии, лишь служебными средствами которой являются многопартийность и парламентская система. Последняя, кстати сказать, формально существует в СССР. Народ, в течение столетий вообще не участвовавший в политической и общественной жизни России, теперь благодаря воспитанию массовой пропагандой, освободительной фразеологией, демонстрациями, выборами и всевозможными общественными, комсомольскими и партийными организациями — всему тому, что помогает осуществлять над ним тоталитарную диктатуру, — подготавливается к самостоятельной политической активности. Само государство воспитывает его политическую волю, чтобы с помощью идеологического и политического контроля направлять ее в нужное для себя русло. Поэтому в настоящее время этот демагогический парламентаризм и видимость самоуправления отбивает у масс всякий политический интерес. Каждый понимает унижительную комедию всеобщего голосования при невозможности обсуждать и выдвигать кандидатов и „независимости” законодательного, исполнительного и судебного органов под контролем единственной партии, вся функция которой состоит в том, чтобы „проводить в жизнь” решения партийного руководства. Поэтому советский гражданин, обязанный по „самой демократической конституции” голосовать с 18-ти лет, с этого же самого возраста начинает презирать себя за участие в этой общенародной

комедии, от которой далеко не безопасно уклоняться.

Однако тотальная эксплуатация этой воли государством возможна до тех пор, пока в стране не возникла оппозиция, могущая придать этой активности другое направление. Хотя советское общество до сегодняшнего дня остается не субъектом, а объектом политики, это происходит благодаря его идеологической дезориентации и обессиленности как социальной системой, так и государственным контролем. Положение может начать меняться с возникновением независимого общественного мнения... В этом видится объективная необходимость появления новой русской интеллигенции, которая бы поставила перед собой задачу воспитания демократических начал и формирования свободной общественности. О роли в будущем раскрепощении Советской России этой духовной элиты, которая бы смогла соединить христианскую веру с демократическими традициями русской интеллигенции и ее духом общественного служения, пророчесвенно говорил замечательный мыслитель Г.П. Федотов: „Один кристалл цветной соли может заметно окрасить стакан воды. В строении химического тела присутствие малого количества вещества имеет конструктивное значение. В материалистическую и империалистическую Россию завтрашнего дня войдет, как жало в плоть, нечто совсем иноприродное, кажущееся чужим, на самом деле самое свое, русское из русского. Его присутствие вызовет противоречие, борьбу, кристаллизацию сил. Унисона не будет, однотонной, тоталитарной усыпляющей одноголосицы. Культура России, даже и завтрашнего дня, будет контрапунктической. Слабая сегодня, даже и завтра, духовная элита будет расти. У нее есть могущественный союзник: русское прошлое”.*

Подводя итоги всему сказанному, следует отметить, что возрождающееся национальное сознание в России хотело бы видеть в православии единственную подлинно русскую традицию, считая интеллигенцию, которая ошибочно отождествляется со своей наиболее экстремистской частью, вредным европейским влиянием, погубившим Россию. Однако интеллигенция, указывавшая православию на его ограниченность и

* Г. Федотов „Рождение элиты”.

дополнявшая своим стремлением к справедливому земному обществу, своим гуманизмом и пафосом этического служения мистическую отрешенность православия, была столь же самобытным русским явлением. Ее можно считать западным явлением в меньшей степени, чем русское христианство — явлением византийским. Сегодня возврат к той или иной традиции в ее исключительности не смог бы быть плодотворным ни для религиозного возрождения, ни для формирования независимой интеллигенции. Но, кажется, разделенные прежней историей Церковь и интеллигенция начинают открывать свое духовное родство на краю братской могилы, у которой они стоят, оплакивая своих мучеников за веру и свободу творческого духа, как две жертвы общего врага — победившей атеистической и бесчеловечной деспотии. Перед ее лицом им остается лишь заключить союз в деле защиты прав Бога и человека на этой земле.

Москва-Париж, 1972–1973

ИДЕОКРАТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ *

Тоталитаризм подобен призраку,
который питается кровью живых...
Карл Ясперс

Замысел предлагаемой работы сложился у автора достаточно давно, однако непосредственным толчком к ее написанию послужило опубликование „Вестником РСХД” статьи К. Житникова „Закат Демократического движения”.** Статья не просто намеренно „подводит итоги”, она носит характер некоего „исторического приговора” и в качестве приговора так и просится на страницы учебников истории; разумеется, учебников из прекрасного будущего. Она показалась одним из первых пробуждений самостоятельной исторической мысли и на своих немногих (ввиду обстоятельств) читателей произвела впечатление блестящей. Я не оспариваю этого впечатления, хотя радикально расхожусь со взглядами автора. „Взгляды” не означают здесь нечто расплывчатое, но указывают на весьма четкую позицию, с анализа которой мы и начнем.

1. Анализ статьи Житникова.

Блеск и неожиданность статьи Житникова заключается в том, что автор ее возвращается к утраченной самиздатом социологической концепции. Стойкий режим противостояния

* Предлагаемая статья была напечатана в № 111 „Вестника РСХД” и перепечатывается здесь с авторскими изменениями.

** „Вестник РСХД”, № 106, 1972 год, стр. 275–293.

цензуре и официальному стилю мышления как бы исключил из самиздата то, что этой цензурой или этим стилем мышления хотя бы в принципе пропускалось. Разумеется, то, что было разрешено цензурой или этим стилем мышления, реально уже не содержало в себе ни социологического, ни классового анализа общества. Для печати годилась лишь определенная фразеология, устоявшаяся в духе марксистского социологизма и выдержанная в стиле придворных восточных этикетов. Символика принятого этикета под видом научного исследования допускала большое разнообразие приемов; она могла передать различные намеки, лесть, замаскированную критику или прямые доносы. Но охота шифровать и дешифровать обусловленные формы возникла у немногих — только у тех, кто вступал в эту игру, т.е. становился автором (возможно, потенциальным) в одной из сфер гуманитарной культуры. Вольная же литература, едва возникнув, отбрасывает ненавистный этикет. Но вместе с этикетом изгонялся и всякий социологический анализ, который в сущности не противоречил ни гуманизму, ни христианству, ни даже особо усиленному патриотизму или патриархальной верности. Эта весьма существенная потеря была восполнена лишь немногими, и в качестве примера великолепного сочетания трезвого взгляда и социологической объективности можно указать, в частности, на известную работу А. Амальрика.

Статья К. Житникова, о которой мы будем говорить, анализирует „Демократическое движение”. Она четко фиксирует границы „движения”, его формы и до известной степени его идеи. Основная мысль статьи: „Основываясь на идеологии коммунизма, „Движение” стремилось осуществить свою программу руками властей и коммунистической партии.” Сама же программа непосредственно вытекает из духа хрущевских реформ. В центре статьи стоит сопоставление пяти основных реформ, выдвинутых Хрущевым, и пяти основных форм движения. Сопоставление выглядит весьма убедительно. Оно свидетельствует о том, что „Движение”, родившееся как раз после падения Хрущева, требовало более радикального осуществления его начинаний. „Оппозиционность” „Движения”, — говорит автор, — объясняется тем, что проведение реформ остановилось и даже наметился поворот назад.” В примерах,

подтверждающих эту мысль, разумеется, нет недостатка, хотя внимательный взгляд обнаружит в статье К. Житникова много натяжек. Но главная мысль К. Житникова заключается в том, что участники „Движения” исходят из социалистических взглядов, из того, что он называет „идеологией коммунизма”.

Здесь возникает некоторая терминологическая неясность. Что собственно называем мы социализмом и социалистическими убеждениями? Помимо официальной, существует две точки зрения на режим в нашей стране; согласно первой из них, режим, будучи идеологическим наследником сталинизма, является извращением подлинного социализма. На этой точке зрения, как следует из статьи К. Житникова, стоит большинство „демократов”. Вторая утверждает, что социализм сам по себе есть извращение, и в крайней форме она сводится к тому, что уже в „Государстве” Платона, или в „Городе Солнца”, или в „Коммунистическом манифесте” в зародыше заключены будущие идеологические беснования и концентрационные лагеря.

Однако в первом случае, говоря об извращении социализма, люди отталкиваются от идеальной конструкции, которая чаще всего бывает привита им с детства; во втором, говоря о социализме, как об извращении, люди ставят знак равенства между этим понятием и той действительностью, из которой они черпают свой опыт. Строго говоря, эти позиции не имеют точек пересечения, ибо слово „социализм” они заимствуют из двух разных мировоззрений. И поэтому, опираясь на одну, в сущности нельзя опровергнуть другую. В каждом случае это слово обладает своим особым смыслом. Здесь не место говорить о том, что такое социализм „на самом деле”, но хотелось бы подчеркнуть, что та позиция, с которой в данном случае критикуются „социалистические взгляды”, не может возвышаться над этими взглядами, так как лежат они в разных плоскостях. Поэтому, когда мы слышим о „социалистических взглядах” участников „Движения”, то следует выяснить, что мы понимаем под социализмом. В контексте статьи К. Житникова „социалистические взгляды” означают взгляды советские, и потому взгляды „демократов” представляют собой обновленный, гуманизированный или, скажем, облегченный

вариант советской идеологии. Но даже если бы это было и так, между „советским” и „социалистическим” нельзя ставить знак равенства. Точнее сказать, советская идеология сложилась лишь в результате господства, насильственного вдалбливания тех самых социалистических взглядов, с которыми сегодня она может не иметь ничего общего. И потому, прежде чем говорить о „Демократическом движении”, следует разобраться в том, что противостояло ему и что в каком-то смысле было неотделимо от него — в советской идеологии.

2. „Отчужденное сознание”.

Первое, что бросается в глаза: эта идеология абсолютно рациональная и в то же время отчуждена от всякого индивидуального сознания. Она принадлежит всем вместе и никому в отдельности. Она есть просто „объективная реальность, данная нам в представлении”, с которой каждый гражданин государства вынужден в той или иной мере считаться. Как бы ни был он предан этой идеологии или как бы безоговорочно ни отвергал ее — она всегда есть для него нечто внешнее, то, что соединено с ним независимо от его личного фанатизма или неверия. Содержание этой идеологии есть исповедание веры государства.

Государство верит,

что оно построено на принципах политико-экономического развития общества, открытых Карлом Марксом;

что эти принципы были творчески претворены в жизнь вождем мирового пролетариата В.И. Лениным;

что оно возникло в результате победоносной социалистической революции, которая уничтожила в России эксплуататорские классы и систему угнетения человека человеком;

что оно построило свободное социалистическое общество, которое в данный момент переходит к высшей стадии своего развития — к коммунизму;

что коммунизм предполагает чрезвычайно высокое развитие государственной экономики и на этой основе полное удовлетворение всех материальных и духовных потребностей каждого гражданина;

что коммунизм приводит к всестороннему развитию личности и к невиданному процветанию;

что законы, открытые Марксом и Лениным, есть законы самой истории, которые рано или поздно, тем или иным путем приведут к построению коммунизма во всех странах;

что оно обладает самой здоровой экономической структурой — плановым хозяйством;

что оно обладает единственно истинной философией — диалектическим и историческим материализмом;

что в этой философии заключаются мировоззренческие основы науки и культуры (физики, астрономии, социологии, истории, литературы, права и т.д.);

что построение коммунизма осуществляется в соответствии с этой философией и научной истиной всем советским народом под руководством коммунистической партии — передового отряда советского общества;

что те, кто заражены влиянием враждебной империалистической идеологии, препятствуют построению коммунизма, и с ними необходимо решительно бороться.

Разумеется, изложенное здесь государственное кредо предельно кратко. В развернутой форме, в виде развитой догматической системы оно заняло бы десятки томов. Что будет записано в этих томах по отдельным вопросам и параграфам, каждый из нас может легко себе представить. Ибо практически в каждом это исповедание заложено в виде закодированных знаний, эмоций, импульсов. Об этом еще пойдет речь. Сейчас интересно следующее. Было сказано: „Государство верит.". Но откуда у государства взялась такая способность? Можно, правда, говорить о вере партии или народа, но в данном случае это только эвфемизы государства. Совершенно неважно, каким словом мы обозначим ту самую сущность, которая верит во все это или все это провозглашает. Важен факт: эта вера существует и активно утверждает себя. Утверждение и провозглашение веры государства есть идеология. При позитивистском взгляде на нее мы увидим в идеологии только определенную организацию знаков, символов, значений, т.е. некую семиотическую систему с фиксированной структурой запретов и правил семантической сочетаемости.

Эта система, которую можно называть и языком государ-

ства, носит совершенно безличный характер. Она *обязательна* в той или иной мере для каждого. Однако практически нет и, наверное, не может быть человека, убеждения которого целиком бы укладывались в эту систему и описывались этим языком. Человеческая психика всегда оказывается более подвижной и легко соскальзывает как в „собственные мнения“, так и в „свой язык“. И потому всякое „идеологическое соучастие“ (при написании романа или журнальной статьи, при судопроизводстве, при формулировании официальных директив любого масштаба) неизбежно выправляет индивидуальное сознание ради безличного отчужденного сознания, олицетворяющего собой всю сумму государственной веры.

„Сумма веры“, идентичная в данном случае „сумме всеобщего блага“, напоминает гегелевское определение государства как „божества на земле“. Разумеется, то, что имел в виду Гегель, ничего общего с советским строем не имеет, да и сам он по давней традиции намеренно исключает из своего языка все религиозные понятия. Гегель, определяя свое государство, видел в нем имманентное раскрытие Абсолютного Духа. Абсолютный Дух был тем самым божеством, сведенным на землю методом гегелевской диалектики. Диалектика или логика заключала в себе законы саморазвития этого Духа, приходящего после ряда отрицаний к синтезу или тождеству с самим собой. Это тождество, в частности, должно было завершиться в „абсолютно разумном государстве“, знаменующем своего рода итог человеческой истории. Маркс, который, как известно, „поставил гегелевскую философию с головы на ноги“, усмотрел движение диалектических законов в реальном (экономическом) развитии общества. Он увидел в истории непрерывающуюся борьбу классов, эксплуатацию бедных богатыми. Но философия была призвана, по Марксу, не только к тому, чтобы правильно увидеть и объяснить мир, но и к тому, чтобы изменить его, т.е. избавить его от эксплуатации, от имущественного неравенства. Ключ к изменению мира лежал в открытой им диалектике развития производительных сил и производственных отношений и вытекающей из нее исторической практике. Эта историческая практика требовала революционного перехода к социализму. При социа-

лизме будет уничтожена сама возможность эксплуатации, поскольку все материальные и культурные блага станут собственностью не отдельных лиц, но всего народа.

Вопреки ожиданиям Маркса, все это как будто осуществилось в той огромной, но отсталой стране которая в течение многих лет была в его глазах „жандармом европейских революций”. Маркс, если бы он был жив, мог бы торжествовать победу. Но сам он наверняка не счел бы себя победителем. Революция, совершенная ради освобождения от гнета и эксплуатации, привела к самообожествлению государства, в котором могло быть освящено любое рабство и любая эксплуатация. Но это еще не все. Вся хитрость заключалась в том, что эта самая рабская форма власти, установленная путем свержения тирании, должна была без конца внушать себе и своим подданным, будто они живут в самом свободном, самом прогрессивном и самом процветающем обществе. Тот комплекс идей, который привел к созданию этого общества, в конце концов безраздельно воцарился в нем, стал его единовластным и неограниченным диктатором. Теперь стало возможно многое, кроме одного: ограничения этой безмерной идеологической власти. Победителем вышел, пожалуй, не Маркс, а Гегель. Государство фактически признало себя „божеством на земле”. Теперь оно могло верить, провозглашать и отстаивать свое кредо. Абсолютный Дух легко транскрибировался в Высший Исторический Разум, а затем и в Историческую Необходимость, слагающуюся из непреложных диалектико-экономических законов. Сведение божества на землю совершилось с помощью еще одного диалектического переворота — отрицания марксизма (как силы, взрывающей все традиционные скрепы общества, как сконцентрированной революционной воли) посредством современной марксистско-ленинской идеологии (как максимального затвердения, консервации определенной общественной системы в качестве идеократии).

Это, конечно, схема, известная каждому. И сам Маркс совершенно не стремился обосновать государство, где его идеи стали бы объектом „отчужденного” государственного культа. Сам Маркс, признанный „специалист по срыванию всяческих масок”, вовсе не собирался заводить этого небывалого хоро-

вода ряженных, где напыленная идеологическая личина заменяла бы подлинную человеческую сущность. Вдохновляясь перспективой целостного освобождения человека, предвидя создание общества, в котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех, он отнюдь не предполагал, что оно будет выглядеть безликой однородной массой, утрамбованной гигантским идеологическим прессом. И он, вероятно, с ужасом узнал бы в получившемся словесном месиве фразеологию своих идей. Дело было сделано так, как предсказывал когда-то Гегель: история двигалась к своим „объективным целям”, из хитрости прибегая к чьим-то открытиям, потребностям и надеждам.

Но и Гегель вряд ли обрадовался бы своей победе. Абсолютный Дух, веками отстоенный и дистиллированный в самых верхних слоях европейского мышления, оказался нестерпимо самодовольным и скудоумным оборотнем, набитым полусмысленными фразами и одержимым жадой абсолютного господства. Но и будучи оборотнем, он обладал всеми признаками Абсолютного Духа. Повинуясь стройным законам диалектики, пройдя через ряд отрицаний, он пришел к отождествлению с самим собой в отвлеченном и обоготворенном разуме государства. В качестве абсолюта он пронизывал все формы общественного бытия, противопоставив себя относительному сознанию индивида. В качестве духа, он внедрялся в это сознание, он стремился как бы воплотиться в нем, навязать ему свою волю. В качестве новоявленного божка-высочки, втайне чувствуя себя временщиком, он одной рукой наспех оделял всех дешевой поверхностной благодатью, другой — наскоро душил непокорных и непонятливых. Он обладал разветвленной символикой имен — Будущего, Исторической Необходимости, Прогресса, Вождя народов, но природа его при всех именах оставалась неизменной.

Открытие Маркса парадоксальным образом привело к созданию пневмоцентрического государства. Абсолютный Дух, ставший его идеологическим субстратом, это прежде всего вне-человеческая истина, отчужденная от всякого индивидуально-го сознания и навалившаяся на него. Истина стала для людей насилующей объективностью, и когда данные опыта не со-

ответствовали этой истине, то, по известному изречению Гегеля, хуже было для фактов. Истина могла поставить на место любые факты. Она могла превознести их или уничтожить. Она могла „вправить” их в любой субъективный опыт так, что никакой очевидности, никакому здравому смыслу с ней нечего было тягаться. Под разбитной философский рефрен „материя первична, сознание вторично” демонстрировалась невиданная мощь духа и поправление какой угодно материи. Истина как будто в дионисическом экстазе пустилась по земле в пляс, завороживший человеческие души. Но оргиастическая природа в ней была скрыта под упрямым крепколобым рационализмом. Сама же она считала себя прочной, уравновешенной и совершенно объективной наукой. Правда, ее мнение о себе порождало в ней здоровое чувство уверенности, однако мешало прибегать к услугам потенциальных союзников.

Вот один пример. На Западе неоднократно делались попытки соединения истины марксизма с психоанализом; в умелых государственных руках союз этих двух столь прочных, столь всеобъемлющих систем мог бы стать необоримой силой. Помнится, Сартр, сетовал на то, что марксисты напрасно пренебрегают таким союзом, и даже предлагал своеобразный проект синтеза того и другого. Но идеократическое государство, разумеется, не могло принять такого подарка. Его истина была сделана из грубого, добротного материала; в психоанализе она могла размокнуть и переродиться. Психоаналитический метод открывал ход к человеку изнутри; в масштабах тотального воздействия он мог оказаться в принципе более эффективным. Но ради сохранения монополии истина не могла пойти на такой союз и оставалась просто отчужденным общественным благом, которое, не копаясь в подсознании, без разбору дубасило по головам тех, до кого (по какой-то непостижимой географической нелепости) можно было дотянуться.

3. Идеологическое потребление.

Современное индустриальное общество часто называют об-

ществом потребления; здесь все производится на продажу; политические идеи продаются так же, как и машины, консервы или искусственные волосы. Западный человек привык к эйфорической атмосфере рекламы; со всех стен, со всех страниц к нему обращены зубные пасты, чулки на стройных ногах, белозубые улыбки политических деятелей. И все трезвонит на разные голоса: купите меня, выберите меня! Уже давно открыто и со всей обстоятельностью доказано, что свобода такого выбора иллюзорна, что человеческая душа среди изобилия одинока, что от перемены белозубых улыбок несколько не меняется судьба „человека с улицы”. От этой постылой свободы, которая есть на самом деле полная порабощенность, возникают студенческие волнения, отращаются длинные волосы, зарождаются „новые романы” и „театр абсурда”. За всем этим нередко скрыт и метафизический бунт: долой потребление! любую революцию и немедленно! Но даже будучи самым ярким обличителем фальшивой буржуазной свободы, западный человек все же дорожит своим правом купить ту зубную пасту, а не эту, выбрать эту идеологию, политическую партию или страну для жительства, а не ту. Ему часто не приходит в голову, что в современном мире люди могут быть начисто лишены этого иллюзорно и трижды разоблаченного права выбирать ценности и идеи. В тоталитарном обществе идеология — это вовсе не тот товар, который можно почему-либо не купить и не усвоить. Товар этот сам выбирает себе потребителя, не спрашивая его согласия даже в самой условной, ничего не значащей форме. Идеологическое потребление начинается буквально с первых дней жизни — с детских песенок, утренников, букварей. Неважно в данном случае, каков в дальнейшем будет результат этого потребления, важно то, что его невозможно избежать. В каждом возрасте идеологическое кредо преподносится в доступной и емкой форме. Однако во всех случаях априорно предполагается, что человек остается ребенком, которого всю жизнь необходимо воспитывать, бесконечно повторяя ему на разные лады, „что такое хорошо, и что такое плохо”. При этом хранители и якобы вершители идеологии, те, кто имеет доступ к ее тайнам, те, кто могут распределять ее и манипулировать ею, чис-

лятся, разумеется, старшими, но и им далеко до настоящей взрослости. Идеократия оставляет людей на положении ребятишек из детского сада, которых без конца воспитывает безликое идеологическое „Оно”.

При всех возможных персонификациях, при всех культах никакая личность по сути дела не может управлять тоталитарным обществом. Не Сталин был абсолютным диктатором, но обожествленная истина, спаявшая людей своей мистерией. Правит не личность, но идеологический джинн, выпущенный из бутылки. Сталин Сталиным мог быть лишь в силу того, что инстинктами, убеждениями, одержимостью Сталина обладал любой чиновник, газетчик, прокурор, любой следователь на допросе и любой понятой при обыске. Каждый получал прививку бесконечной веры в прогресс и безграничной ненависти к врагам народа. Сознание каждого было сдвинуто этим странным смешением нетрезвого руссоистского оптимизма в отношении всего человечества и волчьих инстинктов в отношении любого конкретного человека. Никаких антимоний здесь, однако, не допускалось. Всякие антимонии были уже заранее сняты где-то наверху, куда не пускали простых смертных. Так называемый культ личности был только одной из кульминаций безличностного по сути идеологического культа — период, когда он достигал, пожалуй, наибольшей магической силы.

Когда магизм несколько рассеялся, ряд декораций пришлось заменить. После недолгой интермедии с Хрущевым, столь живо напомнившей известные слова о том, что история разыгрывается сначала как трагедия, а затем повторяется в виде фарса, наступила, кажется, стабильная полоса, для которой характерным стал культ Ленина. Ленин, разумеется, только одна из последних персонификаций, но совсем иного рода. Он уже не живет на земле и не думает по ночам о нас. Он жив только „вечно”, в идеях, символах, специфических обрядах. Идеологический магизм на этой стадии заметно ослабевает, но сохраняет основную структуру своего воздействия.

Можно было бы немало сказать об истории этого магизма, о тех метаморфозах, которые он претерпел, но наша тема —

только синхронический срез идеократического сознания. Первое, что усваивается им, — четкая ценностная ориентация. Речь отнюдь не идет о глобальных политических проблемах: о вере в коммунизм, о социалистических убеждениях. Находясь под „властью идей“, человек перестает жить идеями в чистом виде (один из парадоксов идеократического сознания, постороннему человеку, может быть, неизвестных). Он живет комплексами идей — инстинктами, которые в нем особым образом воспитываются постоянным идеологическим давлением. Он погружен в атмосферу инстинктивных ценностей. Весь мир вокруг него как бы пропитывается идеологическим электричеством, электризуется в положительных и отрицательных зарядах. При культе личности фигура вождя была только точкой наивысшего напряжения, но никак не источником энергии. Когда место живого вождя заменили „идеи, которые будут жить вечно“, напряжение само собой ослабело. Произошло всего лишь перераспределение энергии, но мир остался по-прежнему наэлектризованным. Существование в этом мире есть постоянная включенность в жесткую отработанную систему энергоценностей. Отовсюду человек получает толчки и импульсы. Газеты, радио, шлягеры, памятники исторического величия, глаза вождя, смотрящие со всех стен — все это служит проводником определенных, строго рассчитанных идеологических зарядов. Человек аккумулирует их в себе, и именно эти заряды заменяют ему идеи. Устойчивые словосочетания, такие как „борьба с международным империализмом“, „антисоциалистические силы“, „ударный труд“, „в духе советского патриотизма“ — не мысли, не идеи как таковые, но сжатые пружины, с силой распрямляющиеся в сознании идеологического потребителя. Они постоянно стимулируют определенные выработанные инстинкты, своеобразную культуру условных рефлексов, при воспитании которых только и может функционировать идеократическая система.

Все как бы рождаются в ней наркоманами: слушание „последних известий“ становится неискоренимой привычкой. Получаемые заряды состоят из одних и тех же информационных элементов: „постановление пленума“, „сердечная

встреча представителей братских партий”, „досрочное выполнение плана”, „забастовки на Западе”, „обуздать агрессора”, „новый подарок труженикам села”... Добавьте к этим элементам еще десять-пятнадцать, и вы практически исчерпаете запас информативных стимуляторов. Нередко встречаешь людей, которые не верят здесь ни одному слову, у которых это пошло вызывает отвращение, и все же по какой-то неведомой им самим причине они не могут от него отказаться; как заведенные, слушают радио, читают газеты. Какая-то навязчивая потребность заставляет их включать себя в сеть идеологического питания и изо дня в день, из года в год получать одно и то же: „... выполнение плана... .. обуздать агрессора... ”.

Возникает невиданная мифическая система: человек живет в мире реальностей, которые доходят до него только посредством каких-то обусловленных словосочетаний, но никак иначе. Действительность, которая стоит за этими словосочетаниями, практически неизвестна, но в нем действуют импульсы, порожденные мифом. Постоянно потребляемая информация только поддерживает их, но в принципе он мог бы обойтись и без нее. Он без труда мог бы и сам порождать эти словосочетания, сам лепить этот миф ради отчужденного и не всегда до конца понятного ему „нужно”. Так собственно и происходит на фабриках идеологии, на „кухне большой политики”, в аппаратах пропаганды. Те, кто служит там, просто включают в дело выработавшиеся в них импульсы идей и словосочетаний. Они работают ради мифа, хотя сами, конечно, думают, что не нуждаются в нем. Но что бы они про себя ни считали, что бы ни думали потребители и клиенты, какие бы реакции ни пробуждались в том или ином индивиде, идеологическая машина работает независимо ни от того что профессиональный журналист не верит ни одному написанному им слову, ни от того, что у какого-нибудь потребителя вся эта система усвоения сигналов и импульсивного реагирования работает на полном ходу.

Потребление обладает как бы позитивной и негативной частью. Позитивная часть есть то, что определено нами как отчужденное сознание, т.е. сумма абстрактного государствен-

ного блага, выражающего собой смысл истории и ее завершение в построении предписанного типа общества. От смысла истории тянутся нити к смыслу философии, к смыслу этики, к смыслу науки. Сумма истины распадается на ряд подструктур, интерпретация которых требует одной системы значений. Система эта вводится в сознание путем неустанного пропагандистского нажима во всех видах. Что касается негативной части, то это есть сфера усвоения навязываемой истины, область воздействия идеологии и вырабатываемой здесь духовной и этической ориентации. Эта подводная часть очень мало напоминает ту, что видна всем с первого взгляда. Там особый мир со своими законами, и то, что в позитивной части было „смыслом”, становится в негативной части рефлексом, импульсом. Законы здесь выражают сложную систему запретов, внешних и внутренних, реальных и потенциальных угроз, вытесненных и невытесненных страхов, соединенных каким-то иррациональным неконтролируемым оптимизмом или по крайней мере с какой-то смутной верой в собственную правоту и историческую необходимость всего происходящего или могущего произойти. Если бы не было этой разветвленной подземной системы, если бы каждый не носил ее в себе, то в один прекрасный день он мог бы рассмеяться, как ребенок из андерсеновской сказки, и воскликнуть: „А король-то голый!”. Но сознание в условиях тоталитарного государства остается постоянно включенным в грандиозное идеологическое действо, в котором не может быть равнодушных зрителей или столь невоспитанных детей. Все должны принимать в нем участие. Можно не читать газет, куда труднее ускользнуть от выборов. Следует понять, что сама идеология, сама навязанная истина печатает газеты, зовет вас на выборы, при надобности сажает вас за решетку, а не та или иная когорта идеологических сыщиков. Все подчинено этому Молоху. Есть люди, которым это выгодно, есть те, кто подчиняется ему добровольно, и те, кто его ненавидит, но каждый должен в той или иной степени в меру своих сил и желаний приспосабливаться к нему.

4. Культура социальной адаптации.

Идеологическое приспособление можно выразить более нейтральным понятием — культура социальной адаптации. Так на языке социологов и психиатров формулируется способность человека сживаться с окружающей средой. За этой формулировкой стоит предположение, что нормальный индивид обладает такой способностью, т.е. он может, а в определенных случаях и обязан, принимать социальную и идеологическую окраску того общества, в котором он живет. Если научно доказано, что живет он в самом прогрессивном обществе, если идеология этого общества есть сама истина в ее революционном развитии, то культура социальной адаптации выражается в безоговорочном принятии этой истины, в подтверждении ее словом и делом, мыслью и чувством. Сущность человека определяется с точки зрения развития в нем культуры социальной адаптации, т.е. взаимоотношений его с истиной. Отчужденное сознание остается чем-то первичным по отношению к человеку. Лишь под углом такого сознания можно узнать, добр он или зол, талантлив или бездарен, говорит ли правду или клеветает.*

Иными словами, культура социальной адаптации есть постоянное посольство истины в человеке, присутствие в нем отчужденного сознания блага. Как воздействует это „благо” на внутренний мир человека, как взаимодействует оно с его разумом и сердцем, которым оно навязано? Мы ставим этот вопрос в свете основной антропологической проблемы: на-

* Только истина, известная априорно, может объяснить нам, что такое клевета. Клевета есть то, что ни при каких условиях не может быть правдой. Не может потому, что не должно. Не должно потому, что заведомо не может быть и т.д. Попробуйте одолеть такую логику! См. статью 190¹ УК РСФСР: „Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, и систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй” и т.д. Под „строем” понимается не только политическая структура общества, но и весь комплекс идеологических запретов.

сколько гибок человек, насколько он внутренне подвижен и податлив перед этой чужой, обрушившейся на него духовной силой? Насколько он самостоятелен и насколько зависим от нее?

Частично мы уже ответили на наш вопрос, касающийся взаимодействия идеологии и личности, указав на культуру социальной адаптации. Эту культуру можно определить как воспитанную определенным образом систему условных рефлексов на соответствующую ей систему идеологических сигналов. Или, если воспользоваться понятиями психоанализа, культура социальной адаптации есть некий клубок импульсов (энергоценностей), постоянно хранящихся в подсознании. Этой системе научаются так же легко, как родному языку. И она становится практически неотделимой от личности. Освободиться от нее значительно сложнее, чем приобрести ее. Дело не в политических убеждениях и не в идеях вообще, а в той гамме полусознательных реакций, которые возникают при идеологическом воздействии. Эти реакции как бы заранее заданы и пронизывают не только интеллект, но и весь строй эмоциональной жизни человека.

Возьмите литературу, живопись, музыку. Социалистический реализм здесь не только навязан, насильно привит к таланту, он есть внутренняя потребность — тот же идеологический импульс, действующий в сфере искусства. Возьмите, например, поэзию, отнюдь не гражданскую, а самую что ни на есть лирическую, поэзию „общечеловеческих” переживаний любви, природы, старости, смерти. Эти переживания, если приглядеться, на редкость стереотипны. Их амплитуда не намного шире, чем амплитуда идеологических импульсов, заключенных в газетной статье или в передаче „последних известий”. Дело не в форме, но в сути „переживаний”. Они исходят не от реального человека, но от того, каким он, по мнению автора, должен быть. Автор почти бессознательно ставит на свое место вымышленный идеологический манекен, который играет роль его лирического героя: он в меру бодр, здоров, оптимистичен, в меру задумчив и грустен, он утверждает, что жизнь — это борьба, влюбляется с неуклюжей прямоотой рабочего парня, а когда стареет, настаивает, что душа его еще молода. Этот

герой вышел, правда, из эпохи „культовых лет”, когда принятый стереотип был предельно узок и предельно доступен массовому сознанию. С тех пор в культуру вошла новая тема, которую условно можно назвать темой подражания гуманизму. Стихи, песни, кинокартины подаются уже в более „человеческой” упаковке. Но коль скоро они включены в идеологическую систему и служат ей, они вынуждены скорее следовать за неким уже имеющимся образом, нежели создавать его. Здесь в культуре, как и повсюду, образы даны уже заранее, они принадлежат подсознанию художника и в процессе творчества только поднимаются на поверхность.

Неважно при этом, что подобная стерилизация духа производится якобы во имя человека, с целью всестороннего развития личности в будущем. „Всестороннее развитие личности” — фраза, ставшая особенно расхожей, но не имеющая никакого смысла. Вас запирают в идеологическом карантине, путем различных отработанных приемов лишают вас извне и изнутри права подлинной творческой реализации, права на страдание, права на горький смех, права на молитву, а потом, ради „всестороннего развития”, предлагают вам русскую литературу, пронизанную тем самым состраданием и горьким смехом, зовут вас в музей любоваться иконами и на концерт слушать хоралы Баха. Но вы уже бесконечно далеки от того, что вызвало их к жизни. Прежде, чем раскрыть книгу и войти в музей, вы уже получили прививку духовного бесплодия. „Всестороннее развитие” приводит лишь к гедонистическому поеданию культуры, к массовому обжорству, не вызванному никаким подлинным голодом.

Однако „всестороннее развитие личности” организуется так, что „общечеловеческое” здесь как бы вливается в советское, дополняя и поддерживая его. Так возникает иллюзия раскрытости и гуманизма. При этом соединение двух культур, подлинной и поддельной, направляется чаще всего единым планом рассчитанного идеологического нажима.

Посмотрим на структуру такого воздействия. Любая его разновидность, облачена ли она в форму искусства или повседневной пропаганды, есть интерпретация заранее заданной темы. Эта интерпретация постоянно апеллирует к выработан-

ному „социальному образу” — манекену, обладающему определенным стереотипом чувств, мышления, поведения. Для „социального образа” характерна замкнутость и постоянство образующих его элементов. Он хранит в себе некий объем информации, закодированный в виде безотчетных эмоциональных импульсов и распределенной по ряду тем. Каждая тема представляет собой привычную сумму реакций на устоявшийся идеологический раздражитель. Механика пропаганды основана на том, что эти реакции вызываются в должной последовательности и нужном ритме. Любую газетную статью можно расписать как мелодию по нотам, где каждый информационный знак соответствует заранее известной реакции. Интеллектуальное постижение играет здесь скорее условную, символическую роль. „Социальный образ” реагирует, но не мыслит. Что бы ни подразумевалось, скажем, под словом „свобода”, оно всегда схватывается скорее интуитивно, в комплексе связанных с ним реакций на контекст: „свобода советского человека”, „пресловутая свобода западной демократии” (потому-то демократии эти нередко обманываются советским словом „свобода”, когда речь идет не о каком-то понятии, значение которого одинаково во всех языках, но об интуитивных импульсах, вызываемых этим словом, которые могут ничего общего не иметь с отвлеченным его смыслом). Это относится к любым идеологическим высказываниям, причем объем таких высказываний может быть как угодно широк. Но каждое неизбежно проходит сквозь ряд обусловленных реакций, ограничений, заданностей. Я уже не говорю о всех системах и подсистемах внешней цензуры. Это мир, который может быть описан только в научной фантастике. Но вырастает он из цензуры внутренней, тех интимных, невидимых перегородок человеческой души, которые социологи и психиатры, как известно, называют культурой социальной адаптации.

5. „Двоемыслие”.

Культура социальной адаптации или негативная идеология, о которой мы говорили, укладываемая в особую, полу-

вытесненную, полусознательную часть души, есть в то же время система внутренних фильтров и цензуры. Цензура образуется в результате отвердения устоявшихся реакций на регулярно посылаемые и особым образом организованные идеологические энергоимпульсы. Она предопределяет усвоение всей поступающей информации, оживляя и расцветивая одно, стерилизуя и вытесняя другое. Цензурированное познание есть своего рода „повторение в виде фарса” трансцендентального познания у Канта: человек воспринимает мир посредством априорных заданных форм, предрешенных стереотипом „социального образа”.

„Социальный образ” накладывается на личность, пытается раствориться в ней и в то же время поглотить ее целиком. Но это оказывается принципиально недостижимым, что приводит к феномену „двоемыслия”. Двоемыслие — термин не новый, но, кажется, еще никем в достаточной мере не истолкованный. Орвелл скорее гениально угадал его, чем разъяснил; другие больше описывали, чем проникали в его природу. Последнюю задачу не берет на себя и автор настоящей статьи. Мне хотелось бы показать только механизм действия этой системы двойной ориентации, этой искусной внутренней мимикрии или, если угодно, шизофренической расколотости духа.

Следует с самого начала подчеркнуть, что двоемыслие есть именно духовное заболевание, что феноменальный срез душевной и интеллектуальной жизни человека далеко не всегда обнаруживает его признаки. Это болезнь, которая свидетельствует о предельной человеческой падшести и падшестью именно — и неистребимой духовности. Двоемыслие возникает от того, что люди, как бы безраздельно ни отдавались они идеологической рефлексологии, как бы ни лгали, притворялись, гримасничали, как бы ни хитрили и не обманывали себя, все же остаются людьми, которые потаенно помнят о своем актерстве и могут в какой-то степени отойти от него, взглянуть со стороны. Двоемыслие выражается уже в сознании действующих инстинктов, в умении как-то контролировать и использовать их; оно заложено в самом начальном отделении самого себя от механизма своих реакций. Степень этого

отделения может быть различной. Забегая вперед, скажем, что различия в степени отделенности никоим образом не указывают на снятие двоемыслия как такового; эта степень только воспитывает различные его формы.

Схематично можно указать на две основные формы двоемыслия, на два его полюса. Условно будем называть их глупостью и цинизмом. Глупость есть минимальная степень отделенности своего „я” от социально-идеологического манекена. Цинизм указывает на максимальную степень. Каждую из этих форм можно отнести не только к особому эмоциональному климату, но и, условно говоря, к своей эпохе. Идеократическое сознание проходит как бы через два возраста — идеологического инфантилизма и деидеологизации.* Сейчас нас интересует второй случай. Циники (т.е. носители двоемыслия периода деидеологизации) обычно считают, что обладают полной внутренней свободой, что их идеологические повинности не затрагивают их личности. Они якобы только принимают правила игры, которая им навязана. Они вступают в нее с гримасой отвращения (которую даже нередко можно заметить) или с несокрушимой уверенностью в своей правоте („ведь ни второго, ни третьего не дано”), они могут жить с улыбкой на устах или кусая локти от ярости, но в конце концов не выдерживают и сдаются. Никакой ум, никакой скепсис не может оградить их личность. Длительное актерство неизбежно приводит к тому, что даже за постылой идеологической ролью признается какой-то кусочек правоты. Либералы пытаются посеять в ней зерна смысла и этики, разума и гуманизма, зерна, которые не могут вырасти на этой почве уже в силу того, что она изначально искусственна, предписана истиной „социального образа”, вневещна.

Различных вариантов этой игры почти так же много, как

* Деидеологизация вовсе не означает какого бы то ни было внешнего умаления идеологии. Ритуал соблюдается неукоснительно. Все запреты остаются в силе. Но большая шестерня идеократии уже перестает приводить в движение малые шестеренки выработанных рефлексов. Энтузиасты постепенно превращаются в актеров, добровольных, наемных или запуганных. Их игра опознается лишь потому, что она выглядит слишком „правильной”; ни одного слова от себя и все — по тексту.

игроков. Но важно другое: какую бы свободу ни сохранил за собой интеллект в оценке своих действий и решений, как бы ни сомневался и ни иронизировал, как бы ни подтрунивал над собой, циничная свобода „рацио” стоит немногого. Это всего лишь длинный поводок, который вполне допускается правилами игры. Зачастую он гораздо полезнее любой безотчетной глупости. Если бы не было этой упрямой свободы, кто работал бы в пропагандистском аппарате, писал бы цензурные инструкции или искусно соразмерял бы с ними собственное творчество? Идеология в сущности не может обойтись без циников — тех, кто чувствует ее сегодняшние нужды, тех, кто умеет уловить ее колебания и нюансы. На нынешнем уровне люди с неразвитым двоемыслием оставались бы только потребителями, но не могли бы активно работать в идеологии. Поскольку одна из негативных ее функций — это функция запрета, духовной стерилизации, то для того, чтобы обслуживать ее, требуется все более и более сложный заградительный аппарат, который мог бы противостоять растущему напору идеологической контрабанды. А здесь нужны люди, знающие лазейки духа, те, кому ведомы искушения.

Двоемыслие в целом — это не только способ мышления, не одна лишь особенность работы психики. Двоемыслие есть добровольное подчинение себя заданному манекену, вживание в него, выправление себя по механике отработанных в нем рефлексов, по предписанной им цензуре. Такого манекена, строго говоря, не существует в действительности; практически ни один из индивидов не может быть с ним полностью отождествлен. Однако он реальнее кого угодно. Он появляется в миллионах книг и статей, выступает по радио и телевидению, заседает в представительных собраниях, судит, хозяйствует, охраняет, распевает песни и правит внешней политикой. Он хочет быть всем и каждым, добиваясь этого то властью, то хитростью, тысячью различных способов, из которых хотя бы один никогда не оказывается безуспешным. И каждый, если он не одарен какой-то особой внутренней силой к сопротивлению (силой, которая, повторяю, ничего общего не имеет с рассудочным отстранением от манекена при внешнем служении ему), бывает вынужден в той или иной мере при-

нять его, *сделать его собою*. Чем он при этом руководствуется — убеждением, выгодой, страхом или привычкой — в общем безразлично. Важно только, чтобы он пожертвовал какой-то частью личности, бессознательно, рефлекторно — отказался от самого себя.

Простой и как будто стершийся от частого употребления факт, что взрослые люди должны „слушаться” „старшей” их истины, данной им в виде „социального образа”, несущего в себе синтез всех идей, чувств, ориентаций в отношении почти всех ключевых проблем духовной жизни человека, что их всеми путями приучают к этому послушанию, что непослушание всегда сопряжено со множеством лишений и насилий, есть не только подавление свободы, не только уничтожение человеческого достоинства, но и попрание человека как такового. За казенной идеологической витриной, где люди должны изображать себя не такими, каковы они на самом деле, но какими *изнутри* им предписывает быть внешне навязанный им „социальный образ”, есть по сути какое-то искажение человеческой природы, умаление человечности.

Открытие социальной обусловленности духа положило начало тотальному овладению им. Сегодня мы видим последствия этого процесса в культуре социальной адаптации (т.е. в том, какой смысл приобретает это понятие), в попытке вывести новую породу людей, чьи поступки и взгляды предопределены уже до рождения. Люди рождаются приговоренными к атеизму, к двоемыслию, к идеологическим инстинктам. Гнет навязываемой им истины гораздо серьезней гнета султана или диктатора. Истина требует не только того, чтобы вы ей подчинялись или изредка приносили символические жертвы, истина вламывается в ваше сознание и заползает в сердце. Она хочет править вами изнутри. Вот это проникновение в ваш разум и волю отчужденного от вас разума и воли, ваше приспособление к ним и подыгрывание им, ваш отказ от собственного духовного выбора и ответственности за него, от собственных ваших мыслей и веры нельзя назвать иначе, как попранием человеческой сущности, дегуманизацией.

Мы еще недостаточно поняли, недостаточно опознали этот опыт. Он всегда как-то растворяется за колонками цифр,

за всеми „невиданными победами социализма“. „Противники“ его обычно противопоставляют „друзьям“ свою статистику жертв и преступлений: „Ваш социализм, возможно, и хорош, но слишком дорог.“ Но не будем говорить на этом языке. И сейчас даже неважно, чьи цифры окажутся в конечном счете убедительней. Важно то, что идеологический террор, который сопутствовал всем этим победам и жертвам, и который не утих до сих пор, целые народы заразил массовым двоемыслием, породил всех этих толстошеих и тонкошеих вождей, доносчиков, сексотов, вохровцев, вертухаев, газетных конференсье, этих оперов, кумов, цензоров, услужливых психиатров, этих „все понимающих“ людей, этих крупных и малых специалистов по камуфляжу, замазыванию, подслушиванию, этих аристократов двоемыслящего духа — философов и поэтов, этих литературных маклеров оптимизма и всех безымянных исполнителей приговоров. В какую графу занести такого рода итог и кто ответит за эту жатву дьявола? — риторический вопрос, на который нам не дано знать ответа.

6. В поисках исцеления.

В начале статьи мы намеревались говорить о „Демократическом движении“. Но вести разговор о нем было бы совершенно невозможно, не проникнув в ту атмосферу, в которой оно возникло. Само наименование, однако, неудачно; по-видимому, оно сложилось стихийно и не выражает сущности того, что происходит. Поэтому гораздо легче писать о закате „Демократического движения“, уже с оттенком иронии в отношении этого несостоявшегося термина, нежели, скажем, о его расцвете или перспективах. Те процессы, которые мы имеем в виду, следовало назвать скорее поисками исцеления, попыткой освободиться от условных, почти врожденных идеологических рефлексов, от навязанного механизма поведения путем волевого и жертвенного вызова. „Демократическое движение“ явилось, очевидно, одним из негативных этапов этих поисков и попыток.

Я не буду говорить ни об истории „Движения“, ни о его характере, ни о его участниках, ни даже о программе. Об этом

скажут и напишут другие, те, кто знает это лучше меня. Я буду говорить о его духовном, невыявленном смысле, который для меня очевиден и который сейчас, в период „заката”, бесспорно выступает на первый план. Ибо восстановление человеческого достоинства, которое было основным делом „Движения” (я бы сказал, религиозным делом), есть борьба с тем видом духовного заболевания, с той дегенеративной рефлекторной стадностью, которая неизбежно возникает тогда, когда людей начинают разводить на „идеологических фермах” и в „инкубаторах мнений”. По сравнению с этим основным делом отступает на второй план и отсутствие экономической программы, и внешняя узость целей, и пресловутое сходство языковых форм „Движения” с фразеологией государства.

Главное, в чем К. Житников упрекает „Движение”, заключается в том, что оно лишь на полшага обгоняло реформы эпохи „децентрализации”, что оно служило их развитием и в случае удачи могло бы привести к обновлению коммунизма. Однако К. Житников здесь как-то полусознательно поддается той самой игре в наивность, которая служит неизменной маской идеократии. Коммунизм нельзя рассматривать как совокупность идей; фактически ведь нет никакого идейного коммунизма, а есть больное импульсивно заряженное общество (каким всегда становится тоталитарное общество), и коммунизм есть просто устойчивая форма его одержимости.

Впрочем, это слово обладало всегда весьма гибким смыслом. О каком коммунизме думали чекисты, уничтожая в 37 году „старую гвардию”? Какой коммунизм водворяли в Чехословакии советские танки? Ведь там немало говорили о готовности сохранить социалистический строй, которому, строго говоря, ничего не угрожало. Уже потом появилась легенда об „антисоциалистических силах”, о тайных планах и сговорах. А было — едва ли ни несколько десятков журналистов, которым на какое-то время удалось создать угрозу идеологической монополии. Не самим идеям — нет, но только их безоговорочному господству, только их тупой, холодной, неповоротливой тирании. И вот божество, сведенное на землю, приходит в ужас — посылает колонны танков и ставит политических

марионеток, повторяет знакомые инсценировки („клеим позором“, „всецело поддерживаем“) и даже открывает склады запятого оружия. Дело было в принципе; соседство новых идей, возможность альтернативы в корне разрушало раз заведенный механизм демократии. Это в свою очередь вызвало бы необратимые изменения в самом человеке, в строе его души, в его мышлении, в его сердце. И идеологический идол, инстинктивно почуяв опасность, уже не слушал никаких обещаний, ни клятвенных заверений, а просто бросился сломя голову спасать себя самого, совершенно забыв о престиже, о котором он до сей поры столь заботился.

Приблизительно той же участи подверглось и „Демократическое движение“. Здесь справиться было проще, но опасность была едва ли не большей. Ведь борьба за человека в данном случае была более явной. В чем оно собственно состояло, это „Движение“? Писались многочисленные протесты против преследования инакомыслящих (у нас, а не в Соединенных Штатах), против преследования целых народов (у нас, а не в Южной Африке), против издевательств над заключенными (у нас, а не на Гаити), против цензуры (нашей, а не греческой). Ни один из этих протестов не был ни официально организованным, ни запланированным. Было как бы неожиданно открыто, что можно рассказывать о политических процессах и даже проводить неинспирированные демонстрации. Система неписанных запретов как бы игнорировалась; ведь не может тоталитарное государство в наш век недвусмысленно запретить то, что в этом государстве делать не полагается. Была обнаружена трещина между тем, что повсеместно говорится, и тем, что при этом подразумевается; ведь не может государство, бесконечно твердя о свободе и всестороннем развитии личности, прямо так и напечатать в своей конституции: нет свободы совести, нет свободы печати, нет свободы слова и демонстраций. Оно поступает гораздо хитрее, оно заключает как бы негласный договор со своими гражданами: я буду говорить вам о вашей свободе, а вы поступайте так, как если бы никакой свободы нет. И граждане в общем-то так и поступали, иначе им пришлось бы слишком дорого расплачиваться. Это был элементарный этикет двоемыслия, понятный и ребенку.

Так все и шло, каждый день повторялись слова о свободе и демократии с расчетом, что они будут поняты в комплексе уже выработанных реакций. И когда какие-то люди попытались понять эти слова иначе, сначала преодолев эти реакции в себе, а потом сделав вид, что их вообще не существует, они совершили нечто недопустимое, нарушающее все приличия. В сравнении с этим уже немного значили их слова о „восстановлении ленинских норм” или о подлинном социализме. Независимо от чьих-то субъективных намерений они выбивались из того контекста двоемыслия, в котором обычно произносились эти фразы, и оттого-то все менялось принципиально. Внезапно проглянул бутафорный, невсамделишный характер всех наших пышных конституционных форм, всех торжественных слов и ритуалов. Обнаружился вдруг весь строй запущенной однажды идеологической машины, приспособленной к вымуштрованным рефлексам и склеротическим повериям.

Протестовать или призывать к совести можно было только по неписанному кодексу допускаемых протестов и призывов; если этот кодекс нарушался, то уже выпадало по крайней мере одно звено из той цепи полусознательного рефлекторного сговора, который связывал все общество круговой порукой. Иначе все могло быть поставлено под сомнение, все могло показаться призраком. Как тогда поверить, что государство, которое за свою недолгую историю успело уничтожить, искалечить, оболванить десятки миллионов своих граждан, сегодня всерьез страдает от насилия над арабами и возмущается закрытием демократических газет в Греции? Если не будет хотя бы смутного доверия, если государство для всех лишится ореола всеведения и всеправоты, то сколько оно сможет продержаться одной силой? Из своей же философии (которой, впрочем, инстинктивно не верит) оно знает, что недолго. Однако держится оно на массовом идеократическом сознании, которое, из каких бы противоречий оно ни состояло, в принципе внутренне цельно и непротиворечиво, ибо совершенно замкнуто. Уже элементарная рефлексия, т.е. некоторое отражение этих противоречий, говорит об эрозии такого сознания. Рефлексия делает приспособление чисто внешним, позволяет осознать его, а в отдельных случаях и отвергнуть. Имен-

но с этого простого осознания (воспринятого не цинично, а духовно) и последовавшего за ним отказа от двоемыслия и началось „Демократическое движение”.

Особо следует сказать об издании „Хроники текущих событий”, которая, возможно, не была прямым делом „Движения”, но примыкала к нему. „Хроника” вызвала наибольший страх в подсознании государства, что не замедлило сказаться в тех репрессиях, которые она на себя навлекла. По форме „Хроника” имеет самый безобидный вид, это только информация о преследовании идеологически неудобных людей: аресты, обыски, протоколы судебных заседаний, голодовки в лагерях, закрытие храмов или просто адреса заключенных. Только информация, почти никаких комментариев и уж совсем никаких эмоций. Вот только один пример, взятый из пятнадцатого выпуска „Хроники”; всего лишь несколько имен заключенных женского политлагеря ЖХ 385/3.

Дидык Галина, 1912 г.р., учительница. До начала 47 года — зам. руководителя Красного Креста при УПА, затем разведчица и связная ОУН. Арестована в апреле 50 г. Приговорена к 25 годам. До апреля 69 г. была во Владимирской тюрьме.

Гусак Дарья, 1924 г.р., связная ОУН, арестована в марте 50 г., приговорена к 25 годам. Во Владимирской тюрьме провела 19 лет.

Склярова Лидия. Приговорена к 15 годам за участие в попытке захвата самолета с целью уйти за границу.

Кюдене Беруте, 1919 г.р., литовская колхозница. Осуждена в 68 г. на 10 лет за события 20-летней давности (послевоенное нац. сопротивление). Арестована в психиатрической больнице, где она лечилась, по доносу врача, контролировавшего ее бред. До сих пор психически больна.

Грошева Надежда Степановна, 59 лет. Арестована в Ташкенте. Осуждена вторично на 10 лет за принадлежность к группе ИПЦ (Истинно Православная Церковь) по ст. 70 — антисоветская пропаганда. Первый приговор был 25 лет, из которых отсидела несколько лет и вышла в 56 году. Окончание срока в октябре 70 года.

Семенова Мария Павловна, 45 лет. Срок 10 лет, группа ИПЦ. Конец срока в 71 году.

Кислячук Евгения Фоминична, около 65 лет. Осуждена на 10 лет вторично за принадлежность к секте „Свидетели Иеговы”. Конец срока в 72 году.

Машкова Валентина, 38 г.р. В политическом лагере вторично. Арестована в августе 66 г. за попытку перейти вместе с мужем границу. В тюрьме родила дочь. Приговорена Ленгорсудом сначала к 10 годам, при повторном рассмотрении дела — к 6 годам.

Бекудалиева Раиса Ильинична, 45 лет, учительница литературы. Осуждена в марте 70 г. Ужгородским судом на 3 года за письмо зарубежным государственным деятелям.

Воронцова Вера. Неоднократно судима в последние годы за уголовные преступления. В 58 г. Ленинградским областным судом приговорена к расстрелу за сотрудничество с немцами во время войны (доносила на советских подпольщиков), расстрел заменен в порядке помилования 15 годами. Сейчас в лагере осуществляет надзор за другими заключенными.

Эти имена не составляют никакой тайны, и ничего собственно не случится, если кто-то их будет знать. Ведь это уголовные преступницы, осужденные по советским законам и большей частью, вероятно, при юридически нормальном судопроизводстве (при всей условности подобного предположения). Ведь ничего не случится даже и в том случае, если данные о них будут открыто публиковаться и любой, кто захочет, сможет о них узнать, узнать сроки их заключения, их вину, их возраст. Всякий знает, что государство — это не добрая фея, что у него длинные руки и холодные нервы. И никто даже особенно не удивится такой гласности. И все же какая-то инстинктивная, не вполне осознанная мудрость заставляет скрывать все это не хуже военных секретов. Если говорить об этом вслух, то какие-то правила игры будут нарушены. Завтра могут быть иные правила, но сегодня у нас и на „международной арене” как можно меньше людей должно знать о составе женского лагеря ЖХ 385/3, как и вообще о каких-либо политзаключенных в Советском Союзе. Все эти даже не очень большие списки как-то не вяжутся с открытой, обращенной

ко всему миру улыбкой страны победившего социализма. Все это как-то не попадает в такт с могучей поступью великодушного покровителя слаборазвитых стран и непримиримого борца за демократию. И уж совсем неприлично вспоминать об этом после стольких слов о „всестороннем развитии личности”. И те, кто судит сегодняшних демократов и хроникеров, весь стоящий за ними аппарат принуждения и те, кто возводит над всем этим идеологическую радугу с тирадами о „всестороннем развитии” или о „грязных клеветниках”, очень хорошо знают все эти приличия и прекрасно умеют вытеснять все то, о чем знать не следует.

„Хроника” свидетельствует о насилии и тем самым вызывает насилие на себя. Она приводит факты систематической и бесстыдно запрытанной жестокости государства, заставляя взглянуть на то, на что смотреть каким-то безотчетным законом запрещено. Все это творится с завязанными глазами, дабы не знать, забыть, не увидеть. Даже те, чьими руками все это делается, боятся отдать себе полный отчет.* Извращенность сознания становится принципом, который пытается навязать себя зрению, слуху и речи. „Хроника”, называя вещи своими именами, противопоставляла себя этой извращенности. И именно для извращенного сознания она представляется заведомо преступной. Если разобраться, вся система насилий тоталитарного государства вырастает из древнего бессознательно-го страха перед магическим значением некоторых слов.

Не в том суть, что человека сажают в тюрьму за высказанные им убеждения (в форме хотя бы распространения неугодной информации); суть в том, что еще до всякой тюрьмы его лишают права на изначальный общечеловеческий выбор своей духовной ориентации, а затем самым способом наказания

* Бывшие лагерники нередко рассказывают о том, какую реакцию вызывают у начальства всякие „татуировочные юродства” (скажем, „Раб КПСС” или „Раб СССР”). Кожу с татуировкой немедленно срезают или зашивают, и делают это столько раз, сколько появляется татуировка. От таких операций лицо становится неузнаваемым. Дело иногда кончается новым сроком или даже расстрелом... Думать ты можешь что угодно (за этим пока нельзя уследить), но „видеть” твои мысли нельзя, невыносимо. Недопустимо твое свидетельство о насилии, твой „выход из игры”, хотя бы в виде мученичества или юродства.

пытаются возможность этого набора физически уничтожить. Он уже выбыл из сферы идеологического гипноза, с ним не церемонятся. Особенно поражает какая-то мелочная рассчитанность этой подавляющей его жестокости: инструкциями созданное недоедание, холод, обыски, подслушивания, доносы, садизм политзанятий. Смысл наказания в том, чтобы политический заключенный перестал быть личностью, чтобы он принял навязанный ему сценарий или сгинул совсем. Но тюремной давилки оказывается все же недостаточно, и вот чья-то гиммлеровская фантазия изобретает заключение в психиатрические больницы.

Это не просто „изменение меры пресечения”, это уже революционный скачок: количество наказания переходит в качество. Политический преступник остается личностью, он может объявить голодовку, написать письмо прокурору на клочке бумаги, и, как бы ни набавляли ему срок, он все же когда-нибудь кончится и его выпустят. Сумасшедшему быть личностью отказано: на его протесты можно не обратить внимания, его голодовка есть только симптом болезни, его можно избивать на законном основании, травить лекарствами ради его же блага, делать инсулиновые шоки. Ему не дают пера, держат рядом с настоящими больными, а отпустить могут тогда, когда врачи сочтут его выздоровевшим. Здоровье же означает принятие обусловленных правил, законов двоемыслия, „культуры социальной адаптации”. Требуют не предписанных мыслей, а принятых жестов, выработанных инстинктов. Норма двоемыслия выдвинула свою норму человека, и ею стала отмеряться его человеческая полноценность. Весь смысл политического протеста „Демократического движения” состоял в том, что оно показало иную норму человеческого здоровья, которая оказалась невыносимой для общества, зараженного духовной эпидемией.

Но факт „наказания сумасшествием” говорит еще о другом. Государство может быть не только беспощадным, но и изворотливым. Сегодня оно преподает свои истины пока примитивным способом, допускающим элементарный выбор: читать — не читать, слушать — не слушать. Формально оно еще не может предотвратить непонимания, „конституционной”

или „демократической” наивности. Но кто поручится за то, что идеология не будет когда-нибудь распространяться с помощью таблеток, газов и инъекций? Исследования, связанные с современной обработкой информации, не исключают такой возможности. Говорят, что некоторые интеллектуалы и даже ученые-психиатры на Западе остерегаются вмешиваться в дела советских психбольниц, чтобы не поссориться с первой страной победившего социализма. Вероятно, они думают, что она откажется от психиатрии как репрессивного средства по соображениям нравственности.

7. Феноменология покорности и протеста

Бесчеловечность тоталитарного государства смешно объяснять чьими-то ошибками или перегибами, всегда сопряженными с заведомой безнаказанностью. Истоки ее гораздо глубже. Она вытекает из неверной модели человека, из специфического смещения духовной слепоты со злой волей к власти. Человеческий образ поразительно обеднен в этой модели, сведен к социально-утрированному стереотипу идей, импульсов и эмоций. Стереотип, синтезированный отчужденным сознанием, всеми средствами „вправляется” затем во всякое субъективное сознание. Давление стереотипа приводит к заболеванию двоемыслием, первый признак которого — социализированная форма вытесненного страха. Мир наполняется материализовавшимися призраками этого страха, „недремлющими врагами”. Так называемые „идеологические противники”, по крайней мере в том их обличье, которое навязывается стереотипом, порождаются чаще всего лишь „комплексом идеологической неполноценности”. Без „противников” двоемыслие просто не могло бы существовать, ибо „социальный образ”, даже подчинив себе личность, всегда подозревает ее в неверности. И ярость его выливается на всех, кто как бы воплощает для него подавляемые им соблазны.* Отсюда неустанная

* И потому дурную услугу оказывают те, кто пытается играть на этих вытесненных страхах и комплексах, кто изображает из себя тех самых огнедышащих драконов, с которыми денно и нощно сражается идеологическое войско. Действия НТС в данном случае как будто скопированы с известного всем бреда.

жестокость к тем, кто явно нарушает этикет двоемыслия — к „инакомыслящим”.*

Но следует понять, что страх, на который опирается идеократическая система, это совсем не обязательно страх перед насилием или травлей. Существует еще особый „идеократический страх”, страх перед истиной, страх перед самим отчужденным сознанием государства. Оно, как мы уже сказали, воплощает собой всю сумму мудрости, правоты и долга. И только оно наделяется высшей прерогативой — быть личностью. Все остальные должны быть этой привилегии лишены. Лишены, разумеется, не в прямой форме, не вымогательством или захватом, но путем добровольной уступки, подмены одного другим. Существующее заменяется должным, реальное — вымышленным, живое — тем, что „живее всех живых”. Над сонмом человеческих мыслей, потенциалов, намерений господствует идеологическое нечто, многословное чучело из абстракций и общих мест. Оно создает атмосферу непроницаемой духовной закрытости; на каждый вопрос есть свой ответ, будущее ясно, прошлое понято, убеждения истинны, чувства запряжены.

В детстве это принимается с полной доверчивостью, в юности нередко сгорает в огне отвращения и упоительного фрондерства. Но становясь постарше, люди легко пресыщаются самолюбивым недовольством, к тому же им пора решать, что делать дальше, что выбрать. И тогда „тайный протестант”, колебавшись в меру, нет-нет да и станет перед вопросом: „А почему бы мне и не принять это? Разве я могу предложить что-либо иное? Разве все у нас так уж плохо? Не у нас разве лучше? И не все ли равно, что говорить, если нет другого выхода?” и т.д. А лет через десять-пятнадцать мы встречаем уже самоуверенного журналиста, пробивающегося парторботника

* Термин этот можно принять лишь условно. Если быть точным, все граждане идеократического государства принадлежат к инакомыслящим. Все мыслят „иначе”, чем стереотип, насаждаемый государством. Разница заключается не в образе мыслей, но в образе действий, в том, берет ли человек на себя нравственную ответственность за свои мысли или по тем или иным причинам считает, что должен скрывать их и подлаживаться к стереотипу.

или, пожалуй, идеологического эксперта. Он уже не задает никаких вопросов. Он знает свое место и свою роль. Тот выбор, который некогда стоял перед ним, уже сделан. Теперь остается лишь его утверждать и отстаивать. Всякое общественное беспокойство, а тем более „движение” для него уже только „интеллигентская забава”, непозволительная для взрослых. И не вздумайте говорить ему о совести или свободе; вас ждет энергичная отповедь. „А какой свободы вы хотите? Свободы получать баснословные прибыли, свободы империалистической пропаганды, свободы клеветать на нашу страну? Или вы хотите, чтобы вам позволили говорить все, что вам вздумается? Этого не будет. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него!” и т.д. „Совести” — будет соответствовать подобная же разрядка. Если же вы все-таки станете добиваться личного мнения, может быть, вам доверительно скажут: „Занимайтесь тихо своим делом и не валяйте дурака; вот вам мой совет.” Система идеологических импульсов уже налажена и пущена в ход засасывающим мифом и двоемыслием.

Идеократическое сознание вовсе не предполагает отречения от свободы. Оно существует в атмосфере, где само это слово бессмысленно вне привычных отработанных реакций. Идеократическое сознание предполагает отречение от личности, отречение, при котором со свободой уже нечего делать, при которой свобода считается каким-то неприличием, бесчинством. Понятие „свободы” допущено только в системе рефлекторного двоемыслия; говорить о свободе, игнорируя эту систему, — все равно, что разбивать уличные фонари и опрокидывать урны. Первая реакция идеократического сознания: „Стой, как ты смеешь! Ведь мы этого не делаем”. И потому за всяким общественным протестом стоит попытка человека пробиться через собственную социальную адаптацию, через собственное двоемыслие и обрести самого себя. Когда заключенные наносят себе на лбы татуировки, за которые их потом калечат, когда молодые люди вступают в безнадежные политические заговоры, за которые им дают потом десять-пятнадцать лет, то они делают это потому, что они хотят обладать собственными лицами среди окружающих масок.

А теперь вернемся к тезисам статьи К. Житникова. В кон-

тексте всего сказанного можно сформулировать два основных возражения. Первое здесь уже фактически высказано. Между идеократическим сознанием, сложившимся в системе культуры социальной адаптации и сознательным волевым протестом против него (несмотря на возможные сходства их фразеологических форм), не может быть ничего общего. Второе касается специфически правовой формы „Движения”. Оно сознательно не выдвигало проблему свободы на первый план. Оно сформулировало и впервые поставило тему права, правовых гарантий личности. Борьба за право позволила осознать суверенность человека в тех условиях, где метафизическая его сущность была поставлена под угрозу.

Сама же форма могла быть облеплена всеми традиционными пороками политического предпринимательства. В отдельных случаях к ней пристало тщеславие, неразборчивость в средствах, игра в вождизм. В критический момент все это могло обернуться предательством. Но закат „Движения” объясняется вовсе не этим. Общество или по крайней мере интеллигентное общество не только не заразилось моральным пафосом „Движения”, но осталось равнодушным к идее права как таковой. Слой циничного двоемыслия и связанного с ним иронического равнодушия оказался еще слишком плотным. Об этом прежде всего свидетельствует статья самого К. Житникова, который под видом беспристрастного социологического анализа выразил изрядное пренебрежение к правовым формам борьбы за личность. Причем, выразил он его немного по-советски, намеренно поставив „Движение” в отрицательный контекст либеральных реформ эпохи десталинизации. Сегодня все знают, что эти реформы были только средством выживания идеократического государства; кризисная пора миновала, и реформы были отброшены. Разумеется, они уже не вызывают особых симпатий; тем легче в полемических целях можно было смешать чистое с нечистым. Но суть не в этом.

„Демократическое движение” было формой проявления человеческого в той среде, где природа человека была извращена и подавлена. Либеральные реформы все же несли в себе определенный гуманистический смысл и не могли быть опровергнуты только тем, что делались они грязными руками. „Дви-

жение” предъявило счет этим реформам, тем самым обнаружив их половинчатость, их халтурность. Оно пыталось перенести их в план борьбы за человека, за ценность человеческой личности. Оно попыталось вырвать ее из системы бессознательно-го механизма внушенных идеологических импульсов. И несмотря на „закат”, правовая форма „Движения” внутренне не исчерпала себя, хотя временно иссяк тот волевой напор, который поддерживал ее в прошлом.

„Временно” — не потому, что правовая форма скоро непременно возродится, но потому, что никогда не иссякнет та борьба за человека, которая стоит в центре человеческой истории. Ее можно назвать борьбой за освобождение духа, за достоинство человеческой личности. Но ведется она, осознанно или нет, на основе неоспоримого знания и свидетельства о том, что человек духовен, что эта духовность есть источник его свободы и достоинства. Ибо только Дух, по словам Экзюпери, „коснувшись глины, творит из нее Человека”, только Дух делает его личностью.

Сентябрь 1973 г.

НА ПУТИ К ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ*

Из отсутствия в России крепкой традиции самоуправления отнюдь не следует, что в ней существовала традиция бюрократического централизма. До прихода к власти коммунистического правительства российский бюрократический аппарат был сравнительно невелик и весьма неэффективен. Развитие бюрократизации сдерживали такие внушительные препятствия, как обширность страны, сильная рассредоточенность населения, затруднительность сообщения и (что, может быть, наиболее важно) недостаток средств. Российские правительства были вечно стеснены в деньгах и предпочитали тратить все наличные средства на армию. При Петре I на управление в России, которая уже тогда была самым большим государством мира, уходило 135-140 тыс. рублей в год, т.е. от 3% до 4% национального бюджета.** Насколько скудна была эта сумма, можно понять из следующего примера. Порядок, царивший в Ливонии, которую Петр отвоевал у Швеции, произвел на него такое сильное впечатление, что в 1718 г. он велел произвести исследование тамошней административной системы. Исследование показало, что шведское правительство расходовало на управление провинцией размером тысяч в 50 кв. км столько же денег, сколько российское — выделяло на управление всей империей площадью свыше 15 миллионов кв. км*** Не пытаясь совершить невозможное и скопировать шведские методы, Петр разрушил систему управления в Ливонии.

* Глава № 11 из книги „Россия при старом режиме”, Ричард Пайпс, Лондон, 1974.

** Ю. Готе, История областного управления в России от Петра I до Екатерины II, М., 1913, 1, стр. 449; М. Богословский, Областная реформа Петра Великого, М., 1902, стр. 263.

*** Богословский, Областная реформа..., стр. 262.

Российская бюрократия представляла незначительной не только в бюджете страны, она также была невелика в процентном отношении к населению государства. В середине XIX века в России было 12-13 чиновников на 10 тыс. человек населения, т.е. пропорционально раза в три-четыре меньше, чем в странах Западной Европы того же периода.* В Московской Руси и в период империи в бюрократической машине, пользовавшейся широкими полномочиями и известной своим крайним своеволием, ощущался явный недостаток чиновников. Препятствия, преграждавшие путь широкой бюрократизации, были сняты только в октябре 1917 года с захватом власти большевиками. К тому времени средства транспорта и связи усовершенствовались до такой степени, что ни расстояния, ни климат уже не мешали центральной власти жестко контролировать самые отдаленные провинции. Деньги тоже больше не представляли проблемы: проведенная под лозунгом социализма экспроприация производительного капитала страны предоставила в распоряжение нового правительства все ресурсы, необходимые ему для целей управления, снабдив его в то же время законным предлогом для создания гигантского бюрократического аппарата, на который оно могло тратить приобретенные средства.

Порядок управления, существовавший в России до 1917 г., основывался на своеобразной откупной системе, имевшей мало общего с бюрократическим централизмом или с самоуправлением. Прототипом ее являлся существовавший в Московской Руси институт *кормления*, при котором чиновничеству предоставлялась по сути дела неограниченная свобода эксплуатировать страну; взамен от него требовалось только отдавать государству установленную долю. Корону мало заботило, что происходит с излишком, выжатым из населения. Екатерина Вторая с очаровательной откровенностью объясняла французскому послу эту систему в применении ко двору:

Король французский никогда не знает в точности размер своих расходов; ничто не упорядочивается и не устанавлива-

*ется заранее. Мой же план, напротив, заключается в следующем: я устанавливаю ежегодную сумму, всегда одну и ту же, на расходы, связанные с моим столом, мебелью, театрами и празднествами, моими конюшнями, короче, со всем моим хозяйством. Я приказываю, чтобы на разные столы в моем дворце подавалось такое-то количество вина и такое-то число блюд. То же самое и во всех других областях управления. Покуда мне поставляют, качественно и количественно, то, что я приказала, и никто не жалуется, что его обошли, я считаю себя удовлетворенной; я мало беспокоюсь о том, что помимо установленной суммы от меня утаят хитростью или бережливостью... **

В принципе такая же система преобладала на всех ступенях российского управления по крайней мере до второй половины XIX века.

Одиозное взяточничество русских чиновников (особенно провинциальных, и уж тем более в провинциях, удаленных от центральных городов) не было следствием каких-то особых черт русского национального характера или ничтожности людей, избравших административное поприще. Оно порождалось правительством, которое, не имея средств на управление, не только веками не платило жалованья своим чиновникам, но и прямо советовало им „кормиться от дел”. В Московской Руси право чиновников набивать себе карманы в какой-то степени регулировалось тем, что они могли занимать должности в провинции только в течение строго определенного срока. Чтобы воеводы, назначенные на хлебные должности в Сибирь, не превосходили некоего, считавшегося разумным порога вымогательства, правительство выставляло на ведущих из Сибири к Москве трактах заставы, которые обыскивали возвращавшихся воевод и их семейства и отбирали у них излишки. Чтобы уйти от этого, лукавые воеводы, как тати ночные, возвращались домой окольными путями.

Петр Великий предпринял смелую попытку положить ко-

нец таким порядкам, когда чиновники, на бумаге служившие короне, на деле являлись мелкими сатрапами и заботились в основном о своем собственном благополучии. В 1714 г. он запретил жаловать поместья чиновникам центральных приказов и отменил систему кормления для провинциальных чиновников. Отныне все государственные служащие должны были получать жалованье. Эта реформа не увенчалась успехом по недостатку средств. Даже при строгом петровском режиме только чиновники центральных ведомств Петербурга и Москвы получали жалованье, да и то нерегулярно; провинциальные же чиновники продолжали жить за счет местного населения. В 1723 г. четверть средств, выделенных на оплату государственных служащих, пришлось задержать для частичного покрытия бюджетного дефицита. Как отмечает австрийский путешественник Й.Г. Корб, во времена Петра российские начальники должны были давать взятки собственным коллегам, чтобы получить причитающееся им жалованье. При ближайших преемниках Петра казна пришла в еще большее расстройство, дела шли все хуже и хуже. Например, в 1727 г. выплата жалованья большинству категорий подьячих была официально отменена, и чиновникам было предложено кормиться от дел. Положение несколько выправилось при Екатерине Второй, которая проявила большой интерес к провинциальному управлению и велела значительно увеличить отпускаемые на него средства; в 1767 г. для этой цели была ассигнована четверть бюджета. Также были приняты меры к тому, чтобы жалованье чиновникам выплачивалось вовремя. Коренная проблема, однако, оставалась нерешенной. Во время и после царствования Екатерины жалованье государственных служащих оставалось на таком низком уровне, что большинство чиновников не могли свести концы с концами и вынуждены были искать дополнительных источников дохода. В царствование Александра I младшие подьячие получали от одного до четырех рублей жалованья в месяц. Даже принимая во внимание дешевизну продуктов и услуг в России, этого было далеко недостаточно, чтобы прокормить семью. Затем, жалованье выплачивалось бумажными деньгами (ассигнациями), которые, спустя некоторое время после их первого выпуска в 1768 г.,

сильно упали в цене и в царствование Александра I шли, в пересчете на серебряные деньги, за одну пятую номинальной стоимости. Таким образом, реформы Петра и Екатерины не изменили ни экономического положения чиновничества, ни порождаемого им отношения администрации к обществу. Наподобие посланцев татарского хана, чиновники, назначенные управлять провинциями, в основном выступали в роли сборщиков налогов и вербовщиков, они не были, что называется, „слугами народа”.

*Вследствие отсутствия абстрактной, самодовлеющей идеи государства, чиновники не служили „государству”, а сперва заботились о себе и потом уж о царе; вследствие отождествления бюрократического аппарата и государства, чиновники были неспособны провести различие между частной и казенной собственностью. **

Таким образом, коррупция в бюрократическом аппарате дореволюционной России не была аберрацией, отклонением от общепринятой нормы, как бывает в большинстве других стран, она являлась неотъемлемой частью установившейся системы управления. Чиновники приучились жить за счет населения со времени основания Киевского государства. Как ни старалось правительство, у него не хватало сил искоренить этот обычай. Так оно и шло.

За столетия мздоимство на Руси обзавелось тщательно разработанным этикетом. Проводилось различие между *безгрешными* и *грешными* доходами. Критерием различия была личность жертвы. „Грешными” считались доходы, добытые за счет короны через растрату казенных денег или намеренное искажение отчетов, затребованных начальниками из центра. „Безгрешные” доходы создавались за счет общества; они включали в себя прибыль от вымогательства, суммы, взимаемые судьями за решение дела в пользу давателя, а в основном — взятки, даваемые на ускорение дел, которые граждане вели с правительством. Нередко бывало, что получатель

„грешной” взятки, согласуясь с неписаным тарифом, давал сдачу. Правительственные инспекторы, во всяком случае, при Петре и его преемниках, нередко безжалостно преследовали виновных в ущемлении государственных интересов. Они, однако, нечасто вмешивались, когда страдали простые граждане.

Чем выше ранг, тем большую возможность сколотить состояние за счет общества имел чиновник. Для этого использовалась такая масса приемов, что лишь малую часть из них можно привести в качестве иллюстрации. Вице-губернатор, в обязанности которого входило удостоверение качества продаваемой в его губернии водки, за соответствующую мзду от владельцев спирто-водочных заводов мог записать разбавленную водку как чистую. Поскольку жертвой в данном случае был потребитель, если бы даже эта проделка случайно открылась, никого не привлекли бы к суду. Губернаторы отдаленных губерний иногда ложно обвиняли богатых местных купцов в каком-либо преступлении и заключали их в тюрьму, пока те не откупались. Лихоимство было тонким, даже изящным ремеслом. Хорошим тоном считалось давать взятки не напрямую. Например, жертвовалась щедрая сумма на „благотворительное” предприятие, возглавляемое женой управителя, или продавалось тому же начальнику какое-то имущество за полцены, или покупалось у него что-либо (картина, к примеру) втридорога. М.Е. Салтыков-Щедрин, бывший в начале царствования Александра II вице-губернатором в Тверской и Рязанской губерниях, писал, что вкладывать капитал во взятки лучше, чем в банк, поскольку в этом случае есть гарантия от нередко весьма разорительных придирок со стороны властей.

Рядовым губернским чиновникам приходилось сводить концы с концами при помощи взяток и копеечного вымогательства. Чтобы пояснить, как функционировала эта система, лучше всего процитировать эпизод из „Губернских очерков” Салтыкова-Щедрина, где художественными средствами описывается вполне реальная ситуация. Герой повествования, мелкий губернский чиновник николаевской школы, захлестнутый реформами Александра II, ностальгически рассуждает о прошлом:

Брали мы, правда, что брали — кто Богу не грешен, царю не виноват! Да ведь и то сказать, лучше что ли денег-то не брать, да и дела не делать? Как возьмешь, оно и работается как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, все разговором занимаются, и все больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно.

Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, все дочиста спустишь — как быть? ну, и идешь к исправнику.

— Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги! Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: „Вы, мол, такие-сякие, приказные, и деньгу-то сколотить не умеете, все в кабаке да в карты!“ А потом и скажет: „Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать собирать.“ Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятишкам на молочишко будет.

И ведь как это все просто делалось! не то чтобы истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход. — Ну, мол, ребятушки, выручайте! царю-батюшке деньги надобны; давайте подати! —

А сам идешь себе в избу, да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение; вдруг все заговорят и руками замахают, — да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе, да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: „Будет, мол, вам разговаривать — барин сердится.“ Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего. Начнут жеребий кидать. Это значит — дело идет на лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божеская милость обождать до заработков.

—Э-э-эх, ребятушки, да как же с батюшкой царем-то быть? ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели! —

И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: я, дескать, взятку не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной! — нет, этак лаской да желанием, чтобы насквозь его, сударь, прошибло!

— Да нельзя ли, батюшка, хоть до Покрова обождать! — Ну, натурально, в ноги.

— Обождать-то, для-че не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду? — судите сами.

Пойдут ребята опять на сход, потолкуют, потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волосты-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четырехста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее. *

Подобные чиновники населяют страницы русской литературы от Гоголя до Чехова; некоторые из них добродушны и мягкосердечны, другие властны и жестоки, но и те и другие живут за счет населения, как будто бы они были чужеземными завоевателями среди покоренного народа. Их сообщество напоминало тайный орден. Они предпочитали водиться только с себе подобными, пресмыкаясь перед начальством и попирая нижестоящих. Им по душе была иерархическая лестница чинов с автоматическим продвижением по службе; они были частью ее и все, существующее вне этой системы, почитали за разгул анархии. Они инстинктивно изгоняли из своей среды чересчур усердных и щепетильных, поскольку система требовала, чтобы все были замешаны в лихоимстве и так скованы круговой порукой. Как пьяницы не выносят общества трезвых, так ворами не по себе в соседстве с честностью.

Как и всякий замкнутый иерархический орден, российская бюрократическая машина создала изощренный набор символов, предназначенных для различения чинов. Эта символика была упорядочена в царствие Николая I и изложена в 869 параграфах первого тома Свода Законов.

Из соображений этикета чины разделялись на несколько категорий, к каждой из которых надлежало обращаться согласно соответствующему титулу, переведенному с немецкого. Обладатели высших двух чинов должны были зваться „Ваше Высокопревосходительство” (Hohe Exzellenz), состоявшие в третьей и в четвертой категориях — „Ваше превосходительство” — (Exzellenz), и так далее по нисходящей; к чинам девяти-

* Н. Щедрин (М.Е. Салтыков), Губернские очерки, в Собрании сочинений, М., 1951, 1, стр. 59-60.

той-четырнадцатой категорий обращались просто „Ваше Благородие” (Wohlgeboren). Каждой ступени сопутствовал и уместный мундир, предназначенный специально для нее и разработанный до последней портновской детали; повышение с белых брюк до черных было событием эпохального значения в чиновничьей жизни. Носители орденов и медалей (Св. Владимира, Св. Анны, Св. Георгия и т.п., которых тоже было несколько классов) также имели право на всяческие отличия. Честные управители встречались почти всегда только в центре, в министерствах или соответствующих им учреждениях. Идея государственной службы как служения обществу была совершенно чужда русскому чиновничеству; она была завезена с Запада, в основном из Германии. Именно прибалтийские немцы впервые показали русским, что чиновник может использовать свою власть для служения обществу. Правительство империи высоко ценило этих людей, и они удостоились непропорционально большой доли высших чинов; среди административной элиты империи было немалое количество иностранцев, в особенности лютеран. Многие лучшие чиновники являлись выпускниками двух специальных учебных заведений — Царскосельского Лицея и Императорской Школы Юриспруденции.

Почти непроходимая пропасть лежала между управителями, служившими в центральных канцеляриях Петербурга и Москвы, и чиновниками губернской администрации. Последние почти не имели шанса когда-либо выдвинуться на должности одной из столиц, тогда как служащие, по своему происхождению, образованию или богатству начавшие взбираться по лестнице карьеры в центральном управлении, редко попадали в провинцию, кроме как чтобы занять пост губернатора или вице-губернатора. Эта пропасть усугубляла существовавший издревле раскол между дворянской элитой, внесенной в служебные московские книги, и простым губернским дворянством. Во-вторых, опять-таки в соответствии с московской традицией, чиновничество империи проявляло ярко выраженную тенденцию замыкаться в закрытую наследственную касту. Чиновники по большей части были сыновьями чиновников, и священнослужители, купцы и прочие простолюдины,

пришедшие на государственную службу со стороны, тоже чаще всего пытались ввести своих сыновей на чиновничье поприще. Мало-мальски знатные дворяне редко поступали на государственную службу, отчасти из-за невеликой ее престижности, отчасти потому, что жесткая система рангов вынуждала их конкурировать с чиновниками, гораздо ниже их стоящими по образованию и социальному положению. Положение это стало меняться только к концу царского режима, когда среди высших классов пошла мода поступать на правительственную службу.

Поскольку столичное и провинциальное чиновничество почти не общалось друг с другом, дух общественного служения, зародившийся в первом, почти не просачивался в страну, и для подавляющего большинства чиновников своекорыстие и мздоимство были стилем жизни; им и в голову не приходило, что может быть иначе. Именно это имел в виду консервативный историк Н. Карамзин, говоря, что „если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: *крадут*”*.^{*}

В Московской Руси и во времена империи повальное лихоимство чиновничества было симптомом более глубокого недуга — беззакония, верным спутником которого оно всегда является.

До судебной реформы 1864 г. (а отчасти и после нее, но об этом ниже) Россия не знала независимого судопроизводства. Юстиция была ответвлением административной системы, и посему основной ее заботой было проведение в жизнь воли государства и охрана его интересов. Неразвитость правосознания в России нигде не выступает так явственно, как в дожившем до новейшего времени традиционном представлении о том, что преступления, совершенные гражданами друг против друга и чиновниками против граждан, общественности не касаются.

В Риме судопроизводство было отделено от администрации ко второму веку до н.э. В странах с феодальной тради-

* П.А. Вяземский, Старая записная книжка, Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского, СПб, 1883, VIII, стр. 113.

цией, т.е. в большей части Западной Европы, это разделение произошло к концу средневековья. В Англии к концу XIII столетия уже проводилось различие между судебными королевскими чиновниками и его административными и фискальными агентами. Во Франции суд, известный под именем Парижского парламента, также утвердился к этому времени как самостоятельный институт. Россия в этом смысле напоминала древние восточные монархии, где царские чиновники, как правило, отправляли правосудие в рамках своих административных обязанностей. В Московском государстве в каждом приказе имелось судебное отделение, функционировавшее по своей собственной юридической системе и имевшее власть над гражданами, входившими в административную компетенцию приказа, — точно так же, как обстояло дело в крупных поместьях удельного периода. Помимо того, воеводы отправляли правосудие в своих владениях. А церковь — в своих. Тяжкие преступления против государства рассматривались царем и его советом.

Как и можно было предположить, попытки учредить независимое судопроизводство делались Петром и особенно Екатериной, но и тот, и другая столкнулись с непреодолимыми трудностями, не последней из которых было отсутствие свода законов. Единственный имевшийся свод законов 1649 г. стал малоприменимым в послепетровскую эпоху, да и в любом случае в нем было мало указаний на то, как быть с тяжбами между подданными. Даже если бы судье XVIII века вдруг пришла охота сыскать закон, относящийся к лежащему перед ним делу, он бы его не откопал. Так продолжалось до царствования Николая I, когда правительство наконец опубликовало собрание законов, начиная с 1649 г., за которым последовало издание нового Свода. Однако, поскольку судебная процедура оставалась традиционной, россияне избегали тяжбу, как чуму. До реформы 1864 г. правительство не возбуждало уголовных дел, за исключением тех случаев, когда затрагивались его собственные интересы; судебное разбирательство по уголовным и всем гражданским делам происходило по ходатайству пострадавшего и обыкновенно уподоблялось торгам, на которых верх одерживал тот, кто предлагал судье большую

мзду. Все это имело крайне пагубное воздействие на весь строй русской жизни. Модная теория, происходившая от Маркса, утверждает, что суды и законы создаются для того, чтобы служить интересам правящего класса. Однако исторический опыт показывает, что дело обстоит как раз наоборот. Чтобы поставить на своем, стоящие у власти не нуждаются в судах и законах, в них нуждаются бедные и слабые. Тому, кто сомневается в истинности этого положения, достаточно будет сравнить общее положение низших классов и их чувство уверенности в себе в районах со слабо развитой традицией судопроизводства, например, в Юго-Восточной Азии, и там, где эта традиция имеет прочные корни, к примеру, в Западной Европе и в США.

До 1860-х годов русская юриспруденция даже не проводила различия между законами, декретами и административными распоряжениями, которые после утверждения их монархом почитались с равным благоговением и в 1830 г. были внесены недрогнувшей рукой в Полное Собрание законов в хронологическом порядке. К высочайшему повелению о новом порядке престолонаследия или об освобождении дворян от обязательной государственной службы относились с формально юридической точки зрения так же, как к указу о строительстве нового завода или об удовлетворении прошения какого-нибудь отставного губернского чиновника. Вообще говоря, большая часть основополагающих законов, определяющих государственное устройство в России и статус ее граждан, не была объявлена сколько-нибудь официально. К их числу относились — прикрепление крестьян к земле и горожан к городам (т.е. крепостное право), положение о том, что обладание землей должно сопровождаться государственной службой, учреждение опричнины, подвластность крестьян своему помещику, автоматическое продвижение чиновников по службе по праву старшинства, основание первого централизованного полицейского органа — Преображенского приказа и введение ограничений, связанных с местом жительства, для евреев (черта оседлости). Другие законы вводились как бы походя. Например, юридическое обоснование самодержавной

власти российских правителей было сформулировано случайной фразой из Военного Устава Петра, тогда как до 1845 года законы о преследовании политических преступников практически не были определены юридически. Следствием такого неуважения к юридической процедуре явилось непонимание того, что право четко подразделяется на государственное, гражданское и уголовное, в то время как на Западе это различие проводилось, начиная со Средних веков. Неумение различить между типами юридических актов, равно как и между областями права, только усугубляло неразбериху, царившую в русской юриспруденции до 1860-х годов. Хуже того, до этого времени законы не нуждались в обнародовании для того, чтобы войти в силу; часто они вводились в секретных документах и были известны лишь чиновникам, отвечавшим за их проведение. Эта практика пережила реформу 1864 г. Как будет указано ниже, Министерство внутренних дел в 1870—80 г.г. нередко объявляло меры, затрагивающие жизнь всего населения, в своих секретных циркулярах, многие из которых не опубликованы и по сей день.

Неразвитость юридической традиции и судебной системы, разумеется, давала большие преимущества бюрократическому аппарату. Некоторые консервативные русские юристы даже доказывали вполне серьезно необходимость того, чтобы юстиция и администрация были тесно сплетены между собой. Среди них был весьма уважаемый специалист по государственному праву профессор Н.М. Коркунов, разработавший теорию русской юриспруденции, согласно которой основной функцией законов страны является не столько отправление правосудия, сколько поддержание порядка.* Данный взгляд на судопроизводство был выражен в несколько грубоватой форме (но зато и честнее) графом Бенкендорфом, начальником тайной полиции при Николае I. Однажды, когда некий редактор пришел к нему с жалобой на незаконные придирки цензоров, Бенкендорф в сердцах отрезал: „Законы пишутся для

* Н.М. Коркунов, Русское государственное право, СПб, 1909, 1, стр. 215-222.

подчиненных, а не для начальства!”*

До Николая I политические преследования в России носили неупорядоченный характер. Преображенский приказ Петра Великого обозначил важный шаг в направлении профессионализации политической полиции, однако выстроенный им полицейский аппарат был упразднен при Петре III и Екатерине, когда было запрещено выступать с обвинениями типа „слово и дело”. Хотя Екатерина II и Александр I не чужды были того, чтобы время от времени ставить вольнодумцев на место, они не были особыми поклонниками полицейской слежки. Министерство Полиции, учрежденное в 1811 г., было ликвидировано восемью годами позже. Со второй половины XVIII века в России существовала сельская и городская полиция, но не было особого органа для выявления политической оппозиции типа тех, что имелись в ту пору во многих странах европейского континента. Не было и цензурного кодекса. За исключением ряда довольно общих и вполне устаревших положений Свода 1649 г. и кое-каких постановлений Петра Великого, отсутствовали конкретные законодательные акты, направленные против подрыва государственных устоев. До начала XIX века любительских методов борьбы с политической оппозицией было вполне довольно, однако они стали негодны в эпоху Реставрации, когда более развитые формы вольнодумства вошли в моду в Европе, неотъемлемой частью которой Россия стала вследствие своего участия в кампаниях 1813 — 1815 г.г.

Негодность внутренних оборонительных линий России стала очевидной в связи с восстанием декабристов. В перевороте было замешано более сотни дворян, часть которых принадлежала к числу виднейших семейств государства. Это обстоятельство само по себе исключало возможность тихо разрешить дело административными мерами, какие обычно применялись против непокорных простолудинов. Помимо этой технической сложности, восстание заставило серьезно задуматься о проблеме безопасности государства: как случилось, что пред-

* Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1883 годы), Берлин, 1884 год, стр. 31-32.

ставители класса, которому корона даровала такие невероятные привилегии, пошли на нее с оружием в руках. И как получилось, что никто не заметил, как они вошли в заговор?

В 1826 г. Николай назначил Верховную Следственную Комиссию для расследования причин восстания и вынесения рекомендаций о наказании виновных. Задача перед Комиссией стояла необыкновенно трудная, поскольку в России того времени не было не только уголовного кодекса, но и точного юридического определения преступления против государства. Всякий, кто потрудится заглянуть в текст окончательных рекомендаций Комиссии, обнаружит там в качестве юридического основания приговоров, вынесенных декабристам, загадочную формулировку „по первым двум пунктам”. Речь шла о мелком указе Петра I от 25 января 1715 г. (№ 2.877 в Полном Собрании Законов), согласно первым двум пунктам которого подданные обязывались доносить властям о действиях, наносящих вред государственным интересам, и в особенности о подстрекательстве к бунту. Такое скудное юридическое основание было подведено под судебное преследование против декабристов. „По первым двум пунктам” полагалась смертная казнь. Однако, признавая неравнозначность содеянного обвиняемыми, Комиссия разделила их на девять категорий, положив для каждой особенное название, от отдачи в солдаты до смертной казни через четвертование.

Ставивший порядок превыше всего Николай не мог примириться с таким положением. Он хотел, чтобы преступлениям против государства была дана точная дефиниция и назначено уместное наказание. Ответственность за выполнение сей задачи лежала на Сперанском, возглавлявшем Комиссию по составлению Свода Законов Российской Империи. Однако работа эта по необходимости была долгой, тогда как надо было тотчас принимать меры к недопущению повторения событий 14 декабря 1825 г.

Первым шагом явилось учреждение в империи постоянной полицейской службы. Для этого Николай создал в 1826 г. Третье Отделение Собственной Его Величества Канцелярии. Номинально задачей этого ведомства было призрение „вдов и сирот”, и официальный герб его — платок, врученный Нико-

лаем первому его главе, должен был символизировать осушение слез. На самом деле, однако, Третье Отделение представляло собой самую обыкновенную тайную полицию, запустившую щупальца во все слои общества, и в таком своем качестве бесспорно пролило больше слез, чем сумело высушить. Штат его был невелик и насчитывал в среднем от тридцати до сорока служащих, однако действительное число работников было куда больше. К примеру, Третье Отделение оплачивало услуги множества соглядатаев, посещавших салоны, кабаки, ярмарки и другие скопления публики; они поставляли собранную ими конкретную информацию, а также излагали свое общее мнение о настроениях общества. Во-вторых, при Третьем Отделении имелся Корпус жандармов численностью в несколько тысяч человек, облаченных в синие мундиры и белые перчатки, которыми командовал начальник Отделения. Непосредственной функцией жандармов являлась защита государственной безопасности; они представляли собой особую политическую полицию, отличную от обычных полицейских органов. Обязанности Третьего Отделения и жандармского корпуса не были четко определены, однако к ним определенно относились, помимо выявления и предотвращения подрывной деятельности, слежка за иностранцами и религиозными диссидентами и в какой-то степени цензура. Как и его предтеча, Преображенский приказ, оно было неподотчетно другим правительственным ведомствам и докладывало непосредственно самому императору. Основатели и первые начальники Третьего Отделения были из балтийских немцев (его первый глава А.Х. Бенкендорф и его помощник М.Я. фон Вок), однако вскорости им на смену пришли местные специалисты в данной области.

Другая из принятых в то время превентивных мер касалась цензуры. Николай был убежден в том, что основной причиной восстания декабристов было влияние на российскую молодежь „зловредных“, „праздных“ идей, и он твердо вознамерился закрыть им дорогу в страну. В России за правительством всегда признавалось право решать, что его подданные могут публиковать и читать. Однако до царствия Николая повод воспользоваться этим правом случался редко: до 1783 г. все печат-

ные станки принадлежали правительству либо церкви, и грамотная часть населения была столь невелика, что не стоило хлопот расследовать читательские вкусы. В XVII веке власти приказали уничтожить староверские книги, равно как и некоторое количество напечатанных в Киеве религиозных трудов, по мнению духовенства, засоренных латинизмами. В XVIII веке цензура была доверена Академии наук, которая настолько бережно пользовалась этими своими полномочиями, что до начала Французской Революции россияне могли читать все, что хотели. Впервые цензура проявилась по-настоящему в 1790 г., когда Екатерина изъяла „Путешествие” Радищева и велела посадить автора в тюрьму. При Павле множество иностранных книг было запрещено ввозу в Россию. Тысячи книг были сожжены. Но со вступлением на трон Александра I цензура снова почти захирела. Таким образом, цензурный кодекс, утвержденный Николаем в 1826 г., представлял собой весьма важное нововведение. Кодекс впоследствии подвергался изменениям; согласно ему, для распространения какого-либо печатного издания полагалось сперва заручиться разрешением одного из специально созданных „цензурных комитетов”. Для этого печатные материалы, публиковавшиеся в России в царствие Николая I, не только должны были не содержать „зловредных” идей, но и способствовать укреплению общественной нравственности — налицо ранний провозвестник „позитивной цензуры”, воцарившейся в России в 1930-х годах. Впоследствии цензурные правила то ужесточались (например, в 1848—55 г.г.), то смягчались (к примеру, в 1855—63 г.г.), но в разных формах цензура продолжала существовать в России вплоть до революции 1905 г., когда были отменены наиболее обременительные ее черты; она возродилась в полном своем блеске тринадцатью годами спустя. Несмотря на внушительный набор правил и большой бюрократический аппарат, нельзя сказать, что цензурные нормы применялись в Российской империи строго. Каждый, кто знаком с более современными формами преследований, изумится, обнаружив, что между 1867 и 1894 г.г., т.е. во времена консервативного царствования Александра III, к распространению в Рос-

сии было запрещено всего-навсего 158 книг. В одно десятилетие было отвергнуто около 2% рукописей, поданных на предварительную цензуру. Цензура иностранных изданий также была довольно либеральной. Из 93.565.260 экземпляров книг и периодических изданий, посланных в Россию из-за границы в одно из десятилетий конца XIX века, было задержано всего 9.386.* Все это говорит о том, что цензура в Российской империи была скорее досадной помехой, чем барьером на пути свободного движения идей.

Свод законов, над которым Сперанский трудился с начала Николаевского царствования, вышел в 1832 году. Том пятнадцатый этого собрания содержал Уложение о наказаниях, включавшее в себя также и преступления против государства. Однако, поскольку он всего-навсего расположил в каком-то порядке хаотический набор изданных на то время законоположений (в том числе и „два пункта” 1715 г.), Уложение сразу было признано негодным. Сперанскому была велено составить проект нового, систематизированного Уложения о наказаниях, однако он умер, не доведя дело до конца, и оно было поручено Д.Н. Блудову. Уложение, вышедшее в 1845 г., стало вехой исторической революции полицейского государства. О политических преступлениях речь шла в двух разделах: третьем („О преступлениях государственных”) и четвертом („О преступлениях и проступках против порядка управления”). Эти два раздела занимают 54 печатных страницы и представляют собой настоящий конституционный документ авторитарного режима. Законодательство других стран европейского континента также содержало подчас весьма детальные законоположения, касающиеся государственных преступлений (эта категория преступлений отсутствовала в английской и американской юриспруденции), однако нигде не придавалось им такое значение и нигде они не трактовались так и вольно широко, как в России. Согласно уложению 1845 г.,

1. Любая попытка ограничить власть самодержца или заменить существующий порядок правления, равно как убедить

* П.А. Зайончковский, Российское самодержавие в конце XIX столетия, М., 1970, стр. 299-301.

других совершить вышеозначенное или заявить открыто о подобных намерениях, либо укрывать лиц, виновных в сих преступлениях, содействовать им или не донести о них влекла за собой смертную казнь и лишение всех прав состояния (ст. 263-65 и 271);

2. Распространение словесное, письменное или печатное идей, которые, не являясь подстрекательством к бунту в вышеозначенном смысле, подвергают сомнению верховную власть или вызывают неуважение к государю или его престолу, было наказуемо лишением всех прав состояния и каторжными работами на время от четырех до двенадцати лет, равно как телесными наказаниями и наложением клейм (ст. 267 и 274).

Разделы третий и четвертый русского Уложения о наказаниях 1845 г. явились неистощимым источником всех тех туманных обобщений, которые с тех пор предоставляют полиции в России, зависимых от нее государствах и в тех странах, которые копируют ее государственное устройство, вполне законное право душить все проявления политического инакомыслия. Начиная с 1845 г. (с перерывом между 1905 и 1917 г.г.), не только попытки изменить существующий государственный строй и порядок управления, но и сама постановка вопроса об этом продолжают оставаться преступлением в России. Политика была законодательно объявлена монополией стоящих у власти; так теплившийся веками вотчинный дух, выразившись в аккуратных разделах, статьях и параграфах, наконец оброс плотью. Особенно важным новшеством было нежелание провести различие между поступком и умыслом, т.е. отсутствие четкой градации виновности, характерное для современных полицейских государств. Хотя „подвергнуть сомнению” существующее политическое устройство считалось менее тяжким преступлением, чем действительные попытки его изменить, то все же это был серьезный проступок, наказуемый каторжными работами, поркой и клеймением.

Начиная с 1845 г., во всех русских уголовных кодексах содержится подобная политическая часть, написанная таким расплывчатым языком, что на ее основании органы государственной безопасности могут подвергнуть заключению граж-

дан, виновных в таких нечетко определенных преступлениях, как „неуважение” к существующей власти и умысел „ослабить”, „подорвать” и „поставить ее под сомнение”. Сопоставление трех последовательных уголовных кодексов — 1845, 1927 и 1960 г.г. — рисует поучительную картину неизменности полицейской психологии в России вне зависимости от природы режима:

Уложение 1845 г., ст. 267 и 274 :

Изобличенные в составлении и распространении письменных или печатных сочинений или изображений с целью возбудить неуважение к Верховной власти, или же к личным качествам Государя, или к управлению Его государством, приговариваются как оскорбители величества: к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу в крепостях на время от десяти до двенадцати лет ... Участвовавшие в составлении или злоумышленном распространении таких сочинений или изображений подвергаются: тому же наказанию. Виновные в составлении сочинений или изображений сего рода, но не изобличенные в злоумышленном распространении оных, приговариваются за сие, как за преступный умысел: к заключению в крепости на время от двух до четырех лет... За составление и распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публично речей, в коих, хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против Верховной Власти, усиливаются оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав ее, или же дерзостно порицать установленный законами образ правления, или порядок наследия Престола, виновные в том подвергаются: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от четырех до шести лет...*

Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г., ст. 58¹ и 58¹⁰:

Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению [власти] ... основных хозяйственных, политических и национальных [мероприятий советского государства] ... Пропаганда и агитация,

* Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, СПб, 1845, стр. 65-66, 69. Эти статьи с небольшими изменениями были сохранены и в Уложении о наказаниях 1885 г.

содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, ... а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания, влекут за собою лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев.*

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., ст. 70:

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение или изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет... **

Законодательство такого типа и создаваемые для его проведения полицейские органы после революции 1917 г. получили распространение сперва в фашистской Италии и национал-социалистической Германии, а затем в прочих авторитарных государствах Европы и на других континентах. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что разделы третий и четвертый российского Уложения о наказаниях 1845 г. есть для тоталитаризма то же, что Магна Карта — для свободы.

При Николае I драконовские законы против инакомыслия проводились куда менее строго, чем можно было бы предположить. Аппарат насилия был еще слишком примитивен, чтобы полицейские власти могли действовать достаточно методично; для этого надобны были железные дороги, телеграф и телефон. А пока законодательство применялось кое-как; обычно лицо, подозреваемое со слов осведомителей в том, что суется в политику, задерживалось и после допроса в полиции либо отпускалось с предупреждением, либо на какой-то срок

* Собрание Кодексов РСФСР, Четвертое издание, Москва, 1927, стр. 665, 668.

** Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. В двух томах. М., 1963, т. 1, стр. 108.

ссылались в провинцию. Иногда допрос учинял сам император. С 1823 по 1861 г.г. к ссылке в Сибирь были осуждены 290.000 человек, из них 44.000 — к каторжным работам. Однако более девяти десятых ссыльных составляли уголовные преступники, бродяги, беглые крепостные и т.п. Быть может, всего лишь 5% (среди них декабристы) пострадали за преступления политического характера; немалую часть из них составляли польские патриоты.*

Со вступлением в царствование Александра II правительство сделало серьезную попытку положить конец своеволию бюрократического аппарата и полиции и превратить Россию в то, что немцы называли *Rechtsstaat* — государство, основанное на праве. Законность, открытость судебного заседания, суд присяжных и несмещаемость судей — таковы были лозунги, витавшие в воздухе 1860-х г.г. Завершенная в 1864 г. судебная реформа являлась по общему признанию наиболее успешной из Великих Реформ и единственная (за одним важным исключением, о котором речь ниже) дожила до конца царского режима без того, чтобы быть искромсанной всякими оговорками. После 1864 г. все виды *преступлений, включая политические*, сделались подсудными обычным судам; судебные заседания стали открытыми, а их материалы должны были публиковаться в официальном Правительственном Вестнике. Есть все основания полагать, что правительство Александра II надеялось на успех этой реформы; формальная законность является тем элементом либерального государства, который авторитарный режим может ввести, не подрывая собственных устоев.

Вскоре, однако, эти мероприятия стали саботироваться, и на этот раз не бюрократией, а радикальной интеллигенцией и ее прекраснодушными поклонниками среди просвещенной либеральной публики. Подсудимые на политических процессах скоро поняли, что им предоставляется великолепная возможность пропагандировать свои взгляды на всю страну с высокой судебной трибуны. Вместо того, чтобы защищаться, они нередко использовали свои процессы для произнесения

* С. Максимов, Сибирь и каторга, ч. 2, СПб, 1871, стр. 229, 305.

политических речей с нападками на государственный строй. На следующий день, как и положено, эти речи печатались в Правительственном Вестнике. Иногда, как, например, на так называемом Процессе Пятидесяти (1877 г.) обвиняемые отказывались признавать правомочность суда; в иных случаях (например, на процессе 133-х в 1877-78 г.г.) они забрасывали судей оскорблениями. Несмотря на такое поведение обвиняемых, правительство продолжало судить их открытым судом, часто — судом присяжных. Результаты, с его точки зрения, были весьма огорчительными. Присяжные по большей части имели весьма туманное представление о законности; симпатия и жалость к молодости подсудимых мешали им выполнять свои обязанности по выяснению виновности последних. Даже те, кто не одобрял методов, использовавшихся радикалами, крайне неохотно шли на вынесение обвинительного вердикта, полагая, что это поставит присяжных на сторону бюрократии и жандармов против молодых людей, которые хотя, быть может, и заблуждались, но, по крайней мере, выказывали идеализм и самоотверженность. Подсудимых часто оправдывали; даже в случае признания их виновными судьи склонялись к вынесению чрезвычайно мягких приговоров за действия, которые по западноевропейским уголовным кодексам наказывались весьма строго. Глядя на это ретроспективно, следует признать, что такая „политизация” правосудия русскими радикалами и их доброхотами явилась для России большой трагедией. Дело в том, что хотя статьи Уложения о наказаниях, касающиеся политических преступлений, содержали недопустимо широкие и расплывчатые формулировки и полагавшиеся за эти преступления наказания были чрезвычайно жестокими, тем не менее впервые в тысячелетней истории России правительство сделало попытку отдать свои претензии к частным гражданам на суд третьих лиц. В свое время из этой попытки могла бы вырасти настоящая система правосудия, даже для политических преступников, и, что еще важнее, — власть, основанная на законности. Использование предоставленных реформой 1864 г. возможностей не для укрепления судебной системы, а для преследования сиюминутных политических интересов сыграло на руку архиконсерваторам и тем чиновни-

кам, которые всегда считали независимое судопроизводство незаконнорожденной, „нерусской” идеей. Наиболее вопиющим примером подрыва законности либеральными кругами явилось дело террористки Веры Засулич, в январе 1878 г. тяжело ранившей из револьвера начальника санктпетербургской полиции. В данном случае прокурор старался, как мог, чтобы дело рассматривалось как уголовное, а не политическое. Тем не менее, несмотря на то, что виновность Веры Засулич в попытке совершить преднамеренное убийство была неопровержимо доказана, присяжные ее оправдали. Этот вердикт создал у каждого правительственного служащего ощущение, что он отныне является беззащитной мишенью для террористов; стрелять в чиновника по политическим мотивам перестало быть преступлением. Такое извращение правосудия вызвало враждебную реакцию со стороны Достоевского и либерального теоретика Бориса Чичерина, которые явно понимали лучше других своих современников нравственные и политические последствия того, что интеллигенция прилагает двойной стандарт к морали и правосудию. Теперь даже более либерально настроенным чиновникам стало ясно: правительство никак не может рассчитывать на то, что обычный суд и присяжные станут беспристрастно отправлять правосудие при рассмотрении дел, в которых каким-то образом замешана политика, вследствие чего были предприняты шаги к изъятию соответствующих дел из компетенции судов и разрешению их административными мерами. Если к судам еще и обращались, то уже без присяжных и без публики. К 1890 г. государственные преступления были вообще исключены из компетенции суда и с тех пор до самой революции 1905 г. решались административными мерами. Таким образом, на „прогрессивном” общественном мнении России лежит тяжкая ответственность за срыв единственной попытки в истории страны поставить дело так, чтобы правительство тягалось со своими подданными на равных.

Исследователи политической социологии отмечают, что, тогда как политические партии имеют тенденцию избавляться от экстремистов и постепенно перемещаются к центристской позиции, аморфные „движения” наоборот склонны подпадать

под влияние входящих в их состав крайних элементов. Движение под лозунгом „хождения в народ” обернулось полной катастрофой. Дело не просто в том, что агитаторам не удалось пробудить в крестьянине и рабочем ни малейшего интереса к своим идеям; эта неудача вскрыла более глубокое обстоятельство: она убедительно показала, что „трудящиеся массы” пропитаны приобретательским духом худшего буржуазного пошиба в сочетании с нравственным цинизмом и политической реакционностью.

От всего идеального образа русского мужика остались одни осколки. Разочарование побудило многих радикалов покинуть движение, однако возымело прямо противоположное действие на наиболее преданных его членов, только укрепив их стремление выработать тактику, которая сможет поставить правительство на колени.

В 1878—79 г.г. порешили на терроре. Радикальные теоретики доказывали, что волна покушений на высших правительственных чиновников достигнет двух целей: деморализует и, возможно, остановит правительственную машину, одновременно продемонстрировав крестьянству уязвимость монархии, на которую оно взирало с таким благоговением. Однако, раз начавшись, террор обрел инерцию, и его устроители скоро забыли о первоначальных целях. Всякая серия совершенных публично дерзких самоубийственных актов-покушений, взрывов бомб, самосожжений, угонов самолетов резонансом отдается в некоторых людях и заражает их необоримым желанием повторить то же самое. Начавшийся в 1878 г. и длившийся три года террор социалистов-революционеров продолжал усиливаться даже после того, как стало ясно, что ему не удастся ни парализовать правительство, ни побудить крестьян к бунту. Под конец он превратился в террор ради террора и осуществлялся (с замечательной ловкостью и отвагой) просто, чтобы доказать, что он осуществим; шел спор о том, у кого воля сильнее: у кучки радикалов или у всего истеблишмента империи.

По мере умножения террористических актов (причем на удивление большая их часть оказывалась успешной, поскольку система охраны правительственных чиновников была никауда

не годна) власти приходили в состояние, близкое к панике. Хотя действительное число террористов в каждый данный момент было совсем невелико (так называемый Исполнительный Комитет Народной Воли, включавший в себя все боевые силы организации, насчитывал около тридцати членов), такова уж психология авторитарного режима, что он склонен реагировать на прямой вызов куда более энергично, чем надобно. Такой режим в каком-то смысле подобен коммерческому банку, а его власть уподобляется форме кредита. Банк держит наготове лишь небольшую часть вверенного ему вкладчиками капитала, чтобы платить по текущим счетам, а остальное пускает в оборот. Вкладчики, знающие об этой практике, ничего против нее не имеют до тех пор, пока есть уверенность, что, когда бы они ни обратились в банк, свое они получают. Но стоит только банку не оплатить хотя бы один чек, как доверие к нему мигом рушится, клиенты валят толпой и требуют свои вклады. В результате банк терпит крах и вынужден отсрачивать платежи. Точно так же авторитарное государство добивается всеобщей покорности не потому, что у него хватает сил, чтобы поднять все брошенные ему перчатки, но потому, что у него их достаточно, чтобы поднять те, которые он ждет. Отсутствие решительных действий с его стороны приводит к потере престижа, вызов следует за вызовом и в результате ведет, так сказать, к политическому банковскому краху, известному под именем революции.

В своем стремлении ответить на угрозу, которую представляли собой террористы, царское правительство явно перестаралось. Где открыто, где тайно, оно взялось за введение контрмер, которые в своей совокупности замечательно предвосхищали современное полицейское государство и даже содержали в себе ростки тоталитаризма. Между 1878 и 1881 г.г. в России был заложен юридический и организационный фундамент бюрократическо-полицейского режима с тоталитарными обертонами, который пребывает в целостности и сохранности до сего времени. Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организационным

переменам лишь если падут на почву, готовую их принять.

В ответ на террор царское правительство первоначально обратилось за содействием к армии. 4 августа 1878 г. среди бела дня террорист ударил ножом и убил шефа жандармов на одной из петербургских улиц. Через пять дней правительство издало „временное” распоряжение — одно из многих, которым суждено было стать постоянными, — согласно которому дела о вооруженном сопротивлении правительственным органам и нападениях на государственных чиновников при исполнении теми служебных обязанностей впредь должны были передаваться военно-полевому суду и судиться по законам военного времени. Приговоры нуждались лишь в утверждении командира соответствующего военного округа. Таким образом, когда речь шла о терроре, правительство начинало рассматривать Россию как оккупированную вражескую территорию. Еще дальше шел не опубликованный и по сей день секретный циркуляр от 1 сентября 1878 г., перечислявший строгие превентивные меры* и уполномочивавший членов жандармского корпуса, а в их отсутствие и чинов полиции, задерживать и даже административно ссылая любое лицо, *подозреваемое* в политических преступлениях. Для того, чтобы сослать кого-либо в соответствии с этими инструкциями, жандармерия и полиция нуждались лишь в одобрении Министра Внутренних Дел или шефа жандармов; не было необходимости испрашивать санкцию прокурора. Циркуляр от 1 сентября во многих отношениях явился важным шагом на пути к созданию полицейского режима. До того времени, чтобы подвергнуться ссылке, гражданин России должен был совершить какое-то деяние (в эту категорию включались устные и письменные высказывания). Теперь же, чтобы удостоиться такой участи, ему достаточно было лишь возбудить подозрение. Эта мера явилась вторым столпом полицейского государства; первый был утвержден в 1845 г., когда занятие частного лица политической деятельностью было объявлено уголовным преступле-

* Он суммируется на основании архивных источников в П.А. Зайончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870–188-х годов, М., 1964, стр. 76-77.

нием. Ныне же это лицо считалось преступником даже если только создалось впечатление, что оно занимается такой деятельностью. Все это означало внесение профилактического элемента, являющегося кардинально важным для надежного функционирования любого полицейского государства. Во-вторых, наделение бюрократии и полиции широкими полномочиями приговаривать граждан России к ссылке повлекло за собой сужение полномочий монарха. Это была первая из принятых в этот критический период мер, которые (естественно, безо всякого умысла) передавали прерогативы, ранее принадлежавшие исключительно монарху, его подчиненным. И, наконец, предоставление чиновникам права использования судебной власти без консультации с прокурором ознаменовало начало перемещения юридических полномочий от Министерства Юстиции к Министерству Внутренних Дел.*

Эти чрезвычайные меры не остановили террористов. В апреле 1879 г. было совершено очередное покушение на жизнь царя, после чего правительство назначило в несколько главнейших городов империи „Временных генерал-губернаторов“, наделив их чрезвычайными полномочиями, распространяющимися на прилегающие провинции. Эти управители, обычно взятые из армии, получили власть предавать военному суду и административно высылать не только лиц, заподозренных в вынашивании умысла против правительства и его чиновников, но и тех, кто, как считалось, были настроены против „общественного спокойствия“. Таким образом, корона передавала своим подчиненным еще одну часть своих полномочий.

В начале 1880 г. переодетый плотником революционер сумел пронести в Зимний дворец большое количество взрывчатки, которую он подорвал 5 февраля под царской столовой. Только поздний приезд Александра II спас его от того, чтобы быть разорванным на куски. То, что террористы сумели пробраться в самый императорский дворец, показало вне всякого сомнения, насколько недостаточны были принятые меры охраны. Действительно, Третье Отделение было слишком мало, скуд-

* Уже в феврале 1873 г. управление всеми гражданскими тюрьмами было передано этому министерству.

но финансировалось и работало до смешного плохо. В августе 1880 г. штат его насчитывал всего 72 служащих, и даже из них не все были заняты политическим сыском. Немалая часть скудного бюджета расходовалась на контрпропаганду. В вопросе о том, кто чем занимается, царила полная неразбериха, когда речь шла об охране государственной безопасности. Корпус жандармов подчинялся Третьему Отделению, входившему в состав императорской канцелярии, однако свои военные функции он исполнял под началом военного министерства; обычная же полиция руководилась Министерством Внутренних Дел.

Вследствие этого в августе 1880 г. по рекомендации генерала Лорис-Меликова Третье Отделение было вообще ликвидировано и заменено центральной политической полицией, сперва именовавшейся Департаментом государственной полиции, а с 1883 г. — просто Департаментом Полиции. Административно новое ведомство входило в состав Министерства Внутренних дел, которое отныне стало главным стражем государственной безопасности в России. Список обязанностей нового Департамента был замечательно обширен. Департамент должен был печься об охране общественной безопасности и порядка и пресечении государственных преступлений. В дополнение к сему на него возлагалась ответственность за охрану государственной границы, выдачу паспортов, надзор за проживающими в России иностранцами и евреями, а также кабаками, противопожарными инструментами и взрывчатыми веществами. Он также имел широкие полномочия „по утверждению уставов разных обществ и клубов и разрешению публичных лекций, чтений, выставок и съездов”.* Департамент был разбит на несколько отделов, один из которых занимался „тайными” делами, т.е. политическим сыском. Под началом Департамента находились три жандармские дивизии со штабами в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве, а также целый ряд специализированных подразделений. Штат его оставался небольшим: в 1895 г. Департамент Полиции имел 161-го постоянного служащего, а численность жандармского корпу-

* Свод законов Российской империи, т. 1, ч. 1, кн. V, СПб, 1892, стр. 40, ст. 362.

са продолжала составлять менее 10 тыс. человек. В 1883 г., однако, полиция, насчитывавшая около 100 тыс. чинов, получила приказ всячески содействовать жандармерии, что резко увеличило личный состав последней. Министр Внутренних Дел был по должности шефом жандармов, но в действительности руководство ими осуществлял один из его заместителей, именовавшийся Директором Департамента Полиции и Командиром Корпуса жандармов. 9 июня 1881 г. был издан приказ, по которому жандармерия выходила из-под начала губернаторов и генерал-губернаторов и должна была подчиняться исключительно шефу полиции. Эта мера ставила жандармский корпус вне обычного административного аппарата и давала ему возможность жить по своим собственным законам. Департамент Полиции и корпус жандармов продолжали заниматься исключительно политическими преступлениями, и когда их члены нападали на след уголовного правонарушения, они передавали дело полиции. Раз в год шеф жандармов представлял императору отчет о кампаниях, проведенных его ведомством против подрывных элементов, читавшийся, как военная сводка.

Чтобы облечь своевластные действия Департамента Полиции в покровы законности, Министр Внутренних Дел ввел в его состав особый „Судебный отдел“. Этот орган занимался юридической стороной дел, попадавших в сферу деятельности Министерства Внутренних Дел, т.е. преступлений, наказуемых на основании политических статей Уложения о наказаниях и не передававшихся в обычные суды, а также совершенных в нарушение многочисленных чрезвычайных и временных законов, изданных в те годы.

В 1898 г., когда после многих лет затишья вновь появились признаки оживления политической жизни и возникло опасение возобновления терроризма, „тайный“ отдел Департамента Полиции образовал „Особое отделение“ — сверхсекретный орган, который должен был служить нервным центром кампании против подрывных элементов. Это отделение вело непрерывную слежку за революционерами в России и за границей и устраивало хитроумные провокации для их выявления. Штаб-квартира отделения располагалась на четвертом этаже

дома № 16 на Фонтанке и охранялась с большой строгостью; доступ в него имели только сотрудники.

Наконец, 14 августа 1881 г. правительство упорядочило статус охранных отделений (или, сокращенно, охранок), образованных в 1870-х г.г.; они также боролись с революционерами, причем делали это на довольно высоком профессиональном уровне. Формально являясь частью жандармского корпуса, они, видимо, действовали совершенно самостоятельно.

У Департамента Полиции было несколько заграничных отделений, главное из которых находилось в русском посольстве в Париже; в их задачу входила слежка за русскими эмигрантами. Местные полицейские власти нередко оказывали этим заграничным филиалам содействие из политических симпатий или корысти.

Хорошо продуманная и весьма гибкая система политической полиции, созданная в России в начале 1880-х г.г., была уникальная в двух отношениях. До Первой мировой войны ни в одной другой стране мира не было двух видов полиции: одной для защиты государства, а другой — для защиты его граждан. Только страна с глубоко укоренившейся вотчинной психологией могла додуматься до такой двухъярусной системы. Во-вторых, в отличие от других стран, где полиция действовала как орудие закона и обязана была передавать арестованных судебным властям, единственно в царской России полицейские органы были свободны от этой обязанности. С 1881 г. там, где речь шла о политических преступлениях, жандармский корпус не подлежал судебному надзору; контроль за его деятельностью носил бюрократический, внутриведомственный характер. Члены его имели право производить обыски, заключать граждан в тюрьму и подвергать их ссылке своей собственной властью, без санкции прокурора. В 1880-х годах весь обширный набор преступлений, считавшихся политическими, стал в основном караться административными мерами, которые принимались органами безопасности. Эти две черты делают полицейские учреждения позднего периода царской России предтечами и, через посредство соответствующих коммунистических институтов прототипами всех органов политической полиции двадцатого века.

В своих ответных мерах на террор правительство Александра II не ограничилось репрессиями. В его административных сферах имелся ряд высокопоставленных чиновников, достаточно дальновидных для понимания того, что репрессии, не сопровождаемые какими-то конструктивными мероприятиями, окажутся бесплодными, а может быть, и пагубными.

Не один раз в царствование Александра серьезно обдумывали проекты реформ, представленные правительственными чиновниками или влиятельными общественными деятелями. Эти проекты ставили себе целью в различной степени и разными способами привлечь к выработке политических решений тех, кого в то время звали „благонадежными” членами общества. Одни — призывали к расширению Государственного Совета за счет включения в него выборных представителей; другие — предлагали созыв совещательных органов типа земских соборов Московской Руси; третьи — рекомендовали проведение реформы местного управления, которая бы расширила компетенцию земств и предоставила дворянам-землеладельцам дополнительную возможность участия в общественной деятельности. Надеялись, что подобные меры смогут изолировать крошечные группки террористов и вызвать к злоключениям правительства сочувствие образованного общества, в котором до сих пор наталкивались на равнодушие, перемешанное со злорадством. Среди выступавших за подобные меры чиновников были Министр Внутренних Дел П.А. Валуев, военный министр Д.А. Милютин и генерал Лорис-Меликов, получивший в последний год царствования Александра II буквально диктаторские полномочия. Сам император относился к этим предложениям не без благосклонности, но не спешил с их проведением, так как столкнулся с сильным сопротивлением со стороны рядовых чиновников, равно как и своего сына и престолонаследника — будущего Александра III. Радикалы невольно содействовали этому консервативному крылу; всякий раз, когда они совершали очередное покушение на жизнь царя или убивали какого-нибудь высокопоставленного чиновника, противники политических реформ получали возможность настаивать на еще более строгих полицейских мерах и дальнейшем откладывании коренных преоб-

разований. Будь они даже на жалованьи у полиции, террористы не могли бы лучше преуспеть в предотвращении политических реформ.

Противодействуя политическим реформам, бюрократия боролась за свое существование. С точки зрения ее привилегий, и в земствах ничего хорошего не было, так как они расстраивали плавный поток директив, струившийся из Петербурга в самые отдаленные провинции. Если бы представителей обществуности пригласили к участию в законодательстве, пусть даже только в совещательной функции, бюрократия впервые оказалась бы под каким-то общественным контролем; это бы явно была немалая помеха, могущая даже привести к подрыву ее власти. Сомнения ее не были поколеблены даже уверениями, что речь идет только о самых „благонадежных” элементах. Русские монархисты того времени, хотя и были настроены против конституции, отнюдь не жаловали бюрократию. Они по большей части находились под влиянием славянофильских идей и рассматривали бюрократию как инородное тело, безо всякого на то права вставшее между царем и народом.

Благодаря архивным разысканиям П.А. Зайончковского, мы теперь более или менее осведомлены о дискуссиях, которые шли в правительстве в тот решающий период.* Аргументы противников политических реформ сводились к следующим основным моментам:

1. Привлечение к управлению представителей обществуности, в центре или в губерниях, в законодательной или чисто совещательной функции, внесло бы разноречивость в структуру руководства и дезорганизовало бы управление. Если уж на то пошло, то для поднятия эффективности руководства земства следовало бы упразднить.

2. В силу своих географических и социальных особенностей Россия нуждалась в системе управления, скованной минимумом ограничений и контроля. Русским чиновникам следовало бы предоставить широкие дискреционные полномочия,

* Две его основные монографии по данному вопросу указываются в сносках на стр. 170 и 179.

а полицейское „правосудие” надо было бы отделить от судов. Последняя точка зрения высказывалась закоренелым консерваторм Д.А. Толстым, бывшим с 1882 г. по 1889 г. Министром Внутренних Дел:

Редкое население России, раскинутое на огромной территории, неизбежная вследствие сего отдаленность от суда, низкий уровень экономического благосостояния народа и патриархальные обычаи жизни нашего земледельческого класса — все это такие условия, которые требуют установления власти, *нестесненной в своих действиях излишним формализмом*, способной быстро восстановить порядок и давать по возможности немедленную защиту нарушенным правам и интересам населения.*

3. Вынужденные политические реформы были бы истолкованы как признак слабости и способствовали бы дальнейшему ослаблению государственной власти. Этот аргумент использовался даже таким сравнительно либеральным чиновником, как Лорис-Меликов. Выступая против учреждения в России представительных учреждений, он писал:

*По глубокому моему убеждению, никакое преобразование, в смысле этих предположений, не только не было бы ныне полезно, но, по совершенной своей несовременности, вредно ... Самая мера имела бы вид вынужденной обстоятельствами и так была бы понята и внутри государства, и за границею.***

4. Введение в любой, даже самой консервативной форме представительных учреждений ознаменовало бы первый шаг по направлению к конституционному правлению; за первым неминуемо последовали бы другие шаги.

5. Опыт представительных учреждений за границей показывает, что они не располагают к стабильности; что бы там ни говорили о парламентах, они только мешают управлять как следует. Этот аргумент казался особо привлекательным престолонаследнику.

* Министерство Внутренних Дел, Исторический очерк, СПб, 1902, стр. 172. Документ, датированный 1886 г. Курсив наш.

* Былое, № 4/5, 1918, стр. 158-9.

Чтобы выйти из спора с победой, противники политических уступок всячески преувеличивали размах крамолы в стране, запугивая императора призраком разветвленного заговора и смуты, т.е. рисуя картину, весьма далекую от действительности. Как будет показано ниже, фактическое число лиц, занимавшихся антиправительственной деятельностью, было до смешного невелико; при всей своей широчайшей власти жандармы не сумели выявить сколько-нибудь значительного числа смутьянов. Однако апелляция к страху помогла заставить Александра II отказаться следовать рекомендациям своих более либеральных советников.

Истинными правителями России были ... шеф жандармов Шувалов и начальник санктпетербургской полиции Трепов. Александр II выполнял их волю, он был их орудием. Они правили посредством страха. Трепов так запугал Александра призраком революции, которая вот-вот разразится в Санкт-Петербурге, что стоило всесильному шефу полиции опоздать на несколько минут к своему ежедневному докладу во дворце, как император начинал допытываться, все ли тихо в столице.*

Александр ближе всего подошел к тому, чтобы сделать уступку обществу в 1880—81 г.г., когда согласился с одним предложением Лорис-Меликова. В дополнение к глубоким переменам в губернском управлении, Лорис-Меликов предложил создать в Санкт-Петербурге несколько выборных комитетов, которые бы обсудили ряд насущных вопросов, в том числе — о провинциальном управлении, крестьянском хозяйстве, продовольственном снабжении и финансах страны. По завершении своей работы эти специализированные комитеты должны были образовать общую комиссию, которая бы консультировала правительство. Это предложение часто неверно называемое „конституцией Лорис-Меликова” (выражение, придуманное в целях его дискредитации Александром III), было вполне скромным, однако вело к весьма значительным последствиям. Россия вступала в неведомое, и кто мог предсказать,

куда приведет ее этот путь. Даже Александр, одобряя предложение, пробормотал что-то о русских Генеральных Штатах. Он должен был подписать указ о созыве комитетов Лорис-Меликова 1 марта 1881 г., но в тот день был убит бомбой террориста.

Убийство Александра II уберегло бюрократию от того, чего она более всего боялась: от участия общественности в принятии политических решений. После минутного колебания Александр III решил, что порядок будет восстановлен не путем дальнейших уступок, а более жестокими репрессивными мерами. Проекты реформ прекратились; новый Министр Внутренних Дел Н.П. Игнатьев, неблагоразумно предложивший Александру III созвать сословный съезд по типу Земских соборов Московской Руси, был незамедлительно уволен с должности. Вотчинный принцип, пребывавший в опале с середины XVIII века, вновь выплыл на поверхность. „Государство” с тех пор понималось как царь и его чиновники, а внутренняя политика стала означать защиту оных от поползновений со стороны общества.

Быстрая серия чрезвычайных мер завершила подчинение общества деспотической власти бюрократии и полиции.

14 августа 1881 года Александр III узаконил своей подписью наиболее важный законодательный акт в истории императорской России между отменой крепостного права в 1861 году и Октябрьским Манифестом 1905 г. Этот документ, оказавшийся более долговечным, чем оба вышеупомянутых акта, кодифицировал и систематизировал проведенные в предыдущие годы репрессивные меры и сделался настоящей конституцией, по которой (кроме как в периоды мимолетных просветов) по сей день управляет Россия. Этот важнейший юридический документ, вполне в духе российской законодательной практики, небрежно стиснут в Собрании Узаконений и Распоряжений между директивой, утверждающей мелкие изменения в уставе Российской Компании страхования от пожаров, и распоряжением, касающимся руководства техническим институтом в Череповце.* Полностью он назывался

* Собрание узаконений и распоряжений правительства, СПб, 1881, датированное 4 сентября 1881 г., № 616, стр. 1553-65.

„Распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных местностей империи в состояние Усиленной Охраны”. В начальных параграфах распоряжения говорится о том, что обычных законов для сохранения порядка в империи оказалось недостаточно, поэтому появилась нужда в определенных „чрезвычайных” мерах. В своей конструктивной части оно полностью сосредотачивает борьбу с подрывной деятельностью в руках Министерства Внутренних Дел, где она в большой степени пребывает и поныне. Предусматриваются два вида особых положений: „Усиленная Охрана” и „Чрезвычайная Охрана”. Полномочиями вводить Усиленную Охрану наделялись Министерство Внутренних Дел и, при его согласии, генерал-губернаторы. „Чрезвычайная Охрана” нуждалась в утверждении царем и кабинетом. Условия, при которых могло вводиться то или иное положение, четко не оговаривались.

При Усиленной Охране генерал-губернаторы, губернаторы и городские губернаторы имели право принять любую из нижеперечисленных мер (или все сразу): заключить любого жителя в тюрьму на срок до трех месяцев и наложить на него штраф до 400 рублей; запретить все публичные и частные сборища; закрыть все торговые и промышленные предприятия либо на какой-то определенный период, либо на время действия чрезвычайного положения; отказать каким-либо лицам в праве селиться в данной местности; передать смутьянов в руки военной юстиции. Затем, им была дана власть объявить любое лицо, служащее в земстве, городском управлении или в суде, неблагонадежным и потребовать его немедленного увольнения. Наконец, органы местной полиции и жандармерии уполномачивались задерживать на срок до двух недель всех лиц, „внушающих основательное подозрение” с точки зрения государственной безопасности. В случаях, когда правительство усматривало необходимость введения Чрезвычайной Охраны, оно назначало Главнокомандующего, который в дополнение к вышеуказанным полномочиям получал право смещать с должности выборных земских депутатов (в отличие от наемных служащих) или даже вообще закрывать земства, а также увольнять любых чиновников ниже высших

трех рангов. Последний пункт был включен неспроста. В момент выхода данного узаконения Министр Внутренних Дел Игнатьев полагал, что среди чиновников и их отпрысков таятся многие из крупнейших смутьянов страны, и предложил периодически „вычищать” неблагонадежных лиц с государственной службы. При Чрезвычайной Охране Главнокомандующий также мог временно прекращать публикацию периодических изданий и закрывать сроком до месяца высшие учебные заведения. Он мог подвергать подозреваемых заключению сроком до трех месяцев и налагать штраф до трех тысяч рублей. То же распоряжение значительно расширяло полномочия жандармерии в местностях с Усиленной или Чрезвычайной Охраной.

Значение этого законодательства было, видимо, лучше всего подытожено словами человека, который, будучи главой Департамента Полиции с 1902 по 1905 г.г., немало сделал для проведения его в жизнь, а именно А.А. Лопухина. Выйдя на пенсию, он опубликовал весьма примечательный очерк, в котором заявил, что Распоряжение от 14 августа 1881 года „поставило все население России в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции”. Таким образом, там, где речь шла о государственной безопасности, объективного критерия виновности больше не существовало: виновность устанавливалась на основании субъективного мнения полицейских чиновников.* Хотя формально данное распоряжение было „временным”, со временем действия в три года, каждый раз перед истечением этого срока его снова продлевали, и так до самого конца царского строя. Немедленно после введения Распоряжения от 14 августа в десяти губерниях, в том числе в столичных городах Санкт-Петербурге и Москве, была объявлена Усиленная Охрана. После 1900 года число таких губерний увеличилось, а во время революции 1905 г. некоторые местности были поставлены под Чрезвычайную Охрану. После подавления революции, при премьер-министре П. Столыпине, Распоряжение было в той или иной форме

* А.А. Лопухин, Настоящее и будущее русской полиции, М., 1907, стр. 26-27.

распространено на все части империи, практически сводя на нет положения о гражданских правах, содержащиеся в Октябрьском Манифесте, а затем — в думском законодательстве.*

С 14 августа 1881 года Россия оставалась автократической монархией лишь формально. Как писал Струве в 1903 г., действительная самобытность России по сравнению с прочим культурным миром заключалась „во всемогуществе политической полиции”, которая стала сущностью русского самодержавия; он предсказывал, что стоит упразднить эту подпорку, как самодержавие падет само по себе, кому бы ни принадлежала самодержавная власть.** Ему вторил Лопухин: в полиции, писал он, — „заключалась вся сила покончившего свое существование режима”, — и добавлял пророчески: „К ней первой он прибегнет в случае попытки к его возрождению”.** Парадокс заключался в том, что планомерное наступление на права граждан, совершавшееся во имя государственной безопасности, не упрочивало власть монарха; выигрывал не он, а бюрократия и полиция, которым приходилось давать все более широкие полномочия для борьбы с революционным движением. Поскольку угроза никак не соответствовала мерам, принятым для ее отражения, положение выглядело несколько абсурдно. Когда в феврале 1880 г., в самый разгар террора, Лорис-Меликову были даны диктаторские полномочия, полиции было известно менее 1.000 случаев преступной антиправительственной деятельности — и это на империю с почти 100 миллионами подданных!

Трудно передать, до какой степени вмешивалась полиция в русскую жизнь позднего монархического периода. Одним из мощнейших видов оружия в руках полиции были имевшиеся у нее полномочия выдавать справки о благонадежности, которыми граждане должны были запастись перед тем, как поступить в университет или на „ответственную” должность.

* П. Милюков, Очерки по истории русской культуры, 6-е изд., СПб, 1909, 1, стр. 216-17.

** П.Б. Струве, „Россия под надзором полиции”, Освобождение, т. 1, № 20/21, 18 апреля/ 1 мая 1903, стр. 357.

*** Лопухин, Настоящее и будущее ..., стр. 5.

Получив отказ в такой справке, российский житель обрекался на положение гражданина второго сорта, а иногда просто вынуждался присоединиться к революционерам. Затем, предварительно не получив разрешения от полиции, нельзя было заниматься многими видами деятельности. В 1888-89 г.г. хорошо осведомленный американский комментатор Джордж Кеннан (двоюродный дед своего тезки и однофамильца, бывшего в более поздний период послом США в Москве) составил следующий список ограничений, которым подвергался русский гражданин в конце 1880-х г.г.:

Если вы русский и хотите основать газету, вы должны испросить разрешение у Министерства Внутренних Дел. Если вы желаете устроить воскресную и любую другую школу, в Богом забытой ли петербургской трущобе, или в туземной деревушке на Камчатке, вы должны испросить разрешение Министерства Народного Просвещения. Если вы хотите устроить концерт или представление на нужды сиротского приюта, вам следует испросить разрешение у ближайшего представителя Министерства Внутренних Дел, затем представить программу представления в цензуру на утверждение или исправление и, наконец, передать выручку от зрелища полиции, которая ее промотает или даже, может быть, отдаст приюту. Если вы хотите продавать на улице газеты, вы должны заручиться разрешением, зарегистрироваться в полиции и носить на шее медную номерную бирку величиною с блюдце. Если вы хотите открыть аптеку, типографию, фотоателье или книжную лавку, вы должны получить разрешение. Если вы фотограф и желаете перенести свое предприятие на новое место, вы должны получить разрешение. Если вы студент и приходите в публичную библиотеку, чтобы справиться с „Принципами геологии” Лиеля или „Социальной статистикой” Спенсера, вы обнаружите, что без специального разрешения вы не сможете даже взглянуть на столь опасные, крамольные книги. Если вы врач, перед тем, как начать практику, вы должны получить разрешение; потом, если вы не хотите ходить на вызовы ночью, вы должны получить разрешение отвечать на них отказом; далее, если вы хотите прописать то, что в России называется „сильнодействующим” лекарством, вы долж-

ны иметь особое разрешение, иначе аптекари не осмелятся воспользоваться вашим рецептом. Если вы крестьянин и желаете выстроить на своем участке баню, вы должны получить разрешение. Если вы желаете молотить зерно вечером при свечах, вы должны получить разрешение или дать взятку полиции. Если вы хотите отъехать от своего дома более, чем на 15 миль, вы должны получить разрешение. Если вы иностранный путешественник, вы должны получить разрешение въехать в Империю, разрешение выехать из нее, разрешение находиться в ней более полугода и должны всякий раз извещать полицию, если меняете гостиницу. Короче говоря, вы не можете жить, передвигаться и функционировать в Российской Империи без разрешения.

Полиция, возглавляемая Министерством Внутренних Дел, при помощи паспортов контролирует передвижения всех жителей Империи; она постоянно держит под наблюдением тысячи подозреваемых; она устанавливает и свидетельствует в суде задолженность банкротов; она распродает невыкупленные у ростовщиков заклады; она выдает удостоверения личности пенсионерам и всем другим нуждающимся в них лицам; она заведует починкой дорог и мостов; она надзирает за всеми театральными представлениями, концертами, живыми картинами, театральными программами, афишами и уличной рекламой; она собирает статистику, следит за исполнением санитарных правил, проводит обыски и изъятия в частных домах, перлюстрирует корреспонденцию подозреваемых, распоряжается найденными трупами, „журит“ верующих, слишком долго не ходивших к причастию, и заставляет граждан покорно выполнять тысячи разнообразных приказов и распоряжений, призванных способствовать благосостоянию народа и упрочению безопасности государства. Законодательные акты, касающиеся полиции, заполняют более пяти тысяч параграфов Свода Законов, или собрания российских законов, и вряд ли будет преувеличением сказать, что в крестьянских селениях, вдали от центров образования и просвещения, полиция является вездесущим и всесильным распорядителем всего поведения человека, выступая в виде негодной бюрократической

*замены божественного Провидения.**

Другим важным источником полицейской власти было данное ей декретом от 12 марта 1882 г. право ставить любого гражданина под гласный надзор. Относящееся к данной категории лицо именовалось „поднадзорным” и должно было сдать все свои документы в обмен на особое удостоверение, выдаваемое полицией. Ему запрещалось переезжать без разрешения полиции, а его жилище могло подвергнуться обыску в любое время дня и ночи. Поднадзорный гражданин не мог поступить на казенную службу и занимать какую-либо общественную должность, состоять в частных организациях, преподавать, читать лекции, владеть типографией, фотолабораторией или библиотекой и торговать спиртными напитками; он мог практиковать медицину, заниматься акушерством и фармакологией только по лицензии Министерства Внутренних Дел. То же министерство решало, может ли он получать почту и телеграммы.** Поднадзорные россияне представляли собой особую категорию — граждан второго сорта — и стояли вне закона и за пределами обычной администрации, живя под прямым диктатом полиции.

Вышеописанные меры безопасности подкреплялись уголовным законодательством, характер которого вел к тому, что русская юриспруденция имела явную тенденцию становиться на сторону правительства. Кеннан делает следующие замечания (в истинности которых легко удостовериться) об Уложении о наказаниях 1885 г.:

Для того, чтобы составить представление о чрезвычайной строгости законов по защите Священной Особы, Достоинства и Верховной Власти Царя, достаточно лишь сравнить их с законами, содержащимися в Разделе X и охраняющими личные права и честь частных граждан. Из такого сравнения выясняется, что повреждение портрета, статуи, бюста или иного изображения Царя, выставленных в публичном месте, являет-

*

** Собрание узаконений и распоряжений правительства, СПб, 1882 г., датированное 16 апреля 1882 г., № 212.

ся более предосудительным преступлением, чем нападение на частного гражданина и нанесение ему увечий в виде лишения глаз, языка, руки, ноги или слуха. [Сравните Параграф 246 с Параграфом 1477.] Организация либо участие в обществе, ставящем себе целью свержение правительства либо изменение формы правления, даже если такое общество не замышляет использования насилия либо каких-то конкретных действий, есть преступление более тяжкое, чем частичное лишение человека умственных способностей посредством побоев, дурного обращения или пыток. [Сравните Параграф 250 с Параграфом 1490.] Произнесение речи либо написание книги, оспаривающей либо подвергающей сомнению неприкосновенность прав или привилегий Верховной Власти является таким же серьезным правонарушением, как насилие над женщиной. [Сравните Параграф 252 с Параграфом 1525.] Простое укрывание лица, виновного в злоумышлении против жизни, благополучия или чести Царя, либо предоставление убежища лицу, замыслившему добиться ограничения прав и привилегий Верховной Власти, является более серьезным делом, чем предумышленное убийство собственной матери. [Сравните Параграф 243 с Параграфом 1449.] Наконец, по мнению уголовного уложения, частное лицо, составляющее либо распространяющее карикатуры на Священную Особу Царя с целью возбудить неуважение к его личным качествам или к его управлению империей, совершает более ужасное преступление, чем тюремщик, насильничающий над беспомощной и беззащитной заключенной девушкой пятнадцати лет, пока она не умирает в камере. [Сравните Параграф 245 с Параграфами 1525, 1526 и 1527.]*

В систему политических преследований входила и ссылка. Она могла быть назначена либо по приговору суда, либо административным решением и имела несколько степеней суровости. Самой мягкой была ссылка под гласный надзор полиции в деревню или в отдаленную губернию на какой-то опреде-

ленный срок. Более суровым был приговор к ссылке на поселение в Сибирь (Западная Сибирь считалась куда более мягким местом наказания, чем Восточная). Ссылкопоселенцы были по сути дела свободными людьми, могли работать по найму и иметь с собой семьи. У кого были деньги сверх скудного казенного пособия, те могли жить совсем недурно. Худшей формой ссылки была каторга (от греческого *katergon*, „галера“). Такого рода каторжные работы были учреждены Петром Великим, который использовал преступников на постройке судов, в шахтах, на строительстве Петербурга и вообще везде, где требовался бесплатный труд. Приговоренные к каторжным работам жили в тюремных казармах и выполняли тяжелую работу под конвоем. Достоевский, отсидев на каторге, оставил незабываемое описание ее в „Записках из мертвого дома“. После 1886 года эксплуатация принудительного труда (включая труд заключенных) регулировалась особыми инструкциями, направленными на то, чтобы сделать ее доходной для государства. В 1887 г., к примеру, она принесла Министерству Внутренних Дел общий доход на сумму в 538.820 рублей, из которой после оплаты расходов оказалось чистой прибыли 166.440 рублей. 82 коп. *

Так много разных чиновников могли своей властью приговорить обвиняемых к ссылке, что статистику по этому виду наказания отыскать сложно. По подсчету, приведенному в Энциклопедическом Словаре Брокгауза и Эфрона (который обычно является надежным источником), в 1890 годах в Сибири было 300.000 ссылных всех категорий, составлявших 5,2% всего населения, а также 14.500 заключенных на каторжных работах.**

Однако, как и в первой половине XIX века (стр. 24), лишь малая часть этих заключенных была осуждена за политические преступления. Зайончковский, имевший доступ в соответствующие архивы, цитирует официальные отчеты, согласно кото-

* Министерство Внутренних Дел, Исторический очерк, стр. 215.

** Энциклопедический Словарь Об-а Брокгауз и Эфрон, „Ссылка“, т. XXXI, СПб, 1900, и „Каторга“, т. XIV а, СПб., 1895.

рым в 1880 г. во всей Российской империи лишь около 1.200 человек были приговорены к ссылке за политические преступления; из них 230 проживали в Сибири, а остальные — в Европейской части России; всего 60 человек находились на каторжных работах (эти цифры не включают более 4 тыс. поляков, сосланных за восстание 1863 г.). В 1901 г. общее число сосланных по суду и административно политических ссыльных всех категорий выросло до 4.113, из которых 3.838 находились под гласным надзором полиции, а 180 — на каторжных работах.*

Чтобы завершить картину запретительных мер, учрежденных правительством Александра III, следует упомянуть о мероприятиях, входивших в категорию так называемых „контрреформ”, целью которых, по общему признанию, было выхолостить великие реформы Александра II. Среди них были ограничение полномочий земств, упразднение мировых судей и назначение „земских начальников” — местных чиновников с большой дискреционной властью над крестьянами. На евреев, которые, как считалось, более других подвержены крамоле, в царствование Александра III обрушилась вся мощь дискриминационных законов, написанных давно, но до сей поры применявшихся нестрого.

Таким образом, в начале 1880-х г.г. в царской России наличествовали все элементы полицейского государства. Их можно суммировать следующим образом:

1. Политика была объявлена вотчиной правительства и его высокопоставленных чиновников; вмешательство в нее со стороны неуполномоченных на то лиц, то есть всех частных граждан, являлось преступлением и наказывалось в соответствии с законом;

2. Надзор за соблюдением этого принципа был поручен Департаменту Полиции и Жандармскому корпусу, который занимался исключительно антиправительственными преступлениями;

3. Эти органы государственной безопасности имели власть:

а. обыскивать, задерживать, допрашивать, заключать в тюрь-

* Зайончковский, Кризис самодержавия ... стр. 184, 296, и Российское самодержавие, стр. 168.

му и ссылать лиц, виновных в политической деятельности или подозреваемых в оной;

б. отказывать в выдаче гражданам свидетельств о благонадежности, без которых те были лишены права заниматься многими видами деятельности, включая посещение высших учебных заведений и службу в общественных и казенных учреждениях;

в. надзирать за всеми видами культурной деятельности граждан и утверждать уставы общественных организаций;

4. Исполняя свои обязанности, Департамент Полиции и Жандармский корпус не подлежали надзору со стороны юридических органов; они также были изъяты из юрисдикции гражданской администрации, на территории которой они функционировали;

5. Используя имевшиеся в его распоряжении средства, такие как гласный надзор, сибирская ссылка и каторжные работы, аппарат политической полиции мог частично или полностью изолировать инакомыслящих от остального общества;

6. Никакая литература не могла быть напечатана в России или проникнуть в нее без разрешения цензора;

7. Министр Внутренних Дел имел полномочия объявить любой район империи в состоянии Усиленной Охраны, когда временно отменялись нормальные законы и институты и все население начинало жить на чрезвычайном положении; точно так же высшие губернские чиновники получили власть с разрешения Министра предавать инакомыслящих военно-полевому суду.

Но это еще не все. В первые годы двадцатого столетия царское правительство провело ряд пробных мероприятий, шагнувших за пределы полицейского режима и вступивших в еще более зловещее царство тоталитаризма. При полицейском режиме политическая деятельность поставлена вне закона, и органы безопасности наделяются практически неограниченными полномочиями для надзора за исполнением этого запрета. Такая система по сути своей оборонительна; она создается для отражения враждебных поползновений. Тоталитаризм отличается более конструктивным подходом; включая в себя все элементы полицейского государства, он идет

далее них, стараясь преобразовать общество таким образом, чтобы все общественные институты и проявления общественной жизни, даже не имеющие политического звучания, попали под контроль бюрократии или, точнее, аппарата государственной безопасности. Во всем усматривается политический смысл, и все ставится под контроль.

Попытка, о которой идет речь, связана с именем Сергея Зубатова и обычно рассматривается как один из самых причудливых эпизодов напряженной борьбы между царским режимом и революционерами. В более широкой исторической перспективе, однако, Зубатов, видимо, внес немалый вклад в технологию авторитарной политики и заслужил видное место в списке политических первопроходцев.

Зубатов (род. в 1866 г.) в юности, кажется, был каким-то образом замешан в крамольной деятельности. У нас не так много достоверных фактов из его биографии, но где-то в середине 1880-х годов он, видимо, поступил в Департамент Полиции и постепенно был повышен сперва до должности начальника Московской Охраны, а затем — Особого Отделения. По уму и прозорливости он стоял много выше заурядных полицейских и жандармских чинов, с которыми ему приходилось иметь дело. Он был первым по-настоящему профессиональным работником службы безопасности в России. Зубатов привел с собой в организацию старательных молодых сотрудников и назначил их руководить отделениями охраны, которые он учредил во всей стране. Он ввел такие новшества, как снятие отпечатков пальцев и фотографирование арестованных. Кроме того, у него была своя философия. Будучи убежденным анархистом, он считал своим долгом защищать Россию от революционеров, поскольку боялся, что они развоят страну (в 1917 г., услышав об отречении царя, он пустил себе пулю в лоб). Зубатов полагал, что полиция не должна ограничиваться предупреждением и подавлением крамолы и что ей следует активно внедряться в общество. Являясь поклонником Бисмарка, он желал установления в России своего рода социального монархизма, при котором корона встала бы во главе рабочего класса. Внимательное изучение нарождающегося рабочего движения убедило его (как и Ленина, но

с противоположными результатами) в том, что у русских рабочих не было политических устремлений, и он стал экспериментировать с профсоюзами, создававшимися под эгидой полиции. Между 1901 и 1903 г.г. он, при большой поддержке в высших сферах, создал многочисленные профсоюзные организации под покровительством полиции. Результаты были вне всяких ожиданий. Рабочие, получившие, наконец, возможность бороться за свои экономические интересы, не рискуя подвергнуться аресту, повалили в зубатовские профсоюзы — первые легальные ассоциации рабочих в истории России. Особенной популярностью он пользовался среди рабочих-евреев. До поры до времени дело шло хорошо, но в конце 1903 года Зубатов впал в немилость и был смещен, пав жертвой бюрократических интриг и протестов со стороны промышленников, возражавших против того, чтобы агенты полиции поддерживали их бастующих рабочих.*

Придуманная Зубатовым метода была чрезвычайно плодотворной. Если бы ему позволили продолжать в том же духе, он мог бы основать под водительством полиции всевозможные виды ассоциаций. Ведь он какое-то время уже экспериментировал со студенческими обществами, находившимися под крылышком у полиции. В конце концов можно было бы соорудить парламент, состоящий исключительно из полицейских чинов или назначенных ими лиц. Таким образом органы безопасности приобрели бы поистине творческую роль в жизни страны. Однако эта увлекательная тема выходит за хронологические рамки нашего исследования.

И тем не менее, в конечном итоге трудно было бы утверждать, что царская Россия являлась стопроцентным полицейским государством, скорее она являлась предтечей, грубым прототипом такого режима, ей было далеко до законченной его формы. В системе было слишком много прорех, происходивших большей частью от того, что правящая элита России восприняла западные институты и ценности, от которых не

* Наиболее полное описание деятельности Зубатова см. в

желала отказываться, несмотря на их несовместимость с восточным духом. Эти прорехи в значительной степени сводили на нет весь внушительный набор репрессивных мер, введенных в 1870—80-х гг.

Среди вышеупомянутых противовесов, пожалуй, наиболее важным была частная собственность. Этот институт появился в России довольно поздно, однако быстро пустил в ней глубокие корни. Хотя царский режим преследовал своих подданных за мельчайшие политические провинности, он старательно избегал затрагивать их право собственности. Когда А. Герцен публиковал в Лондоне „Колокол“, приводивший власти в крайнее раздражение, рента регулярно поступала к нему из России через международный банк. Мать Ленина, после того как один из ее сыновей был казнен за попытку царевубийства, а двое других детей сели в тюрьму за революционную деятельность, до самой смерти продолжала получать казенную пенсию, полагавшуюся ей как вдове государственного служащего. Наличие частного капитала и частных предприятий сводило на нет многие полицейские меры, направленные на то, чтобы лишить неблагонадежные элементы средств к существованию. Неблагонадежное лицо почти всегда могло устроиться в какой-нибудь частной фирме, администрация которой либо не симпатизировала правительству, либо была политически нейтральной. Некоторые радикальнейшие литераторы России получали средства от чудаковатых богачей. Земства открыто нанимали радикальных интеллигентов учителями. „Союз Освобождения“ — подпольное общество, сыгравшее ведущую роль в подготовке революции 1905 г., — также финансировался из частных источников. Благодаря частной собственности, по всей территории империи создались уголки, куда полиция была бессильная ступить, поскольку законы, бесцеремонно попиравшие права личности, строго охраняли право собственности. В конечном итоге, попытки Зубатова учредить „полицейский социализм“ в царской России никогда не увенчались бы успехом, поскольку рано или поздно им суждено было бы пойти в разрез с интересами частных собственников.

Другой прорехой были заграничные поездки. Разрешенные

дворянам в 1785 г., они постепенно были позволены и другим сословиям. Их не запрещали даже в периоды свирепейших преследований. Николай I пытался их ограничить, угрожая лишить дворян, в возрасте от 10 до 18 лет, учившихся за границей, права поступать на казенную службу. В 1834 г. он потребовал, чтобы дворяне ограничили свое пребывание за границей пятью годами, а в 1851 г. он сократил этот срок до двух лет. Уложение о наказаниях содержало положения, согласно которым российские граждане обязаны были вернуться из-за границы, если на то будет приказ правительства. Однако проку от всех этих мер было немного. Россияне часто ездили в Западную Европу и жили там подолгу; в 1900 г., например, 200 тысяч русских провели за границей в среднем по 80 дней. В вильгельмовской Германии они составляли самую многочисленную группу иностранных студентов. Для получения заграничного паспорта надо было всего-навсего послать заявление местному губернатору и уплатить небольшую пошлину. Паспорта легко выдавались даже лицам, на которых имелось досье в связи с их крамольной деятельностью, очевидно, в предположении, что за границей от них будет меньше хлопот, чем на родине. Нет ничего удивительного в том, что глава и боевой штаб революционной партии, захватившей власть в России в октябре 1917 г., много лет пребывали в Западной Европе.

В-третьих, существовали мощные факторы психологического характера, не дававшие использовать машину репрессий в полную силу. Воспитанная в западном духе правящая элита царской России боялась позора. Она избегала чересчур жестких мер, опасаясь быть поднятой на смех цивилизованным миром. Она ужасно смущалась, если даже в своих собственных глазах вела себя „по-азиатски”. Элита империи была явно неспособна употребить силу и не думать при этом о последствиях. Существует чопорная до трогательности записка Николая II, в своем роде эпитафия его царствованию, которую он послал в конце 1916 г. родственникам, вступившимся за великого князя, замешанного в убийстве Распутина: „Ни-

кто не имеет права заниматься убийствами”*. Такое представление об этике и полицейский режим как-то не вязались друг с другом.

Результатом этого конфликта между старой вотчинной психологией и современными западными влияниями явилось то, что вездесущий, назойливый и подчас жестокий полицейский аппарат в конечном счете был малодейственным. Власть, данная политической полиции, никак не соответствовала достигаемым ею результатам. Мы уже видели кое-какие статистические данные о политических преступлениях, согласно которым число лиц, находившихся под надзором и в ссылке, и перехваченных цензором книг было крайне невелико. За все 1880-е годы за политические преступления были казнены всего 17 человек, все — за покушения или попытку совершить оные. В царствование Александра III, бывшее периодом жестоких репрессий, в связи с политическими преступлениями было задержано и допрошено всего 4 тысячи человек. В свете обширности России и огромных размеров созданной для борьбы с крамолой полицейской машины эти цифры кажутся весьма незначительными.

Главным — и совсем незапланированным — свершением этого прототипа полицейских режимов явилась радикализация русского общества. Политическое преступление было определено столь широко, что далеко раскинутые сети полицейских мероприятий захватывали и объединяли людей, не имевших почти ничего общего между собой. С юридической точки зрения не проводилось никакого различия между консервативной, националистической, либеральной, демократической, социалистической и анархической формами недовольства. Помещик-монархист, разъяренный компетентностью или взяточничеством бюрократии у себя в уезде, в глазах закона и жандармерии превращался в союзника анархиста, готовящего бомбу для взрыва императорского дворца. Своими запретительными мерами правительство по сути дела толкало граждан в ряды оппозиции, где они становились восприимчивыми к экс-

тремистским лозунгам. Например, законы 1880-х г.г. запрещали студентам объединяться в какие-либо ассоциации. Одиночество, нужда и естественная жажда общения неизбежно приводили к тому, что молодые люди искали компании своих сверстников и в нарушение закона создавали сообщества, которые не могли существовать иначе, как подпольно, а потому в них легко проникали радикалы и начинали ими верховодить. Так же обстояло дело и с трудовым законодательством. Строжайший запрет на создание рабочих ассоциаций обращал даже самую безобидную профсоюзную деятельность в антиправительственное преступление. Рабочих, интересы которых в противном случае ограничивались бы самообразованием и улучшением своего экономического положения, толкали в объятия радикальных студентов, которым они в принципе не доверяли и которых недолюбливали. Таким образом, трудами самого правительства было совершено на первый взгляд невозможное: сложился союз представителей всех слоев общественного мнения, от славянофилов справа до социалистов-революционеров слева, который под именем Освободительного Движения сумел в 1902-05 г.г. вырвать у правительства конституцию.

Проницательные современники не могли не заметить, что существующее законодательство отнюдь не вело к искоренению революционной деятельности, а, напротив, ей содействовало. Среди тех, кто предвидел губительные последствия такой политики, был уже цитировавшийся выше бывший директор Департамента Полиции Лопухин. В 1907 г. он пророчески писал:

При отсутствии элементарных научных понятий о праве, при знакомстве с общественной жизнью только в ее проявлениях в стенах военной школы и полковых казарм все политическое мировоззрение чинов корпуса жандармов заключается в представлениях о том, что существуют народ и государственная власть, что последняя находится в непрестанной опасности со стороны первого, что она подлежит от этой опасности охране и что для осуществления таковой все средства безнаказанно дозволены. Когда же такое мировоззрение совпадает со слабо развитым сознанием служебного долга

*и неспособностью по умственному развитию разобраться в сложных общественных явлениях, то основанные на нем наблюдения останавливаются только на внешних признаках этих явлений, не усваивая внутреннего их содержания, и потому всякое явление — общественно принимает характер для государственной власти — опасного. Вследствие чего охрана государственной власти в руках корпуса жандармов обращается в борьбу со всем обществом, а в конечном результате приводит к гибели и государственную власть, неприкосновенность которой может быть обеспечена только единением с обществом. Усиливая раскол между государственной властью и народом, она создает революцию. Вот почему деятельность политической полиции представляется не только враждебной народу, но и противогосударственной.**

Теоретически, разумеется, монархия могла вернуться к порядкам Московской Руси, экспроприировать всю частную собственность, взнудать все классы государственной повинностью — тяглом, отгородить Россию от остального мира непроницаемой стеной и объявить себя Третьим Римом. Такие преобразования закрыли бы прорехи, превращавшие полицейскую систему России в посмешище. Но для этого понадобилась бы настоящая социальная и культурная революция. В силу своего воспитания правители России не подходили на роль вершителей подобных катаклизмов. На это нужны были новые люди с иной психологией и иными ценностями.

В исторической литературе обрисованная выше репрессивная система обычно сопровождается эпитетом „реакционной”. Методы, однако, сами по себе нейтральны. Тактика подавления инакомыслящих может быть использована режимами „левой” ориентации с такой же готовностью, что и режимами, ходящими в „правых”. Проверенная опытом и признанная успешной, она наверняка будет применена любым правительством, которое, все равно на каком основании, отведет себе право на политическую монополию.

Точно так же, как тактика массированного прорыва бронетанковыми частями, впервые примененная англичанами у

* Лопухин, Настоящее и будущее, ... стр. 32-33.

Камбрэ, но толком ими дальше не использованная, была усовершенствована их противниками-немцами во Второй мировой войне, полицейские методы, неуверенно вводившиеся в России царским режимом, впервые были с полным размахом применены его бывшими жертвами — революционерами. Пришедшие в октябре 1917 г. к власти в России люди выросли при режиме „чрезвычайных” и „временных” законов; то была единственная конституция, которую они знали. За каждым из них в прошлом следила политическая полиция царского правительства, она обыскивала их, арестовывала, держала в тюрьмах и приговаривала к ссылке. Они сражались с цензурой и имели дело с засланными в их среду провокаторами. Они прекрасно знали систему изнутри и, значит, ее недочеты и прорехи. Их представление о том, каким должно быть правительство, было зеркальным отражением царского режима, и прозванное им „крамолой” она нарекли „контрреволюцией”. Задолго до прихода к власти социал-демократы вроде Ленина и Плеханова не делали секрета из того, что не видят греха в убийстве своих идеологических противников.*

Посему не было ничего удивительного в том, что почти сразу после прихода к власти большевики начали выстраивать заново разрушенный недолго правившим демократическим Временным Правительством аппарат царской политической полиции. Политический сыск, Чека, был официально учрежден в декабре 1917 г., однако неофициально его функции выполнялись со дня переворота Военно-Революционным Комитетом. Чека получила гораздо более широкие полномочия, чем имели в прошлом Департамент Полиции, охрана и корпус жандармов, и неограниченное право расправляться с теми, кого она зачисляла по своему усмотрению в „контрреволюционеры”. В сентябре 1918 г., с провозглашением красного террора, он в один день расстрелял более 500 „врагов государства”, частью заложников, частью людей, виновных единственно в том, что по рождению они принадлежали не к тем социальным слоям. В течение двух месяцев после захвата власти боль-

*

шевиками умолкла оппозиционная печать и были выданы ордера на арест ведущих политических противников. Уже тогда поговаривали о концентрационных лагерях для „смутьянов”, и вскоре был снова введен принудительный труд.

Как уже отмечалось выше (стр. 172-173), Уголовный кодекс 1926 г. содержал санкции против антиправительственных преступлений, которые ни по широте трактовки, ни по суровости существенно не отличались от законов, принятых царским режимом.

Все это было сделано сразу после захвата власти. Затем карательная машина с каждым годом совершенствовалась, до тех пор, пока при диктатуре Сталина повальное уничтожение людей не достигло размаха, невиданного в истории человечества.

Приступив немедленно после прихода к власти к восстановлению полицейского государства, Ленин и его соратники — революционеры безусловно считали такие шаги чрезвычайными мероприятиями — точно так же, как думало в свое время царское правительство. Они полагали, что Чека, „ревтрибуналы”, массовые казни, лагеря принудительного труда, ссылки, цензура и тому подобные репрессивные институты необходимы для того, чтобы выкорчевать последние остатки царского режима. С выполнением этой задачи вновь созданные институты будут ликвидированы. Однако „временные” репрессивные меры коммунистов постигла та же участь, что и мероприятия их предшественников: их регулярно продлевали, и огульное использование связанных с ними насильственных акций постепенно перестало иметь какое-либо отношение к порядку, который они были призваны охранять. Если бы большевистские вожди читали больше книг по истории и меньше полемических трактатов, они сумели бы предвидеть такой результат.

Ибо идея в том, что политика может быть отгорожена от превратностей жизни и монополизирована какой-либо группой или идеологией, в условиях современного мира бесперспективна. Любое правительство, упорствующее в этом заблуждении, будет вынуждено давать все большую власть своему полицейскому аппарату и в конце концов падет его жертвой.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕЗАПАДНЫХ СТРАН

1. Духовная модернизация

В Японии на рубеже XX века оказались рядом и переплелись влияния реализма, натурализма и модернистских течений „конца столетия”. В России 60-х годов XIX века столкнулись другие пласты: просвещение Чернышевского и Добролюбова (точнее говоря — второе просвещение), романтизм Тютчева, реализм Тургенева и Гончарова, примерно одноэтапный гонимому. Различия очевидны, но общее то, что два века европейской истории оказались сплюснутыми вместе так, что получилось гротескное сочетание несовместимых в европейском времени явлений — сочетание, тяготевшее к неожиданному сплаву с какими-то новыми, неожиданными свойствами.

Японский пример помогает понять, что одновременность Тургенева и Чернышевского, работа их в одном журнале — со школьных лет известный и привычный факт — в сущности парадокс, почти как если бы Руссо издавал журнал совместно с Флобером. Из этой фантастической ситуации вытекает и острота конфликтов (не смягченных временем) и нераздельность противников, связанных одной цепью. Два века живут рядом, бьются над решением одних и тех же проклятых вопросов, сталкиваются в журнальных схватках и, наконец, отождествляются, сливаются в одной творческой личности.

Гротескная ситуация 60-х годов бросала вызов широте духа, способной охватить ее в целом, и на этот вызов ответили (каждый по-своему) Достоевский и Лев Толстой. Только вне собственно Запада (хотя, разумеется, не всюду) синтез нескольких направлений своего времени мог стать фантасти-

ческим по широте синтезом Нового времени в целом — от Руссо до Золя и от Вольтера до Кафки. „Неправильная” литературная ситуация (система синхронных противопоставлений, „свивших вместе обе половины времени”) оказалась не только трудной, мучительной, затруднявшей формирование таланта,* но и плодотворной (если, конечно, талант был достаточно сильным, „способным вместить”).

В социологии развития втягивание новых народов и стран в отношения, которые складывались в Европе в XVII—XIX веках, называется *модернизацией*. Содержание этого процесса примерно совпадает с тем, что Маркс и Энгельс называли буржуазным развитием. Но в XX веке обнаружилась возможность некапиталистического пути, и поэтому теория модернизации может вынести за скобки вопрос о классе-гегемоне. Ею подчеркиваются общие сдвиги: дифференциация культуры, возникновение независимого от религии научного знания, замена сакрального отношения к жизни деловым, рациональным, дифференциация экономики, индустриализация, урбанизация и т.п. Все это примерно соответствует формуле Базарова: „Природа не храм, а мастерская...” — и таким образом возвращает к вопросам, над которыми приходится думать, занимаясь русской литературой.

Можно возразить, что подобные сдвиги происходили с древнейших времен. Однако теоретики отвечают на это, что до XVII века эти сдвиги были спорадическими, локальными и не сливались в единый процесс. То, что условно названо модернизацией, — *это ускоренный и непрерывный процесс рационализации человеческих отношений с природой*, происходивший, действительно, только начиная с XVII века.

Таким образом, переход к новому времени жестко фиксируется не только хронологически, но и географически: очагом модернизации признается небольшая группа стран (Англия, Голландия, Скандинавия, Франция). Страны, оказавшиеся захваченными рефеодализацией, — Германия, Италия так же, как Испания, — трактуются в качестве „Незапада”. Услов-

* Легче выразить то, что в самой жизни состоялось, приобрело устойчивые формы.

ность такого деления очевидна. Но для тех целей, для которых определение создано, оно хорошо работает. Испанская и португальская колонизация распространили только феодальные, средневековые европейские порядки. Цивилизация нового времени стала всемирной только с началом голландской, английской, французской экспансии.

Граница между Западом и Незападом по Рейну не абсолютна, но она имеет некоторые эвристические достоинства. Жестко очертив ядро модернизации, мы подчеркиваем контраст между инициаторами процесса и странами, в *данное время* (каким бы ни было прошлое) воспринимающими импульс модернизации извне, странами, для которых секуляризация сознания, разрушение святынь, распад архаических связей между людьми выступают как вторжение чуждой идеологии. Разумеется, это не снимает различия между зонами модернизации (Центральная Европа, Восточная Европа, отдельные области Азии, Африки) и отдельными странами внутри каждой зоны. Но прежде, чем подойти к особенному, попытаемся рассмотреть общее.

* * *

Лестница истории культуры (Ренессанс, барокко, классицизм, Просвещение, сентиментализм, романтизм, позитивистский реализм) на Западе скомкана, как гармошка; типологически родственные явления сливаются (барокко оказывается неотделимым от романтизма, Просвещение — от позитивизма или социализма и т.д.). В наиболее резко выраженных случаях возникают две альтернативные контаминации: просветительски-западническая и романтически-почвенническая. В каждой из них стянуты вместе несколько этапов западного развития. Эти контаминации вновь и вновь всплывают в истории стран, где модернизация затянулась, как бы подменяя „западное” движение по спирали — „восточным” движением по замкнутому кругу.

Уже в Германии Ренессанс оказался скомканным, в России же его и вовсе не было. Гете и Пушкину приходилось решать задачи, на Западе решенные в XVI–XVII веках (создавать

литературный язык, искать выражения социального и духовного сдвига в специфической для XVI—XVII веков форме трагедии и т.д.). В итоге они как бы живут сразу в двух-трех литературных эпохах. Как автор „Вертера”, Гете вписывается в сентиментализм XVIII века. Как автор „Кавказского пленника”, Пушкин вписывается в историю байронической поэмы. Но как автор „Фауста” Гете выпадает из времени и перекликается с елизаветинцами; а Пушкин в „Маленьких трагедиях” естественно продолжает один из жанров Возрождения (что никак не удавалось Гюго или Байрону). Можно заметить какой-то ренессансный подсвет и в лирике Пушкина; она как бы заново совершает „открытие мира и человека”, и если бывает горькой и разочарованной, то скорее в духе поэтов Плеяды или шекспировских сонетов, чем на байронический лад.

Этот сдвиг нельзя свести к славянской „отзывчивости” (ибо мы находим его и у немца Гете) или к „личной широте” одного-двух гениев: вся русская литература XIX века оказывается и синхронной, и асинхронной европейскому развитию. Поверхностные слои ее синхронны Европе, глубочайшие же — развиваются по своей внутренней логике, сжато повторяющей последовательность европейского развития за несколько веков в специфической для всего Незапада, смешанной и уплотненной форме”.

„Тарас Бульба” — романтическая повесть, вызванная к жизни Вальтером Скоттом; но нельзя свести к влиянию Гофмана „Нос” и „Шинель”. Гофмановский человек прошел через классицизм и Просвещение, отталкивается от них — а гоголевский „майор” Ковалев о них попросту не знает. Гофман любил гротеск XVII века (Калло, например), а Гоголь непосредственно близок к XVII веку, типологически скорее барочен, чем романтичен. Константин Аксаков увлекся, сравнивая Гоголя с Гомером, но какая-то первозданность, какая-то дорационалистичность, допросвещенность в Гоголе действительно есть.

Когда Достоевский написал „Бедных людей” и заставил Макара Девушкина обидеться за Акакия Акакиевича и критиковать автора „Шинели”, то обнаружилось, что в гоголевском мире никому и в голову не приходили права человека и гражд-

данина. С точки зрения европейских темпов развития третьего сословия, в Макаре Девушкине сделан шаг от смешных буржуа Мольера к достойному маленькому человеку Гольдсмита и Ричардсона, т.е. примерно в 100 лет. Отсюда восторг Белинского, прочитавшего „Бедных людей”, и отсюда его же недоумение, а потом негодование, когда Достоевский не захотел продолжать начатое и занялся какими-то диковинными экспериментами.

Между тем, Достоевский, автор „Бедных людей”, был в то же время переводчиком „Евгении Гранде” и, по-видимому, чувствовал, что его роман, так новаторски выглядевший в России, по западному счету стоит рядом с „Клариссой Гарлоу” (и по духу, и по своей эпистолярной форме). Русский европеец Достоевский, как и весь его круг, был втянут в духовную жизнь Запада,* искал ответа на вопросы, поставленные Бальзаком и еще не выросшие из самой жизни дореформенной России. Не находя „реальных” бытовых персонажей и ситуаций, отвечавших его интересам, он шаг за шагом все больше изменял реализму, с которого начал (реализму XVIII века), и уходил в мир призраков, созданных воображением.

Белинский этого не понял и не мог понять. С точки зрения логики европейского развития, возвращение к романтизму, только что изжитому, есть бесплотное эпигонство, и великий критик, со всей свойственной ему прямоотой, приписал фантастику „Хозяйки” полному упадку таланта, на который он когда-то возложил большие и не оправдавшиеся надежды.

* * *

Вторая общая черта духовной модернизации незападных стран — это ее „анклавность”, вклинивание островков современности в средневековую систему. Западные страны модернизировались в целом, всей системой переходя от эпохи к эпохе, успевая „просветиться” до низов, до санкюлотов, и поэтому не было надобности повторять пройденное. И дей-

* Яркий пример этой духовной захваченности Западом: Петрашевский пытался в крепостной деревне построить фаланстер.

ствительно, второго Просвещения во Франции не было. Сама идея такого повторения представляется нелепой: рядом с Гюго для Вольтера нет места. Напротив, в России было дворянское Просвещение (Радищев и декабристы), потом разночинное („два социалистических Лессинга“) и на рубеже XX века — нечто вроде третьего Просвещения, захватившего национальные окраины и городские низы.* Каждый раз новое Просвещение сталкивалось со старой интеллигенцией, успевшей отойти от прямолинейной идеологии модернизации к более сложным конструкциям, и возникали своеобразные конфликты, которых не знал Запад (например, спор Достоевского с Добролюбовым и Чернышевским, споры вокруг „Вех“ и т.д.).

В модернизированном анклавe происходит процесс развития, параллельный европейскому, но он сталкивается не просто со старым косным обществом, а еще как бы со своим собственным прошлым, с волнами движений, возникших на периферии общества и повторяющих заново то, что в центре уже было пройдено. Эта фантастическая для Запада картина — реальность для России. Романтизм Достоевского возмущал Белинского, как тень Банко, явившаяся в редакции „Отечественных записок“, а нигилисты 60-х годов казались Достоевскому дьявольским кошмаром именно потому, что он сам прошел через нечто подобное.

* * *

Третья черта модернизации — это почвенный характер западной романтической реакции на Просвещение. В Англии и Франции романтическое движение сохраняет универсализм Просвещения. Оно углубляется в средневековье, но не обязательно собственное. Романтический идеал может быть найден на чужбине, например, на Востоке. Просвещение не было для англичан и французов чем-то чужим, от которого бегут к своему, родному. Скорее наоборот, западный романтик склонен бежать с просвещенной родины. И только к востоку от Рейна положение меняется. Для большинства немцев Просвещение

* В романе М. Булгакова „Мастер и Маргарита“ оно пародийно представлено фигурами Берлиоза и Бездомного.

пришло извне, вторглось в Германию вместе с армиями Наполеона и его кодексом, противоречившим германскому праву; оно силой расчищало „авгиевы конюшни” немецкого феодализма. И в результате возник особый немецкий романтизм со своеобразным почвенным привкусом. Слово „почвенничество” изобретено в России, но впервые именно в Германии возникло острое чувство беспочвенности, разрушения национальных основ, и поиски собственной традиции выступили в романтизме на первое место, оттеснив назад Восток, экзотику, романтическую даль.

Гейне говорил как-то, что французский патриотизм расширяет сердце, а немецкий его сужает. То же можно сказать о романтизме. Западные романтики были филэллинами, незападными стали германофилами, славянофилами и т.п. Вместо знамени борьбы за свободу чужого народа, под которым умер Байрон, они подняли каждый свое знамя; и это знамя легко становится знаменем ксенофобии. „Французоедский” стереотип, созданный немцами, с очень небольшими вариациями повторяется (или изобретается заново) почвенными движениями Востока.

Особенно инвариантен набор *обвинений*, которые сначала выдвигались против Франции. Он просто переносится на Западную Европу в целом (включая Германию) или на белую расу в целом (включая русских) и т.д.* Несколько более вариативна похвала собственным добродетелям**, но и в ней можно проследить общепочвеннический стандарт.

Запад всегда безнравственный, порочный, гнилой, растленный. Ему противостоит этически полноценный немец, „верный росс” и т.д. Иногда почвенничество признает возможным заимствование западной техники, но так, чтобы не повредить

* Несколько лет тому назад в Южной Африке прошло религиозное шествие, несшее хоругвь с надписью: „Белые распяли Иисуса Христа”. Надо заметить, что в африканской иконографии Христос часто черный; таким образом, *белые* (в глазах некоторых участников шествия) *распяли черного Христа*.

** Ср., например, В. Солоухин, „Письма из русского музея”, М., 1967, стр. 116.

нравы. Отсюда китайский и японский лозунг: „Восточная этика, западная техника”.

Если этическое превосходство сомнительно, его дополняет религиозное превосходство. Достоевский, например, признавал, что мужики пьянствуют, лгут, воруют, но у них остается сознание греха, способность к покаянию и очищению. Поэтому они, в конечном счете, и нравственнее, неспособны на такие страшные преступления, как дисциплинированные немецкие мещане или русские интеллигенты, потерявшие веру в Бога.

Отдаленным предшественником Достоевского был Кальдерон, любимый трагик немецких романтиков. В „Поклонении Кресту” Кальдерон сталкивает два характера: разбойника, который грабит, убивает, насилует, но никогда не забывает перекреститься, и ученого монаха, своего рода интеллигента средних веков, который мухи не обидел, но усомнился в символах веры. Разбойник, после некоторых перипетий, попадает в рай, интеллигент — в ад. При этом Кальдерон не считает нужным доказывать, что сомнение в символах веры может привести к убийству или, по крайней мере, создать идейную атмосферу убийства (как в „Братьях Карамазовых”). Это для него просто аксиома, очевидность.

Несмотря на все отличия, Кальдерона и Достоевского вдохновляет одна и та же идея, возникшая в ответ на обезбоженное научное мирозерцание. На Западе научное мирозерцание, развиваясь рядом с религиозными движениями и реформами, практически сживается с христианской по происхождению этикой. На Незападе внезапно появившаяся наука сталкивается с религией, совершенно не готовой к диалогу. Ситуация заостряется, и возникает выбор: либо окаменевшая традиция (с заповедями), либо свобода научной мысли (без всяких заповедей). „Если Бога нет, то все позволено”. В этой обстановке всякая интеллигентность, всякая затронутость западным свободомыслием воспринимается как пагуба и бесовщина. Это не индивидуальное, а всемирно-историческое заблуждение, ставшее почвой трагических коллизий в жизни и в искусстве.

Иногда индивидуальное этическое превосходство незапад-

ного человека дополняется превосходством незападных социальных систем, основанных на соборности (Россия), или всеобщем долге перед императором (Япония), или на сельской общине. Джулиус Ньерере, вероятно, не читал Бакунина и Герцена, но он обосновывает африканский социализм так же, как они обосновали русский социализм.

Наконец, сухой рассудочности Запада противопоставляется эмоциональное богатство Незапада: немецкая задушевность, русская широта, японское чувство чая* или то, что „негр думает, танцуя” (Л.С. Сенгор).

В наиболее резких и вульгарных формах почвенничества представление о Западе доводится до уровня беседы странницы Феклуши в „Грозе” Островского : „Все-все несправедно”. Просвещенное почвенничество, напротив, понимает достоинства европейской культуры и недостатки собственной „почвы”. Идея „борьбы с Западом” уступает тогда идее синтеза европейского рационализма и незападной эмоциональности.

В просвещенном почвенничестве обнаруживается рациональное зерно почвенничества вообще. По сути дела, почвенничество — своеобразная форма протеста против *отчуждения*, которое несет с собой Новое время, против бесчеловечных сторон общественного развития: если воспользоваться выражением современного почвенника В. Солоухина — против отрыва людей друг от друга и от неба. Почвенничество, как и всякий романтизм, фантастично и часто реакционно; оно пытается остановить развитие, которое остановить невозможно, и предлагает для этого негодные средства. Но во многом почвенничество право, и оно должно быть понято в своей истинности, а не только в своих ошибках и предрассудках.

* * *

Сила почвенничества прежде всего в критике современной цивилизации как законченного и безусловного идеала. Досто-

* Трудно переводимый оборот, ассоциирующийся с чайной церемонией и буддизмом дзэн, с любованием природой и искусством. Ср. Окакуро Какудзо „Книга о чае”.

евский сделал это с исключительной глубиной, потому что он глядел на Европу одновременно изнутри, как европеец, и извне, как неевропеец, чужак. Этот двойной взгляд лучше проникал в действительность, чем воззрения чисто европейские (в том числе и русско-европейские — Тургенева, Гончарова). Почвенничество Достоевского, его антиевропейские убеждения (в сочетании с великолепным знанием европейской культуры и чувством кровной связи с ней) оказались здесь чрезвычайно плодотворными.

Далее, сила почвенничества в критике методов *распространения* современной цивилизации. Западничество сеет прогрессивные идеи, принципы, учреждения, уверенное в том, что они *должны* привиться, а почвенничество ставит вопрос, что в данных условиях *может* привиться. Опыт парламентских учреждений в Пакистане, Нигерии, Гане показывает, что это далеко не праздный вопрос.

Сила почвенничества в ощущении внутренней логики культуры, которая нелегко меняется и если меняется, то не всегда так, как это было намечено, вырастая из новых учреждений, в строгом соответствии с планом.

Наконец, сила почвенничества в его установке на внутренний мир человека, на его полусознательные и бессознательные ценности и привязанности. Западничество как бы предлагает переехать на новую квартиру, а почвенничество отвечает эмоционально, по-обломовски: мне нравится старая, я к ней привык, и я не знаю, привыкну ли к новой! Западничество предлагает „капитальный дом по контракту на тысячу лет и с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске”, а почвенничество ретроградно, иррационально отказывается. Западничество толкает вперед, в царство крупнопанельных и крупноблочных удобств, а почвенничество тоскует по рябине, которая смотрелась в перекошенное старое окно перекошенного старого дома. Западническая точка зрения очевидно плодотворнее для плановика, вынужденного решать неотложный вопрос о переселении миллиона людей из подвалов. Но для писателя важнее всего как раз то, от чего плановик отвлекся. И величайшие русские писатели Толстой и Достоевский не случайно

были врагами Запада, прогресса, науки и т.п.* Сила художественного таланта толкала их к тому из двух альтернативных мирозерцаний, которое прямее вело их к писательскому делу — раскрытию „тайны о душе человеческой” (Достоевский).

* * *

30 лет тому назад постановка такого вопроса казалась ересью. Господствовало убеждение, что взгляды радикальных западников были плодотворны во всех отношениях — и в политической практике, и в практике художественной. Но потом жизнь показала, что почвенные идеи понадобились не только классической литературе, а и современной. Проза Ф. Абрамова, Ч. Айтматова и др., связанная с какими-то поисками забытых архаических слоев народной культуры, дала больше нового, чем рассказы и повести из жизни ученых, *показывающие*, по совету Белинского, то, что социолог мог бы *доказать*, и потому принципиально лишенные глубины.

Однако почвенные идеи, употребленные не к месту, приводят к нелепостям.** Однако в одном переплете с „Пушкинской речью” — страницы дневника с призывом захватить Константинополь, сравнение Дизраэли с чертом и т.п. И рядом с отличной деревенской прозой — шумная спекуляция почвенническими идеями, не всегда грамотная и не всегда честная.

Поэтому мне вновь хочется высказать ту же мысль с противоположным акцентом: идеи, плодотворные в искусстве (где романтизм вообще обнаруживает свои сильные стороны, а Просвещение — свою слабость), могут оставаться не плодотворными и опасными в общественной практике. Взлеты и падения по ту сторону здравого смысла привлекают и захватывают в духовной жизни (и в литературе, идущей по следам

* Разумеется, эта однородность, во многом опасная, и лучше всего синтез, снятие крайностей романтического и просветительского толков. Но и в синтезе остается вопрос об индивидуальном (и профессиональном) акценте, о специфическом основном ударе.

** Как, например, совет В. Солоухина обставить малогабаритные квартиры старинной мебелью и хрусталем. См. „Письма из русского музея”, стр. 31-32.

этой жизни); но в общественной практике осторожный и трезвый рационализм сохраняет свои преимущества.

Парадокс почвенничества в том, что современное всемирно-историческое содержание выступает в нем в локальной и архаической форме, что против всемирного дьявола прогресса почвенники вызывают каждый к своему местному богу. В таком споре дьявол всегда будет сильнее. Нечто сходное уже было в древней римской империи. Бездушное политико-административное единство накладывалось на локальные культы, вокруг которых лепился теплый человеческий ценностный мир. Римское владычество постепенно сглаживало, стирало их, не предлагая человеку ничего взамен, кроме еще более стертого культа принцепсов. Местные боги оказались обреченными. Самое большее, они могли вдохновить на безнадежное восстание, подобное восстанию иудеев в I и II веках.

Но бездушное единство тоже было обречено, оно не могло удержаться без духовной подпоры. И выход был найден в христианстве. Из иудаизма, привязанного к жизни племени, родилась религия, связывающая всех и каждому давшая икону общего теплого культа. В христианстве почвенничество стало „беспочвенным“, вселенским, и в этой вселенской беспочвенной форме оно победило.

Современный мир также требует духовного синтеза, подобного синтезу местных традиций вокруг евангельского стержня, требует системы символов культуры, такой же универсальной, как универсальна наука, экономика, транспорт, связь XX века (и какой больше не являются нынешние формы мировых религий, связанные каждая со своим регионом). Очень может быть, что одна из незападных культур сыграет в будущем такую же роль, как некогда Иудея. Но пока невозможно сказать, как это все случится, ясно одно, что необходимо глубокое взаимное понимание культур, прислушивание друг к другу, до которого еще очень далеко. Легче указать движения, рвущие мир на части, чем то, что ведет к духовному синтезу.

Постмодернистская Европа освобождается от „бремени белого человека“, смотрит на Новое время со стороны, видит его ограниченность и готова учиться у примитивных и архаических культур, шедших другим путем. Запад хочет остановить-

ся, и оглянуться, и использовать досуг, который ему дало развитие, для поисков духовных ценностей, которые буржуазное развитие скорее отымало. Но история не дает остановиться. Восток, расшевеленный, вступивший на путь модернизации, корчится в муках социальных и национальных конфликтов, не дающих покоя ни ему, ни остальному миру. Волны ксенофобии бегут назад, к рубежам, у которых они некогда родились, вызывая и здесь отклики — воспоминания мертвых антагонизмов: фламандско-валлонского, шотландско-английского и т.п. В этой обстановке прямолинейное почвенничество вносит свой вклад в историю: посыпает солью раны народов, полученные в недавнем и давнем прошлом.

II. Социальная модернизация

Четвертая общая черта процесса модернизации незападных стран — это тенденция к образованию этнических анклавов или активизации этих анклавов там, где они издавна сложились. Отчасти к анклавам приводила европейская колонизация (немецкая слобода в Москве, иностранные селтльменты в Китае, белые нагорья в Кении и т.д.). Но в центре моего внимания будет другая проблема: активизация диаспоры там, где она была, и формирование новой диаспоры (зарубежные китайцы, индийцы, ливанцы). Коротко говоря, это проблема „чужаков”.

Чужаки вообще играли большую роль в развитии, начиная с древности. Об этом написал большую интересную статью Г. Айзерман.* Он выводит из психологии эмигранта, беспочвенного человека, многие интересные явления и на Западе (например, Соединенные Штаты — страна эмигрантов, порвавших со старым порядком и рассчитывавших только на себя, на свои собственные руки и ум). „Чужой, — цитирует он Ге-

*

орга Зиммеля, — по самой своей природе не владеет землей, причем землю надо понимать не только в физическом смысле, но также в переносном смысле жизненной субстанции, фиксированной в идеальном пространстве общественного окружения”.* То есть „земля” Зиммеля — примерно то, что Достоевский называл „почвой”.

Поиски безопасности, обеспеченности — вызывают у „беспочвенного” эмигранта повышенное стремление к успеху, к личным достижениям. „Чужак” становится проводником идеологии успеха, необходимой для экономического развития... Будет ли он торговцем или производителем, все равно, — чуждость своему окружению, во многом тяжелая, одновременно открывает ему (как оборотная сторона медали) и такие возможности, которых лишены люди окружающего общества, подчиненные господствующим традициям и нормам...”

Чужаки приспособляются к новому окружению, не подчиняясь ему, а развивая способности, которых на новой родине не хватает, *дополняя* сложившееся разделение труда. У себя на старой родине они могли быть не очень предприимчивыми, могли безоговорочно подчиняться традиции. На новой родине они ведут себя иначе. В результате, китайские кули, привезенные для работы на плантациях и на рудниках Малайи, выделили из своей среды целый класс предпринимателей. „Сегодня, одно или два поколения спустя, среди китайцев этой страны можно насчитать десятки миллионеров”**. **

Одновременно (хотя Айзерман об этом не упоминает) выдвинулся слой малайских *интеллигентов* китайского происхождения. Таким образом, возникла социальная группа, подобная еврейству черты оседлости на рубеже XIX и XX веков. То, что представлялось отклонением от правила (от норм развития Запада), оказалось нормой развития незападных стран; в Малайе и в Индонезии, на Филиппинах, в Кам-

*

**

бодже и Таиланде, в странах Африки — повсюду возникает нечто вроде китайской и индийской *диаспоры*; возникает почти что из ничего, из нищих и безграмотных кули, вывезенных для работы на плантациях, и из полунищих эмигрантов, приехавших за свой счет попытать счастья. Это один из самых поразительных фактов в истории модернизации Африки и Азии.

„Именно потому, что в слаборазвитых странах не хватает технических знаний и способностей, быстрого использования экономических возможностей, административных талантов и упорства, — продолжает Айзерман, — эти черты становятся характерными для чужаков. И в ходе социальных сдвигов некоторые группы чужаков стремительно выдвигаются вперед”.

В Африке, наряду с процессом, описанным Айзерманом, происходит еще один, параллельный: облачко диаспоры выделяют *местные* народности, оказавшиеся более динамичными, чем их соседи. Судьба этих пионеров модернизации оказывается иногда довольно тяжелой.

* * *

Айзерман считает выдвижение чужаков выгодным для развития. Однако коренное население страны обыкновенно рассуждает иначе. Успехи чужаков ассоциируются в его сознании прежде всего с негативными сторонами социальных сдвигов, с разрушением привычных ценностей и отношений. „Чем многочисленнее и успешнее выступают чужаки в развернувшемся процессе экономического развития, тем больше народные чувства по отношению к ним переходят в отвращение и ненависть.” Традиционное отвращение к чужому, тысячелетиями воспитывавшееся в племенных и застойных крестьянских обществах, неоднократно вспыхивало и в Европе (Айзерман приводит несколько исторических примеров, главным образом — еврейских погромов). Однако в современной Африке и Азии ксенофобия горит особенно ярким пламенем. Чем быстрее темпы экономического развития, чем меньше крестьянские общества умеют своевременно приспособиться к нему, тем выгоднее объективные условия для выдвижения чужаков

— и тем больше ненависть к ним. Ненависть к „азиатским чужакам” даже превосходит ненависть к колонизаторам. И правительства недавно освободившихся стран охотно идут на встречу народным чувствам. Они склонны ценить европейские капиталы и европейских экспертов, но знания и навыки „азиатских чужаков” недооценивают. Выходцев из Азии ограничивают, экспроприируют и изгоняют. Это происходит в Бирме, Индонезии, Кении. Уже после выхода в свет статьи Айзермана, назвавшего положение китайцев в Малайе неустойчивым, там произошли серьезные столкновения. Положение модернизаторских и прочих меньшинств на Ближнем Востоке тоже достаточно трудно.

В этих условиях, „три главнейших требования, которые сегодня выдвигаются в слаборазвитых странах, — требование национального достоинства, экономического развития и социального обеспечения — в первую очередь заострены против чужаков.” Экономически и интеллектуально целесообразное разделение труда разрушается, и развитие терпит серьезный ущерб.

* * *

Поставим теперь вопрос: почему в Англии все было иначе? Почему, когда Дизраэли стал министром, это взволновало только Достоевского, а когда министром стал Вальтер Ратенау, известная часть германского офицерства приняла это как пощечину и Ратенау застрелили?

Можно заметить, что евреев в Англии было несколько меньше, чем в Германии; однако папистов в Англии тоже было мало — что не мешало их ненавидеть. Можно заметить, что процесс развития в Англии был более плавным, менее болезненным, чем в Германии; однако совсем безболезненным он все же не был; массы и в Англии, доведенные до отчаяния, иногда поднимались на бунт, на погром; но погромы не имели этнического характера. Ломали машины, а не витрины еврейских лавок.

Мне кажется, что одной из причин такого различия между западной Англией и западной (в нашей схеме) Германией

была литературно-идеологическая традиция. Она окрашивала поведение если не самих люмпенов, то, во всяком случае, тех, кто мог стать во главе их и создать „движение”. Политический антисемитизм существует в Германии с 1815 г., т.е. появляется почти одновременно с немецким почвенным романтизмом и, конечно, в связи с ним. Две формы ксенофобии: шовинизм (направленный против другой страны, другой земли) и диаспорофобство (направленное против активных национальных меньшинств) — психологически тесно связаны и легко переходят друг в друга. Поэтому французский штамп, господствовавший в воспитании немцев со времен наполеоновских войн, подготовил почву для „жидоедского” штампа, получившего приоритет, когда понадобилось найти *внутренних* виновников поражения 1918 г., тягот „рационализации” и других язв.

Таким же образом ненависть, вызванная империализмом и колониализмом, создает почву для экспроприации индийцев Кении, резни китайцев в Индонезии и т.п. печальных явлений.

* * *

Там, где есть почвенничество, всегда возможен взрыв погромной активности. Почвенничество нельзя примитивно интерпретировать как идеологию погрома, но нельзя закрывать глаза на то, что погром — одно из возможных следствий почвенного романтизма, так же как террор — одно из возможных следствий Просвещения (например, террор Великой французской революции). Что касается цивилизации, то она не мешает ни террору, ни погрому. Скорее напротив: школа и книга сыграли большую роль в распространении патриотических и других идей, „сужающих сердце”, и в подготовке цивилизованного варварства как в реакционной Германии, так и в прогрессивном афро-азиатском мире. Носителями крайних форм ксенофобии являются не феллахи, а полуинтеллигенты, люди грамотные, умеющие читать и даже писать книги.

Стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство. В

психологии погрома всегда есть „комплекс неполноценности“, который компенсируется агрессией. У англичан комплекса неполноценности не было; скорее был комплекс сверхполноценности. Поэтому Мосли не мог найти в душах своих соотечественников той болезненной жилки, которая с трепетом откликалась у немцев на речи Гитлера. Англичане, пришедшие на митинг, возмущались и били — не евреев, а Мосли и его немногочисленных сторонников. Это, конечно, не прирожденная, а исторически воспитанная черта, следствие многих веков, прошедших без национальных и социальных унижений, без иностранных завоеваний (с XI века) и крепостного права.

* * *

Пятой особенностью незападных стран является своеобразный общественный слой, получивший в России название интеллигенции. Этот слой — своего рода интеллектуальный анклавы модернизации.

Термин „интеллигенция“, войдя в быт за последние десятилетия, получил новые значения, соответствующие положению работников умственного труда. Однако первоначально интеллигент — это не всякий работник умственного труда, а специфический тип, возникающий где-то на полдороге между *книжником* древних и средневековых цивилизаций и *интеллектуалом* нового времени.

Словарь Вебстера определяет интеллигенцию так: „Русские интеллектуалы, обычно в оппозиции к правительству“. Несколько подробнее эту мысль развил царский министр внутренних дел фон Плеве в письме к Победоносцеву: „Интеллигенция — это тот слой нашего образованного общества, который с восхищением подхватывает всякую новость и даже слух, клонящиеся к дискредитированию правительственной или духовно православной власти, ко всему же остальному относится с равнодушием“.

В таких определениях, как и во всем смешном, есть доля истины, но, разумеется, невозможно ограничиться чисто политической и отчасти даже полицейской характеристикой интеллигенции.

Интеллигенция трагически противостоит не только правительству, но и народу, во имя которого она пытается выступать, и трудно сказать, от кого она дальше. Интеллигенция — слой европейски образованный, а правительство, по словам Пушкина, долго оставалось единственным европейцем в России. Примерно то же писал Маркс о британском владычестве в Индии.

Народ часто не умеет отличать интеллигенцию от режима, с которым она борется. Это проявлялось, например, во время русских холерных бунтов. А интеллигенция колеблется между презрением к невежественному народу и обожествлением его (начиная с русской концепции народа-богоносца, кончая китайским лозунгом: учиться у рабочих, крестьян и солдат).

Так же противоречива интеллигенция и во многих других отношениях. Она складывается в странах, где сравнительно быстро принялась европейская образованность и возник европейски образованный слой, а социальная „почва”, социальная структура развивалась *сравнительно* медленнее, хотя иногда по-своему и очень быстро; существенно, однако, что эта социальная „почва” надолго сохраняла более или менее азиатские черты. Интеллигент, вставший „в просвещении с веком наравне”, вынужден действовать в „непросвещенной” обстановке, полуазиатской или, если воспользоваться другим термином, — полуфеодальной (во втором случае можно подвести под интеллигенцию и немецких штюрмеров, колебавшихся между „бурей и натиском” и мечтательным прекраснотушением). Отсюда трагическая расколотость в отношении к практике. Чернышевский высмеял ее в „Русском человеке на rendez-vous”, Добролюбов — в статье про Обломова, думая, что говорят только о дворянах; но Герцен был прав, ответив им: „Все мы Онегины, если не предпочитаем быть чиновниками или помещиками”.

Переход от практики рутинной к практике революционной не уничтожает этого раскола. Интеллигент либо *рассуждает* о насилии, терроре, революционной диктатуре и проч., как Иван Карамазов („Все позволено!”), — но действовать предоставляет Смердякову, либо сам берется за топор, как Рас-

кольников, — но тут же отшатывается от сделанного. Образы, созданные Достоевским, тенденциозны и, конечно, не являются научной моделью исторического процесса, но в чем-то они глубоко верны. В жизни русской интеллигенции постоянно нарастают две тенденции. Одна — к действию во что бы то ни стало („К топору зовите Русь!"); другая, напротив, окрашена непреодолимым отвращением к грязи и крови истории:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь Голубые Песцы
Мне в своей первозданной красе...

Отсюда, с одной стороны, постоянное этическое горение русской литературы, „бунт" Ивана Карамазова („Не хочу гармонии! Из любви к человечеству не хочу! Не стоит она слез одного замученного ребенка!"), отсюда „не могу молчать" Толстого и проч. За это Томас Манн назвал русскую литературу святой, а Короленко, имевший возможность выбирать между украинской, польской и русской национальностью, выбрал русскую за гуманность.

С другой стороны, все проблемы „больной совести" решительно отвергались деятельной, практически настроенной частью интеллигенции. В пьесе Билля-Белоцерковского герой проходит в шинели, небрежно брошенной на плечи, мимо девушки, ждущей поезда на каком-то сибирском полустанке. „Что вы читаете?" — спрашивает он вполоборота. „Преступление и наказание", — кротко отвечает девушка. Тогда герой пожимает плечами: „Одну старушку убили, а разговору сколько!"

На аналогичном контрасте построен роман Тагора „Дом и мир". Никхил, человек глубокий, чистый, гармоничный, двойник самого Тагора, хочет решить все вопросы жизни в духе любви. Шондип не верит в это и рвется к насилию. В нем есть что-то захватывающее, есть обаяние энергии. Бимола (в которой можно видеть воплощение народной души) увлекается Шондипом и только после тяжелого кризиса разочаровывается в нем и остается с Никхилом. В жизни это не всегда так гладко кончалось.

С этим противопоставлением отчасти совпадает другое, имеющее, однако, самостоятельное значение. Интеллигенция одновременно порождает глубоко религиозный тип, ищущий обновления и очищения традиционной веры, и таких же убежденных атеистов, стремящихся разрушить веру во все трансцендентное до основания и утвердить на месте ее в качестве предмета веры — научную теорию. Первый тип больше проявил себя в Индии (классической стране религиозных движений), второй — в Китае. В России обе тенденции были, кажется, одинаково сильны. Отсюда крутые переходы от богоискательства к атеизму и наоборот (С.Булгаков, Н. Бердяев и др.). Для западных интеллектуалов не характерно ни то, ни другое; Бог их как-то не мучил (по крайней мере, в классический западный XIX век). Где-то в Дании писал свои дневники Кьеркегор, но ни Стендаль, ни Бальзак, ни Диккенс, ни Теккерей ничего подобного не заметили.

Религиозные проблемы становятся, однако, основными литературными проблемами Запада в XX веке в романах Ф. Мориака, Грэхема Грина, Г. Белля, Д. Сэлинджера. Современная постмодернистская Европа становится до какой-то степени интеллигентской, во всяком случае — находит для интеллигентского сознания какое-то место в своей духовной структуре. Это можно показать на судьбе русских интеллигентов — „веховцев”. Попав на Запад, они были там приняты как *экзистенциалисты*, т.е. как чисто западное постмодернистское явление. Следовательно, мы имеем право сказать, что постмодернистский Запад — не совсем Запад. Или пойти в другом направлении и определить понятие интеллигентности несколько более широко.

* * *

Подход к более широкому определению интеллигентности можно найти в философской антропологии, в учении об эпохах неуверенности человека в основах своего собственного и космического бытия так, как оно развито, например, в книге М. Бубера „Что такое человек?”. Говоря его словами, Аристотель „постигал только человека в мире, а не мир в человеке”. Человеческое бытие само по себе становится проблематичным

впервые для Августина, снова теряет свою проблематичность для Аквината и снова, еще острее, становится проблематичным для Паскаля. Августина можно рассматривать как отдаленного предшественника интеллигенции, с Паскалем у русской интеллигенции есть прямые духовные связи (через Тютчева).

Когда чувство проблематичности бытия становится эпидемическим, в эпохи большой культурной ломки, известная часть специалистов умственного труда становится интеллигентной. Если эпидемия ликвидируется и побеждает идеология, для которой сознание проблематичности неполноценно и недостойно, то интеллигент на время стушевывается и уступает первое место специалистам, функционерам, интеллектуалам, инженерам человеческих душ, а проблематический человек приобретает смешной облик Васисуалия Лоханкина.

Общее определение интеллигенции хорошо согласуется с частным, локальным. Совершенно естественно, что в процессе модернизации столкновение западной культуры с незападной создает чувство особенно острой и, так сказать, повальной, эпидемической проблематичности бытия, проблематичности, захватывающей целый широкий слой общества, а не только одиночек и небольшие группы. Поэтому интеллигенция, как социальный слой и социально-психологический тип, складывается не на самом Западе, а в странах, подвергшихся вестернизации, в странах, где проблематичная по своей сути культура нового времени была воспринята обществом в состоянии разлома и, так сказать, возведена в степень. На самом Западе ласточки интеллигентности не сделали весны. Общий же сдвиг к интеллигентности на Западе начался позже, чем в России или в Индии, и в значительной мере под русским и индийским влиянием — под влиянием Достоевского, Толстого, Ганди.

Любопытный исторический парадокс — то, что в это самое время в России происходит сдвиг в обратную сторону: Кавалеров в „Зависти” Ю. Олеши испытывает жестокую зависть к Бабичеву. Этот сдвиг захватил несколько десятилетий и, возможно, еще не совсем окончился, хотя началом его конца можно считать 1956 г., когда был реабилитирован Ф.М. Достоевский, самый проблематичный писатель в мировой литера-

туре, эталон и лакмусовая бумажка проблематичности человеческого бытия. Опала Достоевского (несмотря на пропаганду русской национальной традиции) — показатель крайней степени разрыва с интеллигентностью.

Мне хочется подчеркнуть, что решают здесь не объективные условия, а сознание этих условий; сознание, которое до какой-то степени исторически детерминировано, но все же субъективно и поэтому не обязательно, не навязывается каждому. Объективно человеческая жизнь всегда проблематична. День и ночь, как черная и белая мышь, непрерывно грызут ее корни. Но большинство людей, как продолжает притча, этого не замечает. Олеша мог бы написать „10 лет спустя” и показать Бабичева в конце 30-х годов в обстановке чрезвычайно проблематичной. Но подлинный Бабичев и тогда бы продолжал чувствовать себя частицей класса — гегемона и до последней минуты не допустил бы никакой интеллигентщины. Кавалеров и Бабичев — два типа, идущие рядом, а не друг за другом. История только попеременно дает им, так сказать, преимущественные условия развития.

* * *

Группа интеллигенции, пришедшая к власти, может некоторое время сохранять интеллигентность, во-первых, под влиянием традиций (если они успели сложиться); во-вторых, под влиянием ядра интеллигенции, оставшегося вне государственного аппарата. Но в конце концов она оказывается перед дилеммой: либо выпустить руль из рук, отойти от политической деятельности, либо стать такой, которой власть требует, т.е. превратиться в группу функционеров. Этот процесс может быть острым и плавным, быстрым и медленным, но избежать его, по-видимому, нельзя. Этическое горение индийского Национального конгресса было очень ярким; однако переход к независимости и здесь не обошелся без трагических провалов и разочарований. Погиб Ганди, столкнувшись с народом, который он учил сатьяграхе и который („разбуженный”) стал резать мусульман. Постепенно отошли от политики Д. Пр. Нариян и др. И хотя развитие в целом не было таким

катастрофичным, как в Китае, но ядро интеллигенции шаг за шагом отделяется от правящей партии и от политики вообще, уступает первое место специалистам и функционерам.

* * *

Судьба интеллектуального анклава модернизации в чем-то подобна судьбе этнических анклавов. Иногда эти явления просто совпадают или, во всяком случае, накладываются друг на друга. Нации диаспоры исстари несли по свету не только произведения рук человеческих, но и произведения человеческого ума и духа. Евреи завозили в Европу и переводили на латынь арабские рукописи, а в Турцию завезли из Европы печатный станок. Несториане (тоже своего рода диаспора) сыграли огромную роль в распространении начатков цивилизации по степям Азии и, возможно, подготовили триумф Ислама, истребившего их. Индийцы в ЮАР не только торговали с банту; они еще создали свой Национальный конгресс, по образцу которого банту организовали впоследствии Африканский национальный конгресс, с той же самой гандистской идеологией. Но индийцев банту не любят, и были случаи индийских погромов.

В России „жиды” и „студенты” сблизилась в сознании охотнорядцев только в XX в., под впечатлением массового наплыва евреев, расконсервированных реформой из черты оседлости, — в революционное подполье. Однако традиции революционного подполья сложились гораздо раньше; их создавали Рылеев и Пестель, Желябов и Перовская.

Даже если интеллигенция и буржуазия этнически однородны, их обыкновенно разделяет глубокое взаимное презрение. Но несмотря на это, несмотря на все различия, судьбы двух анклавов модернизации часто оказываются сходными. Силы экономического развития, разбуженные китайцами в Индонезии или индийцами в Кении, создали конкурентов, которые гонят теперь чужаков с новой родины. Силы социального развития, разбуженные движением 4 мая 1919 г. в Китае, полвека спустя надели на уцелевших интеллигентов дурацкие колпаки. Пионеры модернизации незападных стран оказыва-

ются, как правило, жертвами модернизации.

Отношения анклавов модернизации с медленно и болезненно перестраивающейся массой (главным образом, крестьянской) составляет, как мне кажется, основу трагедии, которая разыгрывается в западных странах.

Поэтому, мне кажется, неверно, что „главная трагедия нашего времени — это трагедия крестьянина”. Нельзя закрывать глаза на то, что индонезийские Иваны Денисовичи вырезали за короткое время полмиллиона безродных космополитов (в данном случае — *китайцев* и коммунистов), сплошь и рядом вместе с семьями, с женами и детьми. Но так же неверен и противоположный тезис, который я, увлекшись полемикой, защищал — что „решающая трагедия нашего времени — это трагедия интеллигента”. Социологически можно сказать в пользу первого, что *пока* на земном шаре большинство людей — крестьяне; на это можно возразить, что интеллигенция — предшественница *завтрашнего* большинства или что трагедия вообще не меряется массовостью. Однако все это этически несущественно, а существенно другое: если один из протагонистов — главная жертва, то другой — главный палач. А палачей нечего жалеть. „Снисходительность к тиранам — это безжалостность к их жертвам”, — как сказал Сен-Жюст. Из сен-жюстовской точки зрения вытекают все попытки окончательной ликвидации какого-то класса или окончательного решения какого-то национального вопроса.

Сейчас мне кажется правильной только та точка зрения, на которой стоит Ф. Абрамов в романе „Две зимы, три лета”. Очень последовательно, продуманно, нигде не противореча себе, Абрамов всегда на стороне жертвы сегодняшнего дня. Он не удивляется и не возмущается, если завтра она становится палачом, принимает это, как смену зимы летом и лета зимой, но принимает, не присоединяясь. Не присоединяясь ни к сегодняшней ненависти (и к сегодняшней жестокости), ни к ненависти, которую она вызывает, и всегда готов принять в свое сердце кающегося грешника. Самая потрясающая сцена романа — та, где бригадир Михаил везет на дровнях из больницы труп Тимофея и в талую воду обнимает (чтобы не смыла река) труп человека, которого вчера отдавал под суд за

саботаж и сегодня во что бы то ни стало хочет похоронить на родном кладбище. Мне кажется, что никакой другой подход к трагедии незападных стран этически немыслим, и чисто практически только этот путь обещает вывести из хаоса.

* * *

Гротескность социальных структур. Ее можно описать, как переходность, и можно описать, как беспочвенность.* Можно сказать, что социальные структуры Запада представляют классический тип, а Незапада — гротескный тип. Эту ситуацию можно интерпретировать в двух разных рядах категорий. Во-первых, это *переходная* ситуация с импликацией положительного решения (переход чем-то кончится); во-вторых, можно увидеть здесь беспочвенную ситуацию — дом, построенный на песке, неминуемо развалится. Теория переходного состояния очень красиво выражена в модели *призматического* общества Фреда Риггса. Он сравнивает современное состояние незападных стран с состоянием света в призме. Белый луч света, проходя через призму, разлагается на цвета спектра. В самой призме цвет находится в переходном состоянии. Действительно, одной из самых ярких сторон процесса модернизации является переход от слитного состояния администрации, культуры, политики и т.д. к более расчлененному, диффрактному состоянию. Этот переход происходит, конечно, не столь быстро, как в призме, но призматическое общество может рассматриваться как общество переходного периода. Страдания этого общества — временные страдания.

Противоположная точка зрения, более пессимистическая, подчеркивает беспочвенность всего, что построено, — беспочвенность и готовность развалиться. Например, индийская школа описывается как здание, верхние этажи которого из бетона, нижние из кирпича, а фундамент — из глины. Такой струк-

* Термин „гротескность” я беру по Бахтину. Классическим является тело греческого атлета, гротескным — средневековые изображения тела (химеры, всякого рода дьявольщина, полулюди, полуживотные и люди в „открытом” переходном состоянии, зачинающие или рождающие, поглощающие и извергающие, карнавальные).

турой на курьих ножках является не только индийская школа, но индийский парламентаризм. Внешне там все, как в Англии, — палаты и т.д.. Но, оказывается, что для того, чтобы избрать депутата, гораздо существеннее то, к какой касте он принадлежит, к той ли, которая господствует в данном районе. Таким образом, политика связана с кастовыми интересами. Поэтому всякая политика, которая пытается уничтожить кастовые различия, обречена на провал. Иными словами, парламентаризм в Индии свидетельствует скорее о ее неготовности решать какие-то коренные проблемы.

Элементы беспочвенности в незападных социальных структурах присутствуют повсюду (Достоевскому снилось, что Петербург может растаять и на его месте останется лишь финское болото). То, что у нас сейчас в журналах стали появляться „почвеннические статьи”, само по себе, без анализа социальной структуры, говорит о том, что существует известное чувство беспочвенности культуры и у нас. Почвенники стремятся к восстановлению того, что было, но чего уже не может быть. Почвенничество — симптом социального неблагополучия. Как симптом оно интересно. Но действительный выход состоит в творческом синтезе „западных” и „незападных” основ, о чем говорил еще Достоевский в „Пушкинской речи”.

В чем причина того, что социальные структуры на Западе приобретают гротескный характер? Почему развитие Запада идет иначе, чем развитие Востока? В общем можно сказать что для всех стран Запада характерны какие-то отклонения от оптимума социальных структур и структур авторитета накануне Нового времени. Вот некоторые важные отклонения: нет „неслиянности и нераздельности” инициативного меньшинства и масс. Для возникновения чего-то нового нужно инициативное меньшинство. Маловероятно, чтобы такая монолитная масса, как Китай, вдруг сама повернулась. Но, с другой стороны, если меньшинства отделены друг от друга, как в Индии, если общество кастовое, то сдвиг в одной из каст послужит лишь дополнительной характеристикой, отделяющей меньшинство от других. Таким образом, излишки монолитности и излишки отчужденности групп друг от друга оди-

наково неблагоприятны для всякого новаторства. В Европе оказалось благоприятное сочетание, которое я назвал „неслиянность-нераздельность” новаторского меньшинства и массы. Например, в Англии XVII в. инициаторами новшеств были шотландцы, сектанты и пр. группы, которые несколько обособлялись от нации, однако они ясно сознавали свою принадлежность к ней — к единой великобританской нации. Импульс, начавшийся в группах протестантских сектантов, легко перешел на всю социальную структуру. Японии в этом смысле повезло, поскольку структура ее была более близкой к европейской, чем в большинстве других стран Азии. Это было общество сословное, но не кастовое и в то же время не такое монолитное, как в Китае. Монолит сразу поднять трудно. Это может произойти лишь тогда, когда меньшинство захватит власть в свои руки и скомандует этому монолиту повернуться. Но сама команда восстанавливает монолитность монолита и мешает ему повернуться к немоналитности.

* * *

Трудность перехода от одного к двум. В Европе уже в средние века мы находим прочно сложившееся разделение внутри авторитета — с одной стороны это папа, с другой — император. Такое привычное разделение авторитетов подготовило Европу к плюрализму нового времени. Наоборот, всюду в Азии мы находим более монистическую структуру авторитета. С социологической точки зрения формы такого монизма несущественны — далай-лама в этом смысле ничем не отличается от китайского императора. Вся власть — духовная и светская — сосредоточивается в одном пункте. Шмуль Эйзенштадт очень удачно сформулировал правила социальной структуры, благоприятной для развития: чем больше религиозная сфера отделена от светской, тем легче новое проникает в любую из этих сфер. И наоборот. Кажется, Лао Цзы сказал, что одно переходит в два, два — в три, а из трех рождается тьма вещей. Самое трудное — это переход от одного к двум, причем такой переход, чтобы общество не развалилось. Тайна состоит не в том, чтобы в обществе было два центра, а в том,

чтобы такое общество не развалилось. (Как правило, общество с двумя центрами неизбежно разрушалось.) В Европе же получилось так, что эти два центра были соединены чем-то третьим. Хотя папа и император все время грызлись, но их объединяло что-то третье, какой-то общий дух. Это создавало такую структуру, при которой различное часто неумовимо соединялось, существовал некоторый плюрализм в рамках единства. На Западе так было уже в средние века. На Востоке это не получается до сих пор. Фридланд и Розберг в книге „Африканский социализм” назвали состояние, к которому тяготеют незападные страны, „фокусированным плюрализмом”. С одной стороны, развитие требует плюрализации — вместо одного чиновника, который правит уездом, появляются различные „отделы” (райфо, районо и т.д.). А с другой стороны, одновременно возникает некоторая институция, которая проникает собой все прочие и удерживает их в порядке. В условиях Африки, — говорят Фридланд и Розберг, — такой институцией является единая партия. Таким образом, происходящая дифференциация отчасти сводится на нет.

* * *

Диктатура развития. Вся неуравновешенная, гротескная ситуация стран Незапада, как правило, тяготеет к диктатуре развития. В частности, к ней тяготеют некоторые группы интеллигенции, которые выражают дух этой ситуации. Разрубить гордиев узел слаборазвитости! Это может сделать только сильная власть. Правительства Юго-Восточной Азии очень часто упрекают в мягкости. Конечно, они отнюдь не мягки, когда начинается резня нацменьшинств. В лучшем случае, правительства не вмешиваются в это. Но как только дело доходит до структурных реформ, твердости не хватает. Вопрос, однако, в том, что диктатура развития очень легко может стать диктатурой казармы, возвращением к застойным формам ведения хозяйства. Авторитет лидера помогает построить Ассуанскую плотину, но он же увековечивает пассивность масс. Даже если не происходит никаких эксцессов, нарушений законности и пр., даже „хороший” культ личности является плохим, по-

скольку культ личности есть культ безличности масс. А между тем решающий путь развития лежит в выходе масс из пассивного, безынициативного состояния. Только такая диктатура развития имеет некоторый успех.

Первая черта „хорошей” диктатуры состоит в том, что она не стремится себя увековечить, она тяготеет к растворению в обычной государственной рутине. Вторая черта — легализм, уважение к собственным законам. „Хорошая” диктатура должна уважать свои собственные законы.* В-третьих, хорошая диктатура не боится общественного мнения и по мере своих возможностей сохраняет и даже развивает свободу слова, понемногу воспитывает привычку к свободе. Эта идея высказана в России Иваном Аксаковым: „Сила власти царю, сила мнений народу”. Но над доморощенным лозунгом все посмеялись, потому что *в Европе так не делали*. Очевидно, однако, что для незападных стран действуют какие-то особые условия. Судя по некоторым более или менее успешным опытам модернизации, аксаковская идея не лишена смысла.

Всякая диктатура развития представляет из себя острый и опасный путь. Часто диктатура развития — не более, чем уловка азиатского деспотизма перекраситься в модный цвет. Чисто теоретически диктатуру от деспотизма отделить очень легко. Достаточно знать европейскую культуру, в частности, римскую и понимать, чем была диктатура в Риме, почему Маркс, например, говорил о *диктатуре* пролетариата, а не о *деспотизме* пролетариата. Однако в китайском языке нет различия между этими терминами; и если ввести его, то все равно массы интеллигентов не поймут, потому что для понимания разницы надо понимать культурный контекст слова „диктатура”. Римский диктатор в классический период — это добродетельный республиканец, который максимально старается соблюдать законы и минимально отступать от них. Где же взять республиканский дух там, где его никогда не было?

*

Противоположный пример может быть взят из практики Китая. Кодексы, существовавшие там, после 1949 года были отменены, а вместо них дали указание исходить из общих установок партии, сочетая великодушие с беспощадностью. Эта диктатура, конечно, имела тенденцию перерасти в деспотию самого дурного характера.

Практически различие очень трудно провести. Деспотизм чрезвычайно хитер. На практике мы всегда имеем смесь диктатуры развития с элементами азиатского деспотизма. Если, например, проанализировать деятельность Петра, которую до сих пор часто извращают, то приукрашивая, то очерняя, в ней совершенно невозможно отделить одно от другого. Нельзя смешивать Петра с английскими администраторами в Индии, которые иногда применяли варварские средства, но внутри оставались викторианцами. Петр викторианцем не был. Человек, поставивший под плаху гроб с полуистлевшими костями Милославского, сам был плоть от плоти, кость от кости того общества, которое он рушил; и неясно — рушил ли? Или скорее обновлял? Для достижения большей ясности я хотел бы остановиться на трех аспектах.

Мне кажется совершенно ложной аналогия диктатуры развития с европейским абсолютизмом. Европейский абсолютизм регулировал *стихийно идущий* процесс. Диктатура развития совершает насилие над стихией: „На высоте, над самой бездной, Россию вздернул на дыбы...” Это Петр сделал, а не Кольбер. Существуют расхождения в оценке Петра. Ключевский, например, считал, что можно было действовать иначе, более мягко, постепенно, шаг за шагом. Но в этом пункте социология развития часто выступает на стороне Петра. Считается, что успехи коммунистов как у нас, так и в Китае в значительной степени связаны с тем, что они рубили сразу в нескольких направлениях — и в области народного образования, и в области экономики, политики и т.д. По сравнению со странами Азии, которые никак не могут дать первый стартовый импульс, такая политика получается вполне оправданной. „Для того, чтобы проложить дорогу в джунглях, — говорит Т. Менде, — надо действовать очень энергично”. Образ джунглей здесь взят весьма удачно, потому что прокладываемая тропинка все время зарастает, т.е. джунгли сопротивляются, подобно организму традиционного общества. Таким образом, мы приходим к реабилитации Петра.

Но, с другой стороны, насилие не только повивальная бабка истории. Достаточно часто насилие может быть палачом истории. Здесь я хочу привести один красивый пример. На-

родовольцы хотели запугать царя, чтобы он дал конституцию. Они успешно запугали его, он подписал конституцию и поехал гулять. Тут они его взорвали. Следующий царь конституции не подписывал, и России пришлось подождать еще двадцать лет, чтобы получить свою конституцию. Одна лишняя бомба привела к столь плачевным результатам. Эта закономерность сохраняется и при оценке террора сверху вниз, с высоты престола. Петр всадил в русскую спину слишком много лишних кнутев. В результате он привел Россию в состояние ступора — после него страна несколько десятилетий приходила в себя, и результаты его деятельности до сих пор остаются двусмысленными. Из Петра можно вывести и либерализацию (Петр — западник, а либерализация идет с Запада), и военные поселения (*его* стиль). Что выводить из традиции, зависит от потомков. Традиция не однозначна, она не лишает нас выбора и не оправдывает, если мы сделали никудышный выбор.

* * *

Диктатура развития связана с некоторыми социально-психологическими отличиями стран Запада от незападных стран. На Западе переход к новому времени может быть описан, как переход от психологии зависимости к психологии достижений. Термин „нужда в достижениях” создан Маклелландом. Ему удалось показать, что частотность мотивов личных успехов, личных достижений в детской литературе находится в очень интересной прямой связи с экономическими успехами той или иной страны. Такие страны, как Польша и Америка обнаруживают сходство. А Польша и Китай — различие. При этом играют роль не столько политические надстройки, сколько какие-то более глубинные социальные структуры. Индийский ученый У. Париик в своей статье высказывает, однако, мысль, что в незападных странах приходится рассчитывать не столько на психологию достижения, сколько на то, что он называет психологией подтягивания. Причем образцом для него является высказывание Мао Цзе-дуна: быть первыми в страданиях и последними в наслаждениях. В этом нет ни-

чего специфически китайского — это этика Павки Корчагина, этика наших первых лет революции. Конечно, такая этика кое-что может дать.

Совершенно очевидно, что диктатура развития возникает там, где психологии личной инициативы не хватает для развития и приходится дополнять ее психологией Мао Цзе-дуна — подтягиванием отстающих до уровня передовых. Но если эта психология выступает на первый план, то она вытесняет психологию личного успеха. А между тем, психология подтягивания, как об этом свидетельствует опыт, весьма недолговечна. Лет через 20-25 она выдыхается. Таким образом, подтягивание — временное средство, увлечение им таит в себе глубокую опасность, затемняя необходимость более глубокого изменения.

Кстати, Париик совершенно не замечает, что и психология достижения, и психология подтягивания, заняв место психологии зависимости, вносит некоторую трещину в человеческое бытие. Психология зависимости включает не только социальную безынициативность, но чувство включенности в космический порядок, которое предупреждало постановку вопроса о ценности бытия и других гамлетовских вопросов, на которые Новое время за три века не нашло ответа. Но это вопрос не специфический для нашего рассуждения, и мы не будем на нем останавливаться.

Подводя итог, я хочу сказать, что у меня нет никаких общих рецептов. Незападные страны не могут ни вернуться к прежнему, своему допетровскому прошлому, ни двигаться в ногу с Западом. Чтобы „догнать”, чтобы модернизироваться, им нужен рывок, нужна, скорее всего, диктатура развития; но диктатура развития легко переходит в привычные формы азиатского деспотизма и превращается в диктатуру застоя. Если диктатуры нет или она неэффективна, развитие слабо захватывает общество в целом и создает только отдельные анклавные модернизации, а анклавные ведут к трениям и погромам.

И так плохо, и этак плохо. Утешает только одно: никакой однозначной необходимости нет, всегда остается возможность выбора. И у разных людей эти возможности разные. Задача

человека дела — следовать по пути проб и ошибок, отыскивая практический выход. А задача интеллигенции в более узком смысле слова (примерно говоря, творческой интеллигенции) — сохранять самим и поддерживать в других ясность мысли и духа, не давать событиям увлечь себя в область массовых фобий и массовых же стереотипов, оправдывающих ненависть и бессмысленную жестокость.

ТОСКА ПО ИСТОРИИ

I

Обобществление всех средств производства, которое называют у нас „социализмом”, привело к полному равнодушию населения к результатам своего труда. Так образовалась подходящая почва для „партийного руководства” народным хозяйством, то есть для своеволия. В этой сфере людям стало все равно, что они делают, а потому и явно нелепые решения выполняются неукоснительно. Они получают возможность разрушать, не неся при этом ни ответственности, ни убытков — давно испытанное следствие рабского труда.

Несколько иначе дело обстоит в сфере интеллектуального, духовного труда. По сложившимся стандартам, и тут должна отсутствовать инициатива. И ученые, и художники так же слепо обязываются следовать приказам сверху, как и все остальные граждане. Отсебятины не полагается. И действительно, за годы торжествующего „социализма” успели сформироваться поколения „специалистов”, приспособившихся к этим требованиям.

Существование псевдоспециалистов, хорошо приспособившихся к условиям, сильно влияет на общую атмосферу страны. Они имитируют науку, философию, искусство, ничего в них толком не понимая и бдительно следя за тем, чтобы не прорезалось невзначай чего-либо подлинного.

И все же в сфере интеллектуального труда дело обстоит иначе, чем с физическим трудом. Сама природа этой деятельности такова, что в ней могут появляться индивиды, которые относятся к себе и к своей работе всерьез. Они увлекаются существом, а не показухой, а потому воспринимают его профанацию без восторга. Таким образом, создается возможность их выпадения из прочно закрепившегося социального порядка.

Я уж не говорю о социальных вопросах, где такой интеллеktуал оказывается почти единственным из сохраняющих крупнцы исторической памяти, а потому если и не полностью, то хотя бы полувменяем. В нем есть зачатки самосознания и чувства ответственности. Он имеет склонность к рефлексии, но постоянно понуждается поступать наперекор ее урокам. Он постоянно вынужден с притворным восторгом приветствовать то, что ему глубоко отвратительно, или скрывать свое сочувствие там, где открытое выражение его столь необходимо.

Но даже в художественном и научном творчестве, где, казалось бы, он у себя дома, — творчество, возможность отдаться которому он постоянно должен выкупать ценой бесчисленных сделок с совестью, — его донимают приказами, поучениями, выволочками. Как бы далеко ни забирался он в поисках правды и истины, — будьте уверены — его всегда сумеют сыскать, поставить на место, указав на допущенные „ошибки“, „промахи“ и „просчеты“. Его творческие усилия, его с таким трудом выношенные способности и знания (ведь система образования, через которую он прошел от начала до конца, не столько развивает критическую мысль, сколько ее гасит, не столько информирует, сколько намеренно и целенаправленно дезинформирует) не имеют никакой цены, потому что заранее известно и предписано, что именно ему надлежит обнаружить. К его законченному произведению, к его детищу приложат равнодушный и наболевший шаблон, несостоятельность которого очевидна каждому грамотному человеку уже десятки лет. И отрежут все, что в него не уложится.

Начинается кромсание живой мысли, искреннего чувства. Любой невежда — и чем невежественней, тем самоуверенней, начальственней, непререкаемей! — марает его произведение и без тени сомнения в своем праве это делать, не спросив даже позволения, вписывает в него плоды собственного безмыслия и угодливости перед вышестоящими своевольниками. То и дело он слышит, как того-то обругали, то-то запретили, а набор такой-то статьи „рассыпали“, а готовый тираж такой-то книги „пустили под нож“, то есть переработали в утиль, в макулатуру. За обменом этими невеселыми новостями он

проводит свои вечера в узком кругу друзей. И чувство у них такое, будто они в осаде, а провизию можно получить только у осаждающих.

И вот, под давлением страхов за свою работу, за свою карьеру, он готов принять правила навязанной ему игры. Он ищет выразиться так, чтобы усыпить бдительность своих по большей части невежественных начальников, перетрусивших и более, чем начальники, проницательных коллег, рецензентов, редакторов, издательских начальников, цензоров и целой своры партийных своевольников, каждый из которых обладает правом окончательного вето. Он ищет выразиться так, чтобы при всем при этом его недвусмысленно понял сочувственный читатель. Шаг за шагом, надеясь отторговать хоть что-то, он идет на уступки, а первый наиболее изощренный цензор для него — он сам.

Игра идет не на равных, ибо, разоблачая его уловки, ему колют глаза правдой, указывая на действительную неортодоксальность им высказанного, а он вынужден лгать, изворачиваться, темнить.

В итоге этого перманентного хождения по мукам изредка выходит все-таки из-под печатного станка нечто способное вызвать эфирный интерес общественности или хоть узкопрофессиональный интерес. Такие книги наперечет, и их знает каждый интеллигент. Но все понимающие, включая и самого автора, дивятся им как невероятной удаче, как чудодейственному прорыву укоренившегося обыкновения. Но чаще выходит жалкий огрызок, и приходится объяснять друзьям, что сперва замышлялось все не так, что тут выкинули, а тут вписали, и заглядывать в глаза, тщетно дожидаясь искренней похвалы, и убеждаться, что получилась все-таки та же макулатура, безнадежно ненужная, слава Богу — если не стыдная.

Зайдите, — прошу вас! — зайдите в какой-нибудь большой книжный магазин Москвы или Ленинграда, где полки ломаются от книг, которые никто никогда не откроет, в которых звенящая пустота звучит прозой и стихами, которые, окажись они кем-нибудь невзначай прочитаны, способны лишь увеличить темноту и сумятицу замороженных мозгов. Эти создания, названия которых так же тусклы, как и содержание; эти „кол-

лективные труды”, в которых старательно изглажены следы индивидуальностей; эти кривляющиеся уродцы, ослепленные ненавистью; эти отупелые от равнодушия опусы, высиженные с показным трудолюбием; эта неумелая симуляция литературы, науки, поэзии!

Таков итог „партийного руководства” культурой со стороны своевольников. Если живая культура способствует духовному общению людей, наводит мосты сочувствия и взаимопонимания между ними, то советский муляж культуры их разобщает. Тут нет обмена мыслями и чувствами, а лишь тиражирование масок, которые показывают не столько друг другу, сколько общему начальству, чтобы оно обласкало и выдало побольше на прокормление.

Людям, которые продолжают еще думать не по приказу, а по собственной инициативе, становится просто нечем дышать. Они глубоко несчастны и страдают от отсутствия какой бы то ни было духовной пищи. Работа самосознания, к которой они призваны, становится затруднительна, а то и просто увядает в бесплодии.

Отсюда рождается тоска по истории, по переменам. Ибо ужаснее всего вопрос: неужели так будет *всегда, всегда?*... Неужели и детям своим завещаем?

Как жить, если обстоятельства складываются достаточно скверно, а рассчитывать на их улучшение — легкомыслие? Навыки, привитые воспитанием, укорененные в традиции, ставшие нашей природой, понуждают признавать абсолютное первенство внешнего над внутренним, силы обстоятельств — над силой духа, что можно выразить поговоркой: „Против рожна — не попрешь”.

Понадеялись, было, после смерти Сталина, что новое начальство будет погуманней и полиберальней, попытались даже напомнить ему собственные его посулы блюсти право и законность, но когда оно повело себя, как ему и пристало, — потерялись, ощутили себя в тупике.

И это, действительно, тупик — на прежних путях, по крайней мере. Ибо первый позыв есть, который имеет все шансы остаться единственным, — отдать должное условиям, смириться, приспособиться, стать на худой конец ловким и угодливым циником, коль уж воодушевление и энтузиазм слепой веры улету-

чились. Ведь в запасе у циника даже больше возможностей адаптации, так как он прекрасно разбирается в том, что нужно понимать. Для облегчения же совести можно посетовать, к примеру, на малодушие друга или коллеги, а то и вообще с азартом клясть всех *других*, которые сдались, трусили. А что же тут поделаешь, если все вокруг *такие*?

В 1953 году — двадцать лет уже минуло — умер Сталин. Страна находилась к этому моменту в состоянии экономического и духовного кризиса. Но почти никто не признавал тогда реальности. Примитивные формулы оглущенного марксизма, за которыми не крылось и тени смысла, завладели умами настолько, что окружающая жизнь с ее убожеством, страхом и безответственностью воспринималась большинством лишь в частностях, но не в целом. Тяжкие испытания, выпадавшие на долю людей, не обогащали их социальным опытом. Они были не только несчастны, но и слепы. И эта их слепота придавала учрежденному порядку прочность.

Однако потом, стоило только правительству, которое на время потеряло уверенность и устойчивость, сделать некоторые признания, — у многих, особенно у интеллектуалов, будто пала катаракта с глаз. За какие-нибудь несколько лет сознание стремительно пробежало марафонскую дистанцию постижения правды. Прибитость и пассивность сменились жаждой действия. Никогда не забуду, как в одной из аудиторий Московского университета на обсуждении романа Дудинцева „Не хлебом единым” незнакомый юноша декламировал с кафедры Гейне: „Бей в барабан и не бойся”.

Унизительно думать, будто все это происходило потому, что разрешалось и даже поощрялось начальством. Скорее, в нашем обществе исподволь накопилось недовольство, которое нашло для себя, наконец, выход и способ самовыражения. Для этого достаточно было грубости и примитивности сталинской демагогии послевоенного времени, когда совершался крутой поворот к шовинизму, антисемитизму и империалистической политике. Правящая партия сама надругалась над теми идеалами, во имя которых некогда пришла к власти. И это стимулировало критическое отношение сначала к политике и идеологии партии, а затем и к самим коммунистическим идеалам.

Так или иначе, но жизнь очистилась. Кошмары сталинского, а немного позднее — и ленинского террора осветились дневным светом. Доносительство и карьеризм на костях ближнего стали получать справедливую нравственную оценку — причем, публично. Анкетный метод пожизненных преследований осуждался даже с экрана. Выродки сталинского времени, хоть и удерживались в большинстве своем на прежних местах, в прежних чинах, почувствовали себя неуютно и силились имитировать либеральные манеры. Появилось у нас даже некое подобие подлинного, искреннего, а не симулируемого по циркуляру общественного мнения. Из грязи и праха, от поношений и унижений восстали искусства и науки: современная философия, социология, теория относительности, кибернетика, генетика, структуральный анализ, Пикассо, Кафка, Мейерхольд, Бабель, Мандельштам, Пастернак и Ахматова, М. Булгаков и Андрей Платонов, Хемингуэй и Фолкнер, живопись от импрессионистов до сюрреалистов — всего и перечислить невозможно, что вернулось в сознание за те годы. А сколько стихов, романов, фильмов, спектаклей — настоящих, живых, волнующих — вырвалось из мертвой хватки социалистического реализма! Общество находилось в лихорадочном возбуждении, торопилось наверстать упущенное. Оно еще отставало от общемирового уровня постановки и осмысления проблем, но это отставание компенсировалось свежестью и актуальностью восприятия.

И вот, все исчезло, будто провалилось... На лица наползают прежние маски. Был ли тогда сон или теперь — сон? Было ли тогда пробуждение или теперь — пробуждение? Есть от чего недоумевать: вокруг все такие же прекрасные, добрые, все понимающие люди, которые в приватном порядке без запинки и верно судят о том, что хорошо и что плохо, но стоит только „некому в сером” дернуть их, как марионеток, за веревку — и польются из них затверженные речи, и лесом поднимутся их руки, приветствуя или осуждая по приказу! И удручает, вводит в отчаяние заученный автоматизм, с которым это совершается.

Когда присутствуешь на каком-нибудь высоком собрании, где очередной временщик окрещивает все достижения нашей

культуры за последнее двадцатилетие „идеологической диверсией“, когда требует от писателей, художников и ученых безусловной „идеологической дисциплины“, понятия, видимо, не имея, что это уже было однажды придумано Геббельсом, когда видишь, как все подряд угодливо поддакивают ему или понуро молчат, начинаешь по-новому осмысливать и времена сталинские. До сих пор мы склонны были объяснять тогдашнее варварство, во-первых, террором, а во-вторых, обманом. Но вот нет же сейчас такого террора, и добросовестно заблуждающихся — по крайней мере, среди интеллектуалов — считанные единицы! А весь тонус общественной жизни с каждым днем неуклонно сбивается к прежнему.

Эмоциональной доминантой последних лет, определившей весь духовный тонус страны, оказалось *разочарование*. Внешний вид это имеет такой, будто всего лишь начальство круто переменяло свой курс, и от этого все провалилось. И дожидаясь нового поворота к лучшему, большинство уже ни на что не рассчитывает, кроме как на пришествие нового более мягкого начальника. А так как взяться ему, собственно, неоткуда, то пристально вглядываются в стандартные физиономии нынешних толстошеих отцов народа — кто же из них пожелал бы принести облегчение, кто из них способен понять, что мы валимся в пропасть, что жить так, как сегодня, невыносимо далее?

История, только было начавшись, снова застопорилась. Ничего достойного внимания не совершается. Нет даже новостей, о которых стоило бы разговаривать. Все одно и то же, одно и то же.

„Душа моя, — писал некогда Пушкин в письме своему брату Льву, — меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость, — долго ли этому быть?“¹ ... Долго ли этому быть? — спрашивают себя и сегодня. Ощущение непереносимости настоящего, лихорадочное (и бессильное) ожидание перемен — это и есть тоска по истории — по истории, которой нет.

Однако еще горшее ждет, если мы рискнем взглядеться в самих себя. Тогда легко откроется, что роковая власть гнетущих обстоятельств — это не только косность других, но и *моя* собственная. Что былые расчеты на благотельную перемену общественной атмосферы, как и брюзгливая обида ныне обманутых упований — одной породы, ибо коренятся в неумении, в нежелании, в бессилии нашем перемениться внутренне. Что и во времена обманчивой „оттепели” самые отчаянные прогрессисты ближе, чем следовало, приняли к сердцу очередные лицемерные заверения властей. Что сознание наше непрерывно раскалывалось, лицемеря и изворачиваясь в обманах и самообольщениях. Что теперь, в годы безвременья, голос каждого подпекает в унисон в общем хоре, и самая большая вольность, которую позволяют себе самые дерзкие, — притворно, но беззвучно шевелить губами. И что невероятно страшно и мне, и каждому даже вообразить, как одна моя рука поднимается „против”, а несметные толпы спаянных „морально-политическим единством” обращают ко мне свои недоуменно-отупелые лица.

Правда, пока не припугнут как следует, пока не прижмут к стенке, большинство из нас силится воздерживаться от очень уж противных слов и жестов (мы же знаем им цену!), но это — до поры до времени. Недаром поэт Михаил Светлов придумал дефиницию: „Порядочный человек у нас — тот, кто делает гадости без удовольствия”.

Большинство предпочитает последовательно молчать, чем непоследовательно говорить правду.

Попробуем хоть на минуту, хоть пока чисто теоретически допустить, что не безликое общество, а личность, каждый из нас — определяет наше завтра. Попробуем нравственно высвободиться от выводов из марксистского тезиса, согласно которому человек есть лишь „совокупность общественных отношений”. Ведь это вовсе не случайно, что идея поглощающего примата социальности над личным так заворожила русское общество и нашла в нем столько вполне добровольных приверженцев. Как и обычно бывает с широко и быстро рас-

пространяющимися идеями, она дала формулу для готовой душевной предрасположенности. Когда-то она звучала очень революционно, поскольку обосновывала необходимость радикальной перемены всей системы общественных отношений. Общественными отношениями она объясняла все людские пороки. Однако можно что угодно объяснять, но задним числом. Объяснять — значит, в сущности, оправдывать. И вот, когда старые общественные отношения были, казалось бы, снесены до основания, марксова идея о человеке как „совокупности общественных отношений” обнаружила свою конформистскую сущность. Она служит теперь обоснованием глухого пессимизма и бездеятельности, поскольку личной инициативе одиночек противопоставляет неодолимую массивность социальных факторов.

Согласившись, что история складывается все-таки из действия отдельных волей, мы снимаем то различие, которое привыкли проводить между личным и социальным поведением. Ведь обычно (и это характерно для „советского человека”) мы запросто прощаем себе такие имеющие социальную значимость поступки, какие никогда не позволили бы себе в личной жизни. Солгать, проявить жестокосердие, оправдать, а то и сделать жестокость многим ничего не стоит, если это требуется по службе или на собрании. Это раздвоение обуславливает всеобщее покорство социальному злу и тогда, когда это зло всем видно, то есть когда оно неприемлемо с точки зрения личных ценностей. Тут возникает иллюзия, будто мои социальные действия производятся вовсе не мною, а некоей объективированной силой, которая через меня лишь действует и противиться которой нет никакой возможности.

Этому достаточно успокоительному взгляду на себя и окружающий социальный мир много способствовало марксистское учение от „отчуждения”, которое не случайно нашло много поклонников в нашей интеллигенции за последние годы (я сам был среди них). Оно переворачивает действительный смысл социальных отношений как отношений прежде всего *межличностных*, снимает главный для каждого человека вопрос об его собственной ответственности за всю совокупность своих поступков, высказанных им идей и поддержанных

им мнений. Это учение хорошо объясняет, почему люди бес-
сильны перед ироническим актом отчуждения их собственных
сил и способностей. Но оно ничего не говорит о той активной
роли, которую могут играть эти силы и способности. Механизм
снятия отчуждения, предложенный Марксом, не сработал в
России. И поэтому осталась только доказывать, что отчужде-
ние и в нашем обществе сохранилось, если не усилилось. Это,
разумеется, отнюдь, не ортодоксально. Однако, в советском
контексте, оно может оправдывать конформизм.

Следует, впрочем, признать, что импульс к конформизму,
как и вообще все, что составляет психологическую структу-
ру личности, — первичней любых способов его философско-
го обоснования. Для конформизма важен не действительный
метафизический или логический состав той или иной теории,
а ее статус, степень ее общепризнанности, ее авторитетность и
авторитарность. Поэтому и марксизм оказывается удобен
для конформистов лишь постольку, поскольку он узурпи-
рует себе место единственно правильной идеологии и претен-
дует на господство.

Для той же роли, например, использовалось прежде и сно-
ва начинает использоваться русское православие. Идея „свя-
той Руси” как бы выдает индульгенцию нации независимо
от превратностей ее истории, независимо от того, что она дела-
ет или что с ней делается. Эта идея как бы предусматривает,
что ответственность за все плохое несут некие превосходящие
силы или обстоятельства, но не конкретные представители
нации, не мы с вами. В данном случае мы имеем дело с бо-
лее примитивным и менее аргументированным способом оп-
равдания собственной безответственности, чем марксистская
теория отчуждения. То, что она в последнее время стала рас-
пространяться даже среди оппозиционно настроенных по отно-
шению к советскому режиму людей, — не обнадеживает. Ибо
не в давлении внешних обстоятельств, не в происках чужаков-
злоумышленников, не во вредной и коварной марксистской
идеологии, занесенной с Запада и совратившей малых сих,
а в нас самих следовало бы искать источники зла. Отворачи-
ваясь от этого фундаментального довода или стараясь раз-
личными боковыми уловками сократить его энергию, мы лишь
усугубляем свою беду.

Может быть, интересно будет отметить в этом месте, что Ф.М. Достоевский, которого по праву называют „пророком русской революции”, предусмотрел и это желание переложить ответственность после того, как все уже случилось, на некую таинственную и обязательно не русскую организацию. На страницах „Бесов” мы встречаем, например, такие замечания: „В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых „передовых” говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, но все же с определенной более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только без всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки „передовых”, которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только она сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается.” Хотя и есть в этом отрывке некоторые излишне резкие выражения, но социально психологический механизм революции раскрыт удивительно ясно и верно. Какая бы то ни было отчетливая цель отсутствует. Просто, когда основы социального порядка расшатываются и узы контроля над поведением людей слабеют, на поверхность всплывают суетливые людишки, которые спешат реализовать свое своеволие. Вскоре они неизбежно оказываются во власти какого-нибудь демагога, но по прошествии времени они охлаждаются, разочаровываются. И вот тогда перед ними возникает вопрос: как же с ними могло случиться *такое*? Чего ради наделали всякие гадости?

Ответ, который искали действующие лица романа „Бесы”, только лишь начиная высвобождаться из-под власти овладевших ими нечистых сил, очень напоминает то, что без конца твердят в русской эмигрантской печати, а отчасти даже и в произведениях, написанных внутри России. „У нас вот говорят теперь, когда уже все прошло, — продолжает Достоевский, — что Петром Степановичем управляла *Интернационалка* (кур-

сив мой — Б.Ш.), а Петр Степанович Юлией Михайловной, а та уже регулировала по его команде всякую сволочь. Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда вдруг оплошали? ... Теперь все приписывают, как я уже сказал, Интернационалке. Идея эта до того укрепилась, что в этом смысле доносят даже наехавшим посторонним.”²

Но если не отводить намеренно или по слабости глаза, то станет ясно, что главная причина все-таки не в „Интернационалке”, а в нас самих, и не в том, что нас обманом увлекли какой-то идеей, а в нашей безидейности.

П.Я. Чаадаев начал свою „Апологию сумасшедшего” с саркастической благодарности милосердию правительства Николая I, которое поступило с ним намного мягче, чем ожидало общество. „В сущности, — писал официально объявленный сумасшедшим человек, — правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного числа лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренне считает серьезным желанием страны?”³

Вот так и по сей день притеснения и наказания, которые на нас как бы невзначай обрушиваются, лелеются в наших же душах. Мы сжились с ними. Они вошли в сердцевину наших эмоций, идей и действий. Мы постоянно знаем о их вероятности и не удивляемся, когда они оказываются налицо. Мы ожидаем их в совершенно определенных пунктах нашего существования и не только не протестуем, но удивляемся и недоумеваем, если их почему-то (не по нашей ли оплошности?) не оказывается.

Перечитывая Чаадаева и встретивши то место, которое я процитировал выше, я вспомнил один эпизод, оставивший во мне весьма неприятный осадок. Чаадаевская ирония осветила глубинно-психологический, а не только поверхностный смысл, который смог уловить я сам.

Встретился я однажды под Москвой с одним литературным критиком, которого всегда считал порядочным человеком, как и он безусловно себя считал. Как водится при подобных

встречах, он спросил о новостях. Это обычно в нашей среде, поскольку устная молва заменяет нам отсутствующие газеты. Я сказал, что на днях арестовали Андрея Амальрика. „Наконец-то!“ — была короткая, как вздох облегчения, реакция моего собеседника.

Почему он так ответил? Разумеется, сам факт, что еще кого-то упекли за решетку, не доставлял ему радости. Но Андрей Амальрик, острый и умный литератор, стал публиковать свои книги за границей совершенно открыто, не прикрываясь псевдонимами, не притворяясь, будто его рукописи попали на Запад без его ведома. Он добивался даже права открыто получать за них гонорары. Но еще более шокирующим было то, что Амальрик не обнаружил и тени намерения как-то причесть свои писания на случай, если его притянут к ответу. В них невозможно было усмотреть какие бы то ни было следы работы всем знакомого и вездесущего, проникшего даже и в Самиздат, так называемого „внутреннего редактора“. И вот те, которые смогли прочитать поистине свободные произведения Амальрика, — а это, надо заметить, были все-таки „избранные“, так как далеко не до всех доходят подобные вещи, — пришли в замешательство. Почему его не арестовали немедленно? Это заботило. Разошелся сам собою слух, вероятно нелепый и все же испортивший Амальрику много крови в его последние дни на свободе, будто он агент КГБ. Независимое поведение писателя могли объяснить только тем, что он находится в совсем уж гадкой зависимости. Иного не понимали.

А потому и в глазах моего бывшего знакомого арест Амальрика возвратил мир к норме, к равновесию. Теперь он еще более утвердился в уверенности, что некоторые вещи делать не следует, поскольку они опасны. Он нашел подтверждение для своей робости, а потому и вырвалось у него: „Наконец-то!“.

Увы, такая реакция скорее типична, чем единична. Точно так же, например, непрерывно рождались слухи о том, будто самый авторитетный и самый длительно сохраняющийся периодический орган движения за права человека — „Хроника текущих событий“ — тоже дело рук КГБ. Тут, как и в случае с Амальриком, не было абсолютно никаких разумных резо-

нов. Зачем нужно КГБ разглашать сведения о своих противозаконных действиях, которые эта организация, наоборот, всемерно старается сблещать втайне, — объяснить невозможно. Тут действовали не столько доводы, сколько эмоции. Люди верили и верят, что они бессильны, а противостоящее им государство всесильно. И для укрепления этой веры они не скупятся на выдумки, которые, в сущности, граничат с предательством.

К той же категории социально-психологических явлений можно отнести и невольную, едва скрываемую радость, с которой неизменно встречает наша вольномыслящая общественность известия о том, что кто-нибудь из диссидентов, под давлением преследователей, под страхом наказаний, заявил о своем раскаянии или — еще лучше — начал давать показания на своих товарищей. Эту нечаянную радость одна остроумная женщина назвала „жаждой Иуды”.

Насколько люди действительно хотят слышать подобные новости, видно хотя бы по тому, как они их раздувают и преувеличивают. Вот даже и Солженицын написал: „Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Несколько исключили из партии, нескольких из союзов, да семеро дюжин „подписантов” *вызвали на собеседование* (курсив Солженицына — Б.Ш.) в партком. И бледные и потерянные возвращались с „собеседований””.⁴ Почту за долг сказать, что это — неправда. Не „семеро дюжин”, а около тысячи было „подписантов”, а „бледных и потерянных” было меньше десятка. Люди не отказались от обвинений правительству, под которыми они поставили свои подписи. Многие из них навсегда потеряли работу, заработок, оказались превращенными в изгоев и несут это бремя годами, хоть требовалось от них сказать лишь несколько слов притворного отречения. Зачем же вот так, огулом, давая волю какой-то своей эмоции, лишать их единственного права, которое они сохранили, — права на уважение?

Не к лицу нам обманываться: мы — соучастники той реальности, в которой вольно дышит произвол. Лишь немногие, да и то лишь те, кто не успел, кто помоложе, свободны от этого груза на своей совести. Иногда кажется, что лишь милосер-

дием правительства или нежеланием можно объяснить, что террор и преследования не приняли вновь сколь угодно грандиозные масштабы. Мы — и будущие жертвы, и палачи, и зрители — восприняли бы их, как нечто столь же естественное, как смена дня ночью.

И, пока продолжится это состояние, нам остается только тосковать по истории.

III

Но подчеркиваю со всей решительностью: проблемы жизни, проблемы истории не решаются простейшими моралистическими доводами. Думая иначе, неизбежно окажешься под обаянием того самого максимализма, который неизменно начинается с истерической взвинченности и кончает растерянностью, если не предательством, начинает цареубийством, а кончает дегаевщиной. Цикличность этих двух сменяющих друг друга состояний — тоже последствие бытия вне истории.

Личность не складывается, как из детских кубиков, — из моральных прописей. Ее сложная, накопленная внутренними борениями, горечью осознанных поражений биография протягивается из относительного в абсолютное, но не сливается ни с тем, ни с другим, что было бы равнозначно духовной смерти. Личность живет в истории, а не по произволу своих, пусть даже по видимости добрых, но отвлеченных намерений.

Максимализм прописной морали как раз и убийственен для полноценной личности. Он гонит и преследует ее, раздавливая своей тупой тяжестью. Он ориентирован на безликие клише, исключаяющие какую бы то ни было творческую инициативу. Среда, где он на месте, — нечто вроде советской школы, где есть всевластный учитель и дети, ждущие от него хороших отметок. Такой максимализм подспудно предполагает, что только скопом, только согласно маршируя, люди могут что-то значить. Он не знает товарищества, а только вождизм. И ведет он с неизбежностью от одной формы неисторичности — к другой, совершенно подобной. Мы нуждаемся в осмыслении русского исторического прошлого, которое вывело бы нас из пустопорожного противопоставления хулы или

похвалбы, в равной мере проистекающих из отношения к истории, как к чему-то, нам внеположному. Ведь достаточно уяснить себе, что историческое прошлое — это *наше* прошлое, что оно продолжает жить в нас и в своем хорошем, и в своем плохом, чтобы познание его перестало быть проблемой амбициозной.

Прошлое живо лишь тогда, когда его преобразуют, развивают, совершенствуют, когда слагается в деятельно-творящее ядро личностей, которые по самой своей природе неспособны застыть в самодовольстве и вялой терпимости к собственным порокам. Самодовольство, самовосхваление, глупое выставление себя в качестве некоего образца для всех времен и народов стали в нашем обществе причинами и симптомами омертвления. И их прежде всего надо сломать.

Прощать другим и быть бесконечно требовательным к себе — эта христианская норма определяет собою не только личное поведение, но и поведение историческое, социальное. Понятая и воплощенная в живое действование, она, можно надеяться, многое изменила бы в культурном обиходе русской жизни. Из нашего продолжающего кровоточить прошлого, из нашего безвременного настоящего мы начинаем это понимать.

Время? — Это дано.

Время не подлежит обсуждению.

Подлежишь обсуждению ты,

Разместившийся в нем.

(Наум Коржавин)

Тоскуя по истории, по переменам, которые хоть немного сблизили бы условия нашего существования с вытекающими из его глубин духовными императивами, мы слишком робко и слишком редко признавались себе, что застой и безвременье исходят из нас самих, что и чаемые перемены постоянно мерещатся нам как внешние, но не как внутренние, духовные. Мы склонны полагать, что если бы переменились обстоятельства, если бы, скажем, у действительности невзначай появилось „человеческое лицо”, то и мы, чего доброго, обзавелись бы „человеческими лицами”. Однако на самом-то деле все происходит как раз наоборот.

Мы не научились понимать постепенности и последовательности исторического движения. Мы не видим и не признаем светотени, а только лишь контрасты между черным и белым. Мы ждем сразу всего, как манну, которая внезапно падает с неба, и, как результат, остаемся с пустыми руками. Ведь в истории все достигается лишь трудом и терпением поколений.

Нам и по сей день недостает здравомыслия, ответственности, сдержанности и взвешенности выбора, беспристрастия самоанализа, который открыл бы наши грехи и наметил бы способ их постепенного одоления, той *меры*, которая, собственно, и есть созвучность индивидуальной воли с всеобщими тенденциями исторического бытия. Обладая мы всем этим, то были бы не анархистами и не рабами (что, очевидно, суть — крайности одного и того же), а *делателями*. Отсутствие этих качеств вовсе не формирует некую иную, но будто бы равноценную западной культуре духовную субстанцию, как веками обольщались в России, а именно — изъян, бесформенность, душевная лень, делающие существование безысходным, — не мистицизм, а убивающая все живое пошлость.

Сегодня уже нельзя тешиться грезами о собственном, будто бы мистически ниспосланном нам совершенстве, которое не умаляется тем, что мы творим, как живем. Ведь все ясно и по-будничному уныло в том мире, в котором мы живем. И эта ясность, пусть и удручающая, эта кричащая нагота — единственное наше достояние, зачерствелый хлеб правды, залог надежды, которым, быть может, — как последним предостережением, — наделяет нас судьба.

Наша историческая импотенция открылась сегодня для честного взгляда, незамутненного самолюбованием и трусостью.

Я рад, что это выразилось страстно и ярко в работе, написанной неизвестным мне автором и прежде меня. В том я вижу подтверждение справедливости того, что сказал выше. Я имею в виду статью А. Веретенникова „Молва и споры”, опубликованную недавно в самиздатском сборнике „Август четырнадцатого” читают на родине”. А. Веретенников утверждает: „... тема исторического беспамятства, тема „паучьей

глухоты” вырастает в моем сознании до сознания национальной катастрофы, в преддверии которой, несмотря на начавшееся пробуждение, все еще стоит наша страна. Мы не избежим ее, если не осознаем жизненной необходимости учиться у истории, раскрывшей чудовищные потенции зла, но и свидетельствующей о негасимости добра. Мы должны понять, если нам дорого историческое бытие России, что обретение *памяти* для нас сейчас равносильно обретению исторического *будущего*... Ни одна из проблем, стоящих сегодня перед очнувшейся русской мыслью, не может быть разрешена, ни даже правильно поставлена без учета нашего исторического опыта. Ответственное, духовно трезвое постижение прошлого, очищающее сознание от обволакивающих его мифов, — это тот глоток живой воды, в котором, мне кажется, мы сейчас больше всего нуждаемся. Без этого вера в наше историческое будущее — бесплодна”.⁵

IV

Во избежание недоумений и напрасных обид напомним, что со времен Гегеля история теоретически поставлена в нерасторжимую связь с *самопознанием* духа. История, объективно говоря, есть лишь там, где социальное движение совершается через критическое осмысление прошлого, где человеческая деятельность воплощает достаточно отчетливо и ответственно осмысленные цели и идеи. Иначе говоря, история есть лишь там, где она осуществляется народами *свободно*, в меру их собственного понимания и способности к практическому действию. Пусть создаваемое ими каждый раз оказывается не столь идеальным, как, может быть, предполагалось по заблаговременно выработанному плану. Но исторически свободное сознание не страшится признаться в этом, ибо для него восприимство и продолжение традиции — не пустой звук. Для него каждый этап развития — это всего лишь этап, переход от прошлого к будущему, и подобно тому, как прошлое оставляет нам какие-то задачи, так и мы, сделав то, что было нам по силам и по разуму, оставляем незавершенную работу будущим поколениям. В этом отношении и субъективное осмысле-

вание истории, разработка ее как отрасли знания, как науки неперенным элементом включается в процесс социального созидания.

И вот в таком конкретном, а не высокопарно гиперболическом смысле у нас нет истории. Культура и совесть, которые в нормальном историческом процессе являются сердцем, двигателем развития, у нас постоянно находились, а сейчас и подавно находятся на положении пасынков. Культуре предписывается служебная (чтобы не сказать — „лакейская”) роль восхвалителя и одобрителя всего того, что делает правительство. Собственного голоса в общественных делах она систематически и в государственно организованном порядке лишается.

Некую законченность это своеобразное отношение между практикой управления и историософским сознанием получило еще при Николае I, то есть с того самого момента, как были сделаны первые попытки свободного понимания русской исторической стихии — как в славянофильском, так и в западническом духе. Предпринятые при последующих царствованиях попытки внести в жизнь России более сознательный элемент ни к чему не привели, поскольку завершились большевистской катастрофой. Теперь же, как бы зря прожив целое столетие, мы возвратились к тому общественному статусу исторического сознания, который был предугазан ему беспощадным победителем декабристов.

Чтобы придать этой оценке наглядность, вспомним хотя бы ставшую классической характеристику уваровской идеи официальной народности, как она была дана историком XIX века А.Н. Пыпиным: „Во внутренних делах история требовала безграничного авторитета власти и самой полной опеки над всеми сторонами государственной, народной и общественной жизни... Следствием было чрезвычайное распространение бюрократии, которая оставалась для центральной власти единственным средством управления и контроля. За обществом не признавалось никакого значения; общественное мнение лишено было всякого влияния; общество не могло ничего делать в своих интересах, даже самых элементарных, и могло двигаться только в данных рамках; за него думали и действо-

вали канцелярии, а ему оставалось повиноваться ... Дела обыкновенно шли прекрасно на бумаге, но никто не сверял бумагу с действительностью".⁶ В те времена, как и теперь, не полагалось даже одобрять правительственные действия, если за этим стояла хоть тень самостоятельного суждения.

Предвижу, впрочем, что сама моя попытка сопоставить царское прошлое с советской современностью может вызвать нарекания. Скажут, что тогда была власть законная, народная, а теперь — узурпаторская, что даже и в самые тяжелые времена русского прошлого, хоть и в николаевскую эпоху, не было такого масштаба насилий и террора, как при советах, что при том же Николае I и смертной казни-то не было, а если и были приговорены декабристы к четвертованию, то, во-первых, заменено оно было милосердно повешением, а, во-вторых, и повесили-то всего только пять человек. Но я и не пытаюсь сравнивать масштабы. Я хочу лишь показать, что в русском обществе и при Николае I, как и при других государствах, не было свободы, что между царизмом и советизмом есть все-таки преемственность в угнетении. Для исторических перемен важны не столько количественные, сколько качественные показатели. Склонность же за количественными различиями упускать качественное сходство — всего лишь одно из проявлений неисторичности сознания. Идеализация прошлого в ущерб современности — характернейшая из ее черт, ибо положительное и отрицательное, хорошее и дурное мыслятся не историческим сознанием как априори данные, рядоположенные, а не существующие в борьбе, в эволюции, в процессе, который осуществляется в нашей собственной деятельности и на нашей ответственности.

Прежде, при царях, правительство действовало именем Бога, теперешнее же подпирается авторитетом „единственно истинной науки”, и разница эта отнюдь не лишена принципиального смысла. Но все же представительство от имени Бога и представительство от имени науки обладает и глубоким внутренним сходством, поскольку в обоих случаях истина предполагается заданной заранее и присваивается властями предрешающими. По отношению же к заданной заранее и подкрепленной правительственным авторитетом истине плюра-

лизм мнений просто немыслим. Отношение к истине всех людей может быть только единогласным, тотальным. С другой стороны, любая попытка инакомыслия не может рассматриваться всеми иначе, чем явная и злонамеренная ересь. Отсюда — и абсолютизм наших мнений, и отсутствие терпимости, которые в конечном счете не зависят от того, в чем конкретно эти мнения состоят.

Наиболее ярко и, так сказать, архитипически российская психологическая предрасположенность к единогласному послушанию сказалась в подчинении церкви государству в тех формах, какие оно приняло в синодальный период и поддерживалось всеми царскими правительствами, какими бы правомерно православными они не намеревались выглядеть. Неуважение к духу начиналось с самодержцев и внушалось народу. Опасность такого положения понята была уже давно, но сила инерции была велика, а влияние самостоятельной мысли на ход общественных дел — ничтожно. Абсолютизм принимаемых и исповедуемых мнений постоянно мешал в России подмечать внутреннюю непоследовательность.

В той мере, в какой это зависело от органов государственного принуждения (а от них неизменно зависело слишком многое!), не только религия как высшее достижение духовности, но и любые другие формы культуры и духовного творчества понуждались к не свойственным их природе обязанностям.

Но это не был западно-„буржуазный” прагматизм, к которому принято относиться на Руси с презрением. Польза, которой требовали от культуры, вовсе не заключалась в пролитии света, способствующего решению каких бы то ни было жизненных проблем и достижению хоть насущных, хоть приземленных, но все-таки целей. Она ограничивалась и измерялась интересами правящей верхушки, которая хотела править спокойно и беспрепятственно. Соответственно — религия, наука, искусство превращались в некие суррогаты, назначение которых — заполнять пустое место, закупорив, законопатив все подходы к подлинной религиозности художественного творчества, которые вскармливаются только свободой, но не очередным бюрократическим циркуляром.

И пагубность нашей цензуры, между прочим, не исчерпывается только лишь произволом цензоров. Она — глубже, поскольку цензура наша столетиями исходила из совершенно извращенного представления о сути, о смысле и задачах всякого творчества, навязывая и продолжая навязывать невежественное „понимание” обществу. Будучи, так сказать, по своему служебному положению лишены критического мышления, как кастрат — производящей силы, цензоры наши всегда судят по неким внешне предписанным атрибутам. Их задача — сберегать шаблон, каков бы он ни был. И если даже допустить, что цензура сберегает истину, то она уже мертва хотя бы потому, что нуждается во внешней защите и не может постоять сама за себя. Цензура — это дьявольский механизм, разрушающий живой организм сознания на куцые обрубки, мимолетно возникающие и исчезающие, не оставляя по себе следов. В ее скрипучих колесах застревают ошметки мыслей, сочиненных на потребу слепой нужде сегодняшнего. Она переиначивает и роль исторического самосознания таким образом, что мимолетные интересы настоящего, становящиеся при этом грубо корыстными, затмевают прошлое, ложатся на него густой тенью, делают его как бы небывшим, а познание его — запретным, якобы вредным.

Но поскольку цензура и выражает как раз государственное отношение к культуре и творчеству, специфически правительственную манеру интересоваться ими, поскольку, с другой стороны, государство выступает у нас как единственная активная сила социального действия, то одного господства цензуры достаточно, чтобы превратить существование в некий анабиоз, сделать его *неисторическим*.

Говоря словами Александра Галича:

Уходят слова, и приходят слова,
За правдою правда вступает в права.

Согласно правительственным установкам, выраженным Комиссией духовных училищ еще при Екатерине II, преподаватели по истории обязывались оберегать учеников: во-первых, от критицизма; во-вторых, от систематизма, стремящегося к поиску единой исторической идеи. Преподаванию истории придавалось исключительно лишь воспитательное значение,

которое предполагало преподнесение ученикам неких освященных временем образцов патриотической жертвенности и героизма. Развивая эту концепцию, даже такой вольномыслящий просветитель екатерининского времени, как Н.И. Новиков, подчеркивал: „Сколько полезно нравоучение, столько бесполезны теории”.

Но, будучи поглощен воспитательными задачами, историк неизбежно оказывается фальсификатором, так как обязан удалять одни факты и реалии, знание которых наталкивало бы учеников на нежелательные критические сопоставления, а с другой стороны выпячивать другие, благоприятные для предписанного воспитательного воздействия. Он вынужден будет поступать с историей так же, как благонамеренные педагоги, приспособливающие шедевры мировой литературы для детского чтения. В конечном счете исказится вся картина исторической жизни, которую ведь человечество ведет всерьез, мало заботясь о назидании потомков.

Нравоучительного историка не интересует прошлое, как оно было. Даже более: прошлое для него попросту не существует, деятели его мертвы и постольку беззащитны перед благонамеренными интерпретациями. С ними можно не церемониться, как при этом ни божиться любовью к „героическим предкам”. Принявшись морализировать посредством специально для этого препарированных исторических сведений, историк перекраивает события и бессмертные души деятелей прошлого ровно по выкройке сегодняшнего дня.

Но зато сегодняшний день выглядит у него так, будто он вечен. Из всех уроков, какие может дать прошлое, извлекается лишь один: житейская важность подлаживания к современным обстоятельствам. Охранительство вытесняет всякий иной смысл, какой только можно предположить в историческом сочинении. Исчезает не только историческое значение, но и способность исторического действия. У историка остается лишь одна задача, с похвальной откровенностью высказанная придворным историком Николая I М.Н. Погодиным: „Сделать российскую историю охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия.”⁷

Главное же заключается в том, что при подобных мето-

логических установках изучающий историю рассматривается как *объект* воспитательного воздействия, но не как *субъект*, призванный вынести собственное суждение. Курьезность этой ситуации особенно выпячивается тогда, когда на место воспитуемого попадает ученый, историк. Чем бы и как бы он ни занимался, его воспитывают до гробовой доски. Ведь цель и польза его деятельности исчислены заранее, эффект его писаний предусмотрен еще до того, как он сел за письменный стол. И вовсе не требуется рыться в архивах, сверяться с источниками, чтобы знать, какой должен быть результат.

С исторических реалий, которые историк описывает, взятки гладки: они были, какие были. Но с него, коль скоро ему доверена государством роль воспитателя, можно и должно спросить: а чему же он учит?

Во второй половине XIX века и в начале XX развилась у нас блестящая историческая школа, которая, разумеется, ни в какой мере не подпадает под изложенные выше характеристики. Историософское осмысление путей и судеб России волновало крупнейших русских мыслителей. Теоретический интерес к отечественной и мировой истории бесспорно составил одну из важнейших особенностей русской культуры. Но беда наша, что эти богатства исторического знания, отнюдь не кабинетные по своей сути, оказались оторгнутыми от практических приложений. Им не дано было стать общественным достоянием.

Что же касается самой советской исторической науки, то она утратила всякий вкус к такой постановке проблем, при которой исследователь решал бы на материале прошлого собственные экзистенциальные задачи. Взгляд его должен быть холодным и отстраненным. Сам стиль исторических писаний стал сухим и неудобочитаемым, что признается теперь непременным свойством научности. Нарушения этой оскотпляющей нормы единичны, и их легко пересчитать на пальцах. Историки разучились вступать в диалог с прошлым, прислушиваться к его живому голосу. Они узурпировали себе место судьи или классного наставника, расставляющего оценки историческим явлениям и выносящего не подлежащие пересмотру приговоры. На практике, правда, эти приговоры оказываются не

столько твердыми, сколько ломкими. Они часто сменяются на совершенно противоположные в зависимости от нужд политической конъюнктуры. Но это не мешает аподиктичности их тона. Деятели прошлого обязательно делятся на агнцев и козлиц, причем козлицы, как правило, именуются агнцами. Историческая истина предполагается известной заранее, остается лишь распределять, кто злонамеренно от нее уклонился, кто „вплотную подошел“, а кто не дошел и „остановился“.

Отчасти — должно признать — тут повинна марксистская методология, унаследовавшая от гегельянства претензию на привилегированное положение пришедшего к равенству с собою мирового духа, впадшая в роковой соблазн раз навсегда теоретически „закрыть историю“. Но тем легче это не просто методологическое, но человеческое заблуждение, этот грех гордыни был воспринят несчастными, силою традиции оказавшимися вне истории и не знающими, как к ней подключиться. Потому-то им и кажется, что о прошлом можно судить и рядить, как предписывают схемы. С бездумным легкомыслием они принимают позу людей, стоящих вне исторического потока или даже управляющих им по своему усмотрению.

Но напрасно им кажется, будто из истории можно „отстраниться“. Утратив чувство созвучности и соразмерности с историей, становятся не ее властителями, но жертвами. Думая, будто уверенной рукой меняют ее русло, на самом-то деле беспомощно барахтаются в ее потоке и, увы, не всегда удерживаются на плаву. Поскольку человек лишен органически исторического самочувствия, он заперт для понимания, какими путями и связями его воля участвует в созидании определенных социальных результатов, ему самому мучительных и непереносимых. Так мы попадаем в щемяще жалостливое положение слепых котят, которых либо выкармливают, либо топят в унитазе.

Наша тоска по истории есть желание действительной осмысленности, есть жажда хоть какой-то перспективы, приближение которой детерминировалось бы не чьими-то капризами, а нашими целенаправленными действиями.

Раскрою, наконец, смысл, который с самого начала вкладывал в местоимение „мы”. Признаюсь, он достаточно расплывчат. Тут не может быть и речи о четко очерченной социальной группе, а тем более — о партии, о людях, объединенных определенным мировоззрением или хоть социально-политической платформой. „Мы” — это те, чья израненность действительно переросла в осознанную боль. Боль наша перестала быть близоруким инстинктом, побуждающим жаждать мгновенного избавления или, точнее говоря, избавления хоть на мгновение. Вечная поглощенность „мелочами жизни” отступила перед более основательными заботами. „Мы” уже не можем мимикрировать к сложившимся обстоятельствам, потому что так или иначе, в большей или меньшей степени осознанности признаем себя подлежащими абсолютному нравственному суду. Боль наша вобрала в себя сознание ответственности — исторической ответственности. „Мы”, говоря короче, — это те, чье существование едва ли ни чудом вырвалось из плена заземленного релятивизма материальных интересов и обнаружило в себе потребность приобщиться к миру ценностей, невозможность для себя жить вне их, а тем более — наперекор им.

„Мы” — интеллигенция в специально русском понимании этой категории, то есть люди, которые духовно созрели настолько, что не могут больше бездумно предаваться лицемерию и лжи советского бытия, которым нужно — непременно — свести воедино начала с концами.

Сходный смысл вкладывается в это понятие О. Алтаевым, который писал в самиздатской статье „Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура”: „У нас говорят „советская интеллигенция”, „техническая интеллигенция”, „творческая интеллигенция”, в одной книге даже „византийская интеллигенция”. Это наименование присваивается ныне всему без разбора образованному слою, всем, кто занимается умственным, не ручным трудом. А это неверно, у нас исказился первоначальный смысл слова. Исходное понятие было весьма тонким, обозначая единственное в своем роде историческое со-

бытие: появление в определенной точке пространства, в определенный момент времени совершенно уникальной категории лиц, помимо указанных выше качеств, буквально одержимых еще некоей нравственной рефлексией, ориентированной на преодоление глубочайшего внутреннего разлада, возникшего между ними и их собственной нацией, между ними и их собственным государством”.⁸ Я бы только прибавил сюда — причем, как главный, основоположный — разлад интеллигентов с самими собою.

Русская интеллигенция — придавленная, придушенная, в большей части своей просто физически истребленная за десятилетия недавнего террора — явным образом восстала из пепла на наших глазах и памяти. Через нее, ее усилиями и жертвами прорвалось в нашу затхлую, стоячую жизнь легкое дуновение истории, заявило о себе нечто незапрограммированное, творческое. И не только заявило, но и стало преградой для разгулявшегося своеволия.

Впрочем, на этот счет есть и иные мнения, которые трудно обойти молчанием. А.И. Солженицын в гневной статье под названием „Образованщина” (сборник „Из-под глыб”) отрицает и сам факт возрождения русской интеллигенции, и ту ее роль, о которой говорил О. Алтаев, как и некоторые другие самиздатские авторы — например, Г. Померанц. Сам термин „образованцы” был введен в литературу, кажется, Г. Померанцем. И именно для того, чтобы отличить многочисленный слой специалистов, которым советская власть дала образование, чтобы они служили ей не за страх, а за совесть, — от тех сравнительно немногих, для кого подлинный, свободный смысл знания и творчества снова начал быть внятен. Солженицыну такое различие не понравилось. Поэтому он распространил понятие „образованщины” на всех образованных людей вообще. Образование, знание превратилось в его интерпретации в отрицательный атрибут, стало как бы синонимом лакейства.

Вот его аргументы: „Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни, утонул в мещанской идеологии, весь ушел в материальные заботы, получение квартир, покупку безвкусной

мебели (уж какую продают), в карты, в домино, телевизоры и пьянку — то намного ли поднялась образованщина, даже и столичная? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки?” И далее: „ ... не оправдаешь центровую образованщину как прежних крестьян тем, что они раздроблены по волостям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Интеллигенция во все советские годы была достаточно информирована, знала, что делается в мире, *могла* знать, что делается в стране, но — отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле *общем*”.⁹

Увы, в этих оценках легко заметить сильные перекосы. Интеллигенция во все советские годы не была достаточно информирована. Ей всегда выказывалось недоверие. Достаточно информированными были высшие чиновники, работники партийного аппарата и „органов”, у которых образованность явно не была главным из пороков. Интеллигенция в советские годы была разобщена — не в том смысле, как крестьяне, а именно как мыслящая часть общества: она лишена была средств свободного обмена идеями и сведениями, разбита на мельчайшие атомы взаимным недоверием и страхом. Если в послесталинское время положение стало меняться, то только благодаря усилиям и жертвам, связанным со сбором информации, с ее „изготовлением и распространением” — употребляя выразительный язык ныне действующего Уголовного кодекса. С другой стороны, простые рабочие и крестьяне, хоть и были давимы локально (чем не отличались от интеллигенции), но все-таки не могли не знать о том, что делается в стране, так как составляли, и контингент жертв и контингент давителей. Ведь и сам Солженицын, вероятно, не решится утверждать, что следователи, вертухаи, доносчики, партийные активисты и безымянные исполнители смертных приговоров рекрутировались исключительно из среды обладателей университетских дипломов.

Вообще должно признать, что традиционное русское противопоставление интеллигенции и народа утратило свой смысл при советском режиме. Уничтожение старых привилегированных сословий и всеобщее образование, при котором неизмен-

но дается предпочтение выходцам из рабочих и крестьян, смыли давнюю границу, отделяющую интеллигенцию от „простого звания”. Этому же способствовала и нивелиция быта, в результате которой интеллигенты — а они теперь сами оказались в большинстве своем недавними выходцами из народа — жили примерно в тех же условиях, в тех же коммунальных квартирах. Еще больше интеграции интеллигенции и народа способствовали концентрационные лагеря, а также последняя война.

Об этом сам Солженицын хорошо и глубоко писал в своем романе „В круге первом”, суммируя жизненный опыт своего героя-двойника Нержина: „Как тем, как образованным барам XIX столетия, образованному эзку Нержину, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать *норму*. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но — как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.”

И вот, когда отпала причина переживать комплекс вины перед народом, когда отпали привилегии, предоставляемые образованностью, исчезла внутренняя потребность в идеализации „простых русских людей”: „Нержин понял, что *спускаться* ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества ... Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околоть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — они спешили улыбаться ему навстречу. А еще они были намного жадней к мелким благам: „дополнительной” прокислой стограммовой пшенной бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той *точки зрения*, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось — быть самим собой.

Отболев, в который раз, каким увлечением, Нержин — окончательно или нет? — понял Народ еще по-новому, как не читал нигде: Народ — это не все, говорящие на нашем языке

ке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать человеком.

И через то — крупницей своего народа”.¹⁰

Разрушение вековой иллюзии, которая побуждала русскую интеллигенцию „ходить в народ” то ли за политической поддержкой, то ли за устоявшимися и прочными нравственными идеалами, — это и есть новое, внесенное историей советского режима в духовную и интеллектуальную ситуацию мыслящего русского человека. Эту новую ситуацию раскрыл Солженицын своими романами „В круге первом” и „Раковый корпус”.

Солженицын, наряду с другими писателями-диссидентами, дошел до понимания того, что проблема свободы в конечном счете упирается в личный выбор, который призван произвести каждый и который определяется не социальным положением, не наличием или отсутствием диплома, а „точкой зрения”, которая становится дорожкой самой жизни.”

В советском обществе разрушены социальные перегородки, отделявшие прежде одно сословие от другого. „Путь наверх” открыт для каждого, кто готов проявить для этого соответствующие качества. Как бы ни относиться к образованию, нельзя не признать, что оно среди этих качеств не числится. Прямо-таки плакатным подтверждением этого являются нынешние вожди, которые не только не блещут знаниями, но и грамотно по-русски говорить не научились. Служебное положение на лестнице государственной иерархии не определяется ныне ни деловыми качествами, ни знаниями, ни происхождением. Оно зависит лишь от способности быть своевольцем, любить своеволие больше всего на свете, а потому восхищаться более могущественными своевольниками и покорно, с лестью и подбострастием служить им.

В этих условиях и совершилось возрождение русской интеллигенции. В ней восстановились прежние достоинства самоотверженности, глубокого сознания своей собственной ответственности, но без прежних упрощений и наивностей.

Зачем же сегодня снова обращаться к прежним предрассудкам?

Правда и то, что, возникнув внезапно, как внезапно выпадает в осадок новый элемент при некоей химической реакции, интеллигенция сразу начала разлагаться. Она представляет собою нечто значительно более эфирное, прозрачно духовное, чем ее дореволюционная предшественница. В том-то все и дело, что на сей раз предчувствие исторического понимания, тоска по истории пробились в среде людей по статусу своему служилых, как и все советские люди, предназначенных быть верными слугами государства — и только. Отказаться или хотя помедлить в исполнении того, что им предписано, — означает для них автоматическое выпадение из намертво закрепленной общественной системы. Именно актом своего *протеста*, а не путем конформизма они отчуждаются от так называемого „народа“.

С другой стороны, и сознание у новой интеллигенции не окрепшее, почти по-детски наивное, никак не соответствующее головокружительной сложности предстоящих задач. Возникшая неприязнь к безвременью, составляющему самую суть нашей жизни, — безвременью, на котором наша жизнь покоится, — далеко не сразу обещает действительную над ним победу. Это — лишь тщедушный зародыш, который может прорасти в мощное древо исторического развития, но может и зачахнуть. Причем, признаться, сегодня видится значительно большая вероятность этого второго, печального исхода.

Но вина за то лежит, конечно же, не на образованности, а на неправильном ее применении. Трудно предположить, как еще, кроме знания, которое синтезировало бы жизненный опыт каждого с жизненным обществом человечества, собранном в книгах, в культуре, — как еще может быть выработана в наших условиях та самая „точка зрения“, которая дороже жизни”. Знанием, только образованностью дается память о прошлом, нелицеприятное и объективное понимание истории, которое ложится в основу современной исторической активности. Однако в нас гораздо сильнее иное обыкновение. Мы вовсе не приучены воспринимать культурные ценности, как их должно воспринимать при *нормальной* историчес-

кой жизни. За нашу сознательную жизнь — если мы „образованны” — эти ценности проходят перед нами долгим рядом незначущих безделиц: взял в руки, повертел, отложил в сторону, высказал свою тонкую оценку, показав свою „образованность”. Как будто книги, или картины, или спектакли для того создаются, чтобы о них высказывали компетентное суждение!

Такое обладание культурой, такая „образованность” — действительно плоски! Сегодня одна „новинка”, завтра — другая. „Новинки” у нас могут быть пятидесятилетней давности или даже более. Появление их и привлечение к ним внимания обуславливается не внутренним смыслом, не логикой интеллектуального развития, а слепотой и произволом начальства, которое вдруг что-то и пропустит. И „новинки” эти проглатываются своим чередом, никак не откладываясь в личности, не переменив ее. Беда поэтому не в том, что тот или иной человек „образован”, а в том, что он по-человечески пуст, даже если образован. Он искренне не знает, какое употребление можно сделать из культуры, кроме вернисажно-премьерной болтовни по ее поводу.

Кроме того, отдавая должное силе обстоятельств, вновь народившиеся интеллигенты часто начинают тщательно выбирать такие области приложения своих знаний и умственной энергии, которые как можно дальше отстояли бы от чреватой опасными выводами социально-нравственной проблематики. Теплится еще во многих из нас надежда, жестоко и каждодневно разбиваемая, впрочем, жизнью, будто можно свить себе малюсенькое гнездышко, где предавались бы умственному сибаритству. Теплится все еще в нас иллюзия, будто можно отвлечься от коренных, за горло хватающих вопросов нашего социального бытия, занимаясь пока что делами второ-и третьестепенными, но зато столь же приятными, сколь безвредными и безопасными. На своеволие начальства мы склонны отвечать своего рода итальянской забастовкой, занимаясь по преимуществу вопросами, никого не затрагивающими всерьез.

Я не поклонник чернышевско-писаревского утилитарного взгляда на культуру. И не собираюсь я требовать неких немедленно ощутимых плодов от всякой научной или художествен-

ной деятельности. Познание и творчество имеют не только безраздельное право, но долг быть самоценными. Но именно по этой причине они должны прорасти из глубин человеческой экзистенции, но ни в коем случае не вырождаться в то, что еще М.О. Гершензоном было метко названо „праздным обжорством истиной”. Это последнее, распространяясь в среде русского образованного класса еще с XVIII века, не представляет альтернативы писаревщине, а есть по отношению к ней „свое другое”. Оно — такой же результат бытия культуры в стране, этой культуре чуждой, в ней как таковой не нуждающейся: оно — такое же свидетельство бессилия культуры выйти на широкие исторические просторы, заполнить собою и осветить все этажи человеческого существования равномерно.

Уже было сделано проницательное наблюдение (Е. Эткин-дом), что за советское время ощутимо выросло искусство поэтического перевода, ибо поэты, лишенные возможности писать и печатать диктуемое душой, вынуждаются к более нейтральным и академическим занятиям. Можно понять такое положение, но невозможно принять его нормальным. И не только потому, что оно влечет за собою оскотление нашей культуры и непроизводительную затрату лучших поэтических сил, но и потому, что оно лишает нас важнейшего блага — духовного общения и средства ориентации в том мире, в котором мы живем. Иное дело, если бы мощный поток переводной литературы отвечал внутренне назревшей потребности общества и составляющих его индивидов, если бы по известным осмысленным обстоятельствам нам оказались более нужны переводы иностранных поэтов, чем оригинальные творения современного русского гения. Но ведь это же не так! Ведь уход в определенные области творчества диктуется не свободным выбором, а гонениями, а желанием творческих людей примириться к обстоятельствам, исключающим какую бы то ни было творческую активность.

„Лучше заниматься *этим*, чем писать доносы,” — так оправдывал выбор круга своих занятий один известный советский структуралист. Видимо, подобная, по-человечески, впрочем, вполне понятная мотивировка объясняет заметный расцвет в последние годы формальных, сугубо сциентических отрас-

лей знания, наиболее огражденных своим эзотерическим языком от сквозняков советской жизни, от вмешательства разгулявшихся неучей из „партийного руководства”.

Но сквозняки-то дуют, но доносы-то множатся!

И невозможно отрицать, что мы имеем здесь дело с модернизированными приложениями российского пенкоснимательства, уловки которого высмеяны еще М.Е. Салтыковым-Щедриным: „Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для свободного обсуждения”. Как это делается, можно увидеть, полистав хотя бы первый под руку подвернувшийся номер „Литературной газеты”.

Таким-то образом мы сами себе заговариваем зубы, пичкаем себя духовными транквилизаторами. Но зубы от этого не перестают болеть и не перестанут, пока окончательно не сгниют и не будет умерщвлен в них нерв.

Однако — повторяю — ни образование, ни „образованщина” тут ни при чем. Повинно лишь то негодное употребление, которое им дается. А что это употребление не годится, все же многими ощущается. И в затаенной боли поруганного знания, в унижении размененного на безделушки таланта, в подавленности творческих импульсов есть все-таки начало беспокойства, колеблющего мертвую замкнутость советской общественной системы.

Что бы ни говорил Солженицын о трусости, продажности, своекорыстии „центральной образованщины” и как бы ни было справедливо то, что он говорит, — все же, когда он решил обратиться с увещеваниями, чтобы „жили не по лжи”, пришлось призывать, в основном, ее же, „образованщину”. Ибо к кому же все это относится — не писать ни единой фразы, которая искажала бы правду; не повторять таких фраз ни в качестве учителя, ни в театральной роли; не изображать ни живописно, ни скульптурно, ни фотографически, ни технически, ни музыкально ни одной ложной мысли; не приводить „руководящих” цитат — к кому же все это относится, если не к „образованщине”?

Но и призыв-то этот, в сущности, запоздал, потому что невозможность лжи уже давно осознана в нашей среде. И не

только осознана, но привела к рождению независимой, по мере сил правдивой, хоть и подпольной культуры. Да и в мужественных, открытых действиях нельзя сказать, чтобы был недостаток. И именно из среды „образованщины“, из среды писателей, художников, ученых вышли те, кто пошел на открытый конфликт с условностями режима.

Вновь народившаяся интеллигенция показала в наши дни, что она одна способна стать активной силой духовного, а затем и социального преобразования. По крайней мере, она выражает ту боль, которая причиняется безвременьем не совсем закончившим душам. Боль эта благодетельна потому, что она не дает успокоиться, не дает забыться. Она сигнализирует сознанию обуже наступившей опасности и требует действенных мер. Она сводит воедино различные этажи и полочки нашей распадающейся личности, напоминая, что нельзя считать себя здоровым, когда страдает известная часть нашего духовного существа. Она свидетельствует о ранимости, когда действительная жизнь наносит раны.

Короче говоря, именно боль есть начало исторической жизни в нас. Тоска по истории в обстановке безвременья побуждает нас понять, что ни „народ“, ни „государство“, ни „нация“ и никакие из подобных фетишей не содержат в себе перспективы иступленно желаемой нами перемены, если мы сами пассивны. Ныне стало ясно, что история может осуществиться только через нашу свободу, через наш осмысленный выбор.

Осознав тупики истории как наши собственные, раскопав причины их в нас самих, мы тем самым расчистим себе выход. Мы сможем начать с того, что нам подвластно и что является действительной почвой свободы — внутренней, а не внешней. Но для этого нужно не только критически осмыслить историю, но и почувствовать ее своею.

Есть история, к которой мы причастны, эстафета которой — в наших руках, — история русской культуры и ее носительницы, созидательницы — интеллигенции.

Москва-Амхерст, 1974–1975

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. А.С. Пушкин. Письма. Полное собрание сочинений в десяти томах. Изд. третье, т. X, Издательство „Наука”, Москва, 1966, стр. 80.
2. Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т.Х, Изд. „Наука”, Ленинград, 1974, стр. 354-355.
3. М. Гершензон. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление, СПб, 1908, стр. 230.
4. А. Солженицын. Образованщина. Сб. „Из-под глыб”, YMCA-Press, Paris, 1974.
5. А. Веретенников. Молва и споры. Сб. „Август четырнадцатого” читают на Родине”, YMCA-Press, Париж, 1973, стр. 59.
6. А.Н. Пыпин. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов. Исторические очерки. СПб, 1906, стр. 100-101.
7. См. П. Милюков. Главные течения русской исторической мысли. Изд. третье, СПб, 1913, стр. 319.
8. О. Алтаев. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура, „Вестник РСХД”, № 97, 1970.
9. А. Солженицын. Образованщина. Сб. „Из-под глыб”, YMCA-Press, Paris, 1974, стр. 231-235.
10. А. Солженицын. В круге первом. „Посев”, Frankfurt/M. стр.431.

ВОЗМОЖЕН ЛИ СОЦИАЛИЗМ НЕ ТОТАЛИТАРНОГО ТИПА?

I . Формула тоталитарного социализма

Возможен ли социализм не тоталитарного типа? Для многих западных (и немногих советских) интеллигентов этот вопрос неуместен: для них такая возможность является аксиомой. Но аксиома — это лишь одна из гипотез. Что касается фактов, то, не опровергая гипотезы „социализма с человеческим лицом”, они пока что убедительно доказывают возможность и значительную устойчивость лишь тоталитарного социализма.

Как известно, в социалистическом Советском Союзе постановка и серьезная разработка таких проблем действительно неуместна: за это можно получить до 7 лет строгого режима в концлагере или специальное лечение в психиатрической больнице. Можно ли это обстоятельство рассматривать как случайное для социализма?

Не является ли шприц или что-нибудь в том же роде, исправляющее критически настроенные мозги¹, как и многолетние исправительные лагеря, как и отнятие детей у членов независимых религиозных общин,² — такими же естественными спутниками социализма, как, например, пресловутое „отсутствие тревоги за завтрашний день”, вытекающее из отсутствия деловой конкуренции? Конечно, я имею в виду отсутствие тревоги у того молчаливого большинства, которое поняло раз и навсегда, что нерегламентированная критика чего бы то ни было есть опасный буржуазный пережиток!³

Было бы нелепо, однако, думать, что отношения между большинством и государством описываются здесь простой формулой принуждения. Тоталитарный социализм можно описать следующей формулой отличительных признаков.

1. Глобальная монополизация экономической инициативы. При этом —

2. Владение этой инициативой не является пожизненным и не передается по наследству.

3. Глобальная монополизация политической инициативы — с тем же примечанием.

4. Развитие тотального репрессивно-идеологического аппарата.

5. Наличие одной государственной идеи или мифа.

6. Компенсация экономической, политической и духовной несвободы специфическими правами и привилегиями.

Последние четыре пункта этой формулы характерны для тоталитарных режимов вообще. Первые два относятся к социализму того тоталитарного типа, который здесь, в СССР, считают истинным социализмом.

Я намерен в этой статье показать, что первая пара признаков имеет исключительно сильную, хотя и не однозначную связь с остальными. Однозначных связей в человеческом обществе, я думаю, не существует. Однако очевидно, что тоталитаризм, став социалистическим, сильно повышает свою устойчивость и степень необратимости. С этой (и только с этой!) точки зрения тоталитарные режимы, сохраняющие частную капиталистическую инициативу, менее опасны, чем режимы тоталитарно-социалистические, которым, так сказать, „принадлежит будущее”.

2. „Право на труд” в обмен на беспрекословную лояльность

Чтобы уже не возвращаться затем к последнему, шестому, пункту формулы, я остановлюсь на специфических правах граждан СССР. Это прежде всего право на труд (для лояльного гражданина). На практике оно заключается в том, что гражданин освобождается от значительной доли ответственности за результативность своего труда. Это не значит, конечно, что таким правом стараются пользоваться все граждане. Но они им *обладают*, и средний уровень ответственности на своем рабочем месте здесь ниже, чем на Западе. Человек не может стать безработным в силу низкой квалификации, слабого

чувства ответственности или хронической низкой продуктивности.

Таким образом, здесь появляется новый, весьма специфический сорт внутренней свободы, которая даруется, однако, только лояльным гражданам.

Эта свобода есть, безусловно, завоевание социализма, причем именно социализма со сверхцентрализованной экономикой. Здесь нет хозяина, кровно и конкретно заинтересованного в результативности труда каждого работника. И так как это соображение справедливо по отношению ко всем звеньям социалистической экономики, за исключением самой ее верхушки управления, то здесь возникает даже своеобразная круговая порука, взаимная снисходительность к безответственности в деловой сфере.

Я приведу отдельные примеры. Всем известно, как работают в сельском хозяйстве, я бы добавил — и в научных учреждениях тоже, т.е. там, где имеется известная свобода выбора темпов и качества работы. Я знаю случаи, когда научные сотрудники месяцами безнаказанно не появляются на работе или годами выдают липовые, не конкурентно-способные результаты. В столицах многие научные сотрудники со степенями тратят немалую долю времени на подработку частными уроками для школьников — ситуация, совершенно недопускаемая в США.

В индустрии этой свободы меньше. Однако инженер одного большого горьковского завода рассказал мне: в последнее время они вынуждены мириться с тем, что, бывает, до 6% рабочих приходят на работу нетрезвыми!

Каждый научный сотрудник знает, что в институтах России за „аккордную”, т.е. нормальную скорость выполнения заказов приходится доплачивать механикам спиртом (!) из институтских запасов.

Частые явления — это оформление работников на несоответствующие их квалификации, но выше оплачиваемые должности, завышение проделанных работ в отчетах, нарядах и т.п., причем это делают начальники по соглашению с подчиненными.

Длительное наблюдение показывает, что отсутствие хозяи-

на — не единственная причина возникновения этих любопытных явлений. Современный человек, гражданин индустриально развитой страны, не может не иметь уж совсем никаких прав. Лишенный возможности повышать свой жизненный уровень посредством таких честных и прямодушных действий, как забастовка, демонстрация, публичный протест в печати и т.п., он присваивает себе право работать хуже, иногда намного хуже, чем он мог бы, прибегает к неосознанной и скрытой итальянской забастовке, к обманам и полуобманам. Все это так или иначе повышает его зарплату на единицу реально затраченного труда. В результате — чтобы вернуть его к более нормальной работе — повышают его абсолютную зарплату. Так своеобразно протекает здесь процесс неистребимой борьбы человека за повышение своего жизненного уровня.

Этот процесс можно было бы признать нормальным, если бы он не приводил или, точнее, не был связан с определенным уровнем деморализации общества, типичной для тоталитарного социализма и имеющей отношение к интересам тоталитарной власти.

Здесь в СССР некоторые думают, что деморализация в экономической сфере приведет к распаду этого общества, но это ошибка. Диктатуре полезно, если средний гражданин обладает некоторым комплексом вины и благодарности за снисхождение. Заработок населения все же повышается, хотя и остается на достаточно низком уровне, обеспечивающем свободу игры монопольных владельцев инициативы. Повышается и производительность труда — за счет всемирного технического прогресса. Правда, это происходит в большой степени за счет притока информации из наиболее развитых стран, в меньшей — за счет собственных усилий, но все же происходит! В общем, эта система работает.

Здесь нетрудно усмотреть тесную связь этого пункта с пунктом 4 приведенной выше таблицы признаков тоталитарного социализма. Ведь для того, чтобы доля безответственности в деловой сфере была вам прощена, необходима идеологическая лояльность, за которой следит репрессивно-идеологический аппарат, а чтобы эта доля не стала слишком большой — за этим следит тот же вездесущий аппарат. Постоянное число

отбывающих наказание в лагерях — 1,5 (или, по другим оценкам, 3) миллиона человек. Таков сегодня „естественный уровень деморализации”.

Все основные свойства тоталитарного социализма сплетены в крепкий узел. Даже, казалось бы, простая проблема — „право на труд” — отнюдь не столь элементарна. Эта структура требует внимательного и осторожного анализа.

3. О существовании дискретного набора общественных структур

Компактность тоталитарно-социалистической структуры, взаимозависимость ее свойств, которая еще будет детально обсуждаться ниже, говорит об ее исключительной устойчивости. Это само по себе является достаточным основанием, чтобы считать эту структуру *ямой*, в которую могут скатываться народы при неосторожном к ней приближении.

Как мы знаем по своему опыту, в эту яму гораздо легче попасть, чем из нее выбраться. Эта цивилизация исключает свободную духовную деятельность с таким многократным запасом, что кажется идеальной для консервирования на многие века. В этом коварном смысле можно говорить об „исторической правоте” апологетов этого симбиоза тоталитаризма и социализма. Только совершенно исключительные и нетривиальные усилия противников этого режима могли бы здесь изменить ситуацию.

Конечно, те, чьим идеалом является „мягкий” социализм, должны избегать радикальных путей к своему идеалу. Однако я утверждаю, что ситуация гораздо более драматична, чем это кажется на первый взгляд. В яму тоталитарного социализма можно скатиться, даже идя путями мягких, но *безостановочных* социальных преобразований. Не любые преобразования, в частности, экономические, здесь допустимы, даже если их удается проводить постепенно и гуманными средствами.

Кроме того, мы должны быть уверены, что помимо указанной неприятной ямы существуют другие устойчивые общественные образования, так сказать, „мягкие ямы”, более приемлемые для нас. Устойчивыми я называю такие структу-

ры, которые способны существовать в течение многих поколений под руководством не гениальных, а вполне рядовых лидеров. Ведь если человеческий мир развивается по некоему более или менее однозначному „историческому закону“, то рассуждать не о чем, положение безнадежно, и с каждого из нас снимается всякая ответственность.

Вера в неоднозначность общественного развития, с одной стороны, и надежда на то, что исторические альтернативы поддаются некоторому приближенному анализу, с другой, — ключевые пункты моего подхода к проблеме личной ответственности.

Я стою на той точке зрения, что при данном уровне культуры всегда существует целый набор альтернативных вариантов общественных структур, более или менее устойчивых. Далее, кажется очевидным, что не всякие общества возможны. Из этих двух посылок вытекает, что в общем случае допустимые общественные альтернативы образуют хотя и сильно расплывчатый, но все же *дискретный* набор. Политик-реалист должен изучать то, что можно назвать „формулами устойчивых альтернатив“.

Каждый из нас обладает свободой выбора воздействовать на общество так, чтобы оно остановилось на том или другом из возможных альтернативных вариантов. Эта свобода является следствием существенной неоднозначности развития, на чисто отрицаемой советской марксистской теорией. Марксистский детерминизм, утверждающий, что „свобода есть познанная необходимость“, предписывает нам следовать единственному (предсказанному, разумеется, Марксом) закону развития — иначе будем раздавлены.*

* Маркс удивительно чутко схватил и блестяще сформулировал житейскую философию самых примитивных слоев общества. „Свобода, как всего лишь познанная необходимость“, „Культура как надстройка над экономикой“, „Насилие — повивальная бабка истории“, „История как борьба классов“, „Сознание, определяемое бытием“ — это, в конце концов, лишь красивая формулировка прописных истин людей, чье сознание действительно еще не оторвалось от их бытия. Не мог Маркс оторваться и от тысячелетних представлений о существовании мистического „единого исторического закона“.

(Продолжение сноски см. стр. 285).

Неполитик имеет право следовать идеям и чувствам, не имеющим ко всему этому ровно никакого отношения. Однако политик обязан с чрезвычайным вниманием выслушивать тех критиков, которые утверждают, что его вариант идеального общества на самом деле невыполним из-за принципиальной несовместимости задуманных им признаков. К сожалению, сегодня в мире немало таких последователей Маркса, которые, вероятно, уже сомневаются в единственности пути к идеальному будущему — иначе им пришлось бы оправдывать многое из того, что оправдывать не хочется, но которые все еще верят, что марксистский вариант демократического и гуманного социализма с централизованной плановой экономикой реально выполним. Но это — иллюзия, миф, который не становится „научнее”, становясь более массовым. Мы, между прочим, знаем сегодня разные мифы, которые по разным причинам овладевали широкими массами, например, миф национал-социализма; правильность теории не доказывается голосованием.

Я утверждаю, и этому посвящена статья, что централизация в руках государства *всей* экономики с правом единого централизованного планирования несовместима, с точки зрения долговременной устойчивости, с демократическими и интеллектуальными свободами, хотя на короткое время их совместить возможно. Но если это верно, то для сохранения „человеческого лица” необходимо держаться на почтительной дистанции от такой реформы, как полная национализация

Справедливости ради нужно отметить, что прямые доказательства того, что в природе вещей заложена возможность неоднозначности, наука получила лишь в 20-м веке — в атомной физике. Не только во времена Маркса, но и сейчас не представляется возможным построить настоящую научную теорию общества. Но, чтобы признать это, Марксу не хватало научной честности. Дело здесь не только в сложности исследуемой структуры. Существуют принципиальные трудности. Так, наука далека от понимания основных свойств человека — атома, но и культа общества. Не ясно, можно ли распутать природу разумного, но волевого решения, природу самосознания и самопознания. Наконец, построение достаточно „убедительной” общественной теории, вроде теории самого Маркса, часто оказывается таким волевым актом, который изменяет предмет теории! Можно ли учесть это самодействие?

всех средств производства, — она слишком хорошо подходит к тоталитарной структуре, слишком легко сцепляется с ней, чтобы можно было надеяться долгое время удерживать общество от этого сцепления: любая хорошая встряска приведет к образованию устойчивого симбиоза.

Попробуем оценить устойчивые альтернативы тоталитарному социализму.

Общество можно анализировать в его разных сечениях. Попробуем учитывать здесь лишь следующие параметры: степень централизации экономической инициативы; наследуемость собственности и инициативы; доля прибыли, идущая в личное пользование владельца.

Если ограничиться лишь самым грубым приближением, то современный западный капитализм характеризуется сравнительно децентрализованной экономической инициативой, еще более децентрализованным распределением собственности, сравнительно небольшой долей прибыли, идущей в личное потребление владельцев инициативы. Важно, что число независимых владельцев, среди которых находится и государство, а также муниципалитеты, существенно больше единицы. Большая часть собственности передается по наследству, сохраняя инициативу внутри одной семьи.

Социализм современного тоталитарного типа в СССР не следует путать с рабовладельческим социализмом сталинской эпохи, когда рабы-заключенные представляли примерно четверть индустриальной рабочей силы. При возможности абсолютной изоляции от внешнего мира рабовладельческий социализм весьма устойчив.

Современный социализм в СССР связан с максимальной монополизацией инициативы, в частности, экономической инициативы. Коллективный владелец этой инициативы — верхушка государственного аппарата — является владельцем временным, которому, так сказать, „доверено” право игры с собственностью. Формальным же владельцем собственности, средств производства, недр и т.д. является „общество в целом”, оно же — единственный наследник. Это последнее обстоятельство могло бы ограничивать свободу произвола истинных владельцев инициативы — но лишь при наличии политических сво -

бод в полном объеме: независимых партий, представляющих различные взгляды на цели и методы независимых профсоюзов, действительно выборного парламента⁴ и т.д. Тогда это и был бы *демократический социализм с централизованной экономикой*, реальную возможность которого в долгосрочном плане я оспариваю.

В советском варианте доля прибыли, идущая в личное пользование коллективного владельца — верхушки государственного аппарата, может быть признана сравнительно небольшой, хотя тридцатикратное превышение доходов элиты над минимальным уровнем не вызывает сомнений. Действительно, огромные суммы расходуются на другое — на содержание всей иерархической пирамиды, поддерживающей сложившуюся структуру, в частности, на содержание необъятного аппарата репрессий и идеологического воспитания.

Какова могла быть устойчивая структура промежуточного, мягко-социалистического типа? Если мои соображения о неустойчивости демократического социализма с монополизированной экономикой окажутся убедительными, то следует признать, что искомая структура должна характеризоваться прежде всего определенной децентрализацией, демонополизацией ненаследуемой (т.е. временной) собственности и инициативы и более или менее однозначно регламентированной (и малой по величине) долей прибыли, идущей в личное потребление временных владельцев инициативы. В дальнейшем этот вариант будет рассмотрен более подробно. Однако вначале следует несколько глубже проанализировать свойства тоталитарного социализма.

4. Бюрократизация сверхцентрализованной экономики и тоталитаризм

Сверхмонополизация экономики приводит к колоссальной бюрократизации управления со всеми вытекающими отсюда последствиями для отдельного человека. Хотя это еще не есть тоталитаризм и тоталитаризм не есть просто власть бюрократии, нельзя отрицать, что такая всеобъемлющая бюрократизация служит хорошим фундаментом тоталитаризму.

Но в чем, собственно, заключена связь этих двух явлений, каков ее механизм?

В обыденном понимании бюрократизацию связывают с бумажной волокитой, равнодушием к людям. Это верно — вся эта огромная машина управления, согласования, учета, статистической обработки, планирования, обслуживающая необъятное хозяйство, обладает слишком большим внутренним трением и работает часто на себя, имея дело с фикциями, создаваемые ею самой. Но, увы, таков естественный коэффициент полезного действия таких машин. Их КПД зависит от размеров системы, и можно с уверенностью сказать, что национализированная экономика огромной страны слишком велика для современного оптимального размера. Тем не менее, бюрократия выполняет — в этих заданных условиях — свою необходимую работу, она здесь не только неизбежна, но и необходима. Если бы мы имели дело *только* с этим морем служащих разного ранга, мы могли бы надеяться, что постепенное проникание культуры и постепенное улучшение нравов сведет к минимуму духовную несвободу. В сфере бюрократии этот процесс фактически происходит — не без влияния социально-этической пропаганды советских инакомыслящих. Но этот процесс наталкивается на исключительно упорное сопротивление партийной верхушки и, соответственно, репрессивно идеологического аппарата. Полновластные владельцы инициативы не желают терять свои права — но не только в этом дело!

Централизованное планирование и отсутствие свободного рынка создают целый комплекс проблем, с которым бюрократический аппарат не только не способен справиться, но, наоборот, он сам создает новые проблемы. В частности, эта система, взятая сама по себе, без учета волевой шоковой терапии, применяемой время от времени высшим партийным аппаратом, неспособна воспринимать достаточно эффективно новые научные и технические достижения. Эта проблема слишком хорошо известна, я мог бы привести бесконечное количество примеров. Конкретные руководители производства, связанные планом, жесткими ограничениями в расходовании средств, лишённые права личной экономической инициативы, не имеющие материальных возможностей для такой иници-

циативы, знает, что для инициативного развертывания нового производства нужно проходить хлопотливый путь „пробивания в верхах”. Новый крупный проект обычно может быть внесен лишь в планы последующих пятилеток. Малейшие изменения в проекте, если они связаны с новыми затратами, приходят в противоречие с рамками уже расписанного плана и связаны с новыми оттяжками сроков. Все эти хлопоты и связанный с ними риск „потерять доверие” при неудаче не очень выгодны конкретным руководителям производств. Они стараются „проявлять инициативу” на более проторенных путях, идя по пути скорее количественных, чем качественных изменений производства. Это, конечно, не владельцы инициативы, это скорее бюрократы. С некоторыми оговорками эта оценка справедлива также и по отношению к организаторам научных исследований. Нужно признать, что централизация планирования имеет свои законы.

Но как же спутники, ракеты, ядерные боеголовки и прочее? Несмотря на бюрократизацию, несмотря на большую долю безответственности на рабочих местах — экономика развивается сравнительно динамично, пожалуй, не уступая дореволюционным темпам роста, которые с 1885 г. составляли в среднем 5,72% в год. Как это происходит?

Здесь и прослеживаются главные связи. Сверхцентрализация экономики автоматически сцеплена со сверхбюрократизацией, с известной вялостью известных руководителей. Это, однако, частично компенсируется наличием волевой диктатуры центрального владельца инициативы. Этот коллективный владелец, таким образом, не только заинтересован в сохранении своих привилегий истинного владельца, но и видит свою важную роль в этой системе, и видит правильно. Круг, следовательно, замыкается. Вот почему я уверен, что осуществить сочетание монополизированной в руках государства экономики с демократией бесконечно трудно. Сможет ли демократия, скажем, Советы заменить существующий аппарат в его роли активного, инициативного руководителя и надзирателя? Как это конкретно будет выглядеть? Будет ли, например, решение о развертывании нового производства приниматься большинством голосов в каких-либо Советах или с помощью рефе-

рендума? Кто будет принимать ключевые решения, требующие немедленного принятия? К чему приведет ликвидация целеустремленного репрессивно-идеологического аппарата в условиях слабого стимулирования? Если сохранятся рамки жесткого центрального планирования, то каким будет механизм принятия решений по качественному, а не просто количественному изменению производства? Какова вообще компетентность народных советов в вопросах научного и технологического прогресса?

Столкнувшись с этими деловыми вопросами, демократия либо примет разумное решение о децентрализации экономической инициативы, об отделении от себя сферы трудных научно-производственных вопросов, сохранив за собой лишь вопросы сохранения интересов трудящихся, либо вернется к централизованной диктатуре технократов со всеми вытекающими отсюда последствиями, в сущности, к самоликвидации демократии. Но стоит ли идея централизованного планирования такой жертвы?

Зачем нужно сохранять такую машину, которую демократия реально переварить не сможет, которая по желудку только железному тоталитарному режиму?

Эти соображения менее справедливы в условиях малых стран. Совокупность малых стран с централизованными экономиками образует в целом децентрализованную систему, внутри которой условия для тоталитаризации оказываются ослабленными.

5. Некоторые другие черты тоталитарно-социалистической системы

Итак, социализация современной экономики на практике означает не что иное, как передачу всей инициативы в единые руки не наследственных, однако сверхмонопольных собственников. Она дает большое количество эффектов, не все из которых отрицательны. Но в некоторых отношениях, особенно в плане психологическом, она оказывается возвратом к феодальному абсолютизму. В совокупности со всей системой тоталитаризма это неприятно намекает на возможное начало

поворота эволюции к обратному ходу, к деградации. Может быть, не случайно слабо развитые страны, перескакивая через капитализм (вершину эволюции?), попадают прямо в социализм. Правда, в человеке заложено много еще не известных нам возможностей, и нужно надеяться, что западный капитализм — бесспорно „капитализм с человеческим лицом” — не есть абсолютная вершина человеческого развития.

Национализация частично ликвидирует то ощущение несправедливости, которое связано с существованием чужой собственности и власти денег. Взамен, правда, возникает власть как таковая, чистая власть, но современное понимание справедливости легко справляется с этим обстоятельством. По-видимому, многие люди с трудом переносят бремя свободы, необходимости деловой конкуренции и личной ответственности за свою судьбу. Они хотели бы передать это бремя куда-нибудь наверх, не всегда понимая, сколь ужасна цена такой передачи. Основной уровень духовной жизни таков, что политическая активность в условиях свобод стимулируется экономическими интересами. Плохо это или хорошо, я не знаю. Однако так как национализация притупляет до предела экономическую активность, то вместе с ней пропадает и интерес к политической игре и к общественной активности. В результате массы предоставляют карт-бланш центральной власти, к которой рвутся немногие, но истинные игроки. Создаются благоприятные условия — не только материальные, но и психологические — для тоталитаризации всех сторон жизни. Так, абсолютная власть над экономикой уже по одной этой причине естественно расширяется до власти политической и в силу тотальности той и другой — до власти духовной. Вакуум не остается незаполненным. Тут в высшей степени легко задушить независимые средства получения и распространения информации и уморить инакомыслие даже просто голодом, недопущением до определенных сфер деятельности — ведь все сферы деятельности контролируются и планируются государством.

Правда, нужно заметить, что в настоящее время в СССР, благодаря распространению транзисторов, живучести буржуазного окружения и росту числа зарубежных командировок, мы получаем возможность знакомиться с неофициальной ин-

формацией⁵. Еще большую роль играют героические усилия инакомыслящих. При сталинизме же большинство граждан жило в совершенно фантастическом мире.

В этой системе репрессивный аппарат работает в таком тесном содружестве с идеологическим, что их иногда трудно отделить друг от друга, да они переплетены и в кадровом отношении. Можно приводить бесконечное количество примеров. В Киеве секретарь парторганизации Союза писателей продержал в милом разговоре писателя Миколу Руденко, давно исключенного и из Союза писателей, и из партии, как оказалось, только для того, чтобы за эти четыре часа бессодержательно-го разговора КГБ успело вмонтировать подслушивающее устройство в комнате писателя. Но плохое качество работы выдало их (о, святая безответственность!). Когда Руденко пришел домой, он обнаружил развороченный потолок и что-то металлическое в дыре, просверленной из комнаты верхнего соседа. По дороге домой милиция держала его такси еще около часа по пустой придирке; испуганный шофер даже не взял с Руденко плату за такси!

Я знаю, что западные интеллигенты нередко утешаются надеждой, что наиболее отрицательные свойства советского тоталитаризма не смогут привиться на европейской почве, что русский народ обладает, якобы, особенной привязанностью к тоталитарным формам жизни. Это опасная иллюзия. Когда тоталитаризм одерживает победу, он затем формирует себе нацию с нужными качествами и тем продлевает свое существование. В русскую исключительность вообще можно было бы поверить, если бы в Западной Европе не было, и совсем недавно, национал-социализма и фашизма.

Дореволюционная Россия не была ни тоталитарной, ни отсталой страной. Она занимала общее пятое место в мире по промышленной продукции, быстро догоняя конкурентов, занимала первое место по темпам промышленного развития. Например, авиационная промышленность в России выпустила к 1916 г. 1100 отечественных самолетов. Эти факты грубо искажались советской пропагандой. „Мы не имели своей авиационной промышленности, — говорил Сталин, — теперь мы ее имеем.” Действительно, кровавый спуск революции и граж-

данской войны довел экономику страны до уровня петровских времен... Дореволюционная фундаментальная наука дала открытия, не превзойденные советской наукой, и такие имена, как Лобачевский, Менделеев, Павлов, Мечников и др. В сфере политических свобод можно указать хотя бы на то, что центральный орган большевиков „Правда” издавался с 1912 г. в легальной российской типографии.

С другой стороны, ясно, что в результате эгоизма, негибкости и недалекости правящей верхушки социальное развитие искусственно задерживалось в течение слишком длительного времени, так что проводившиеся после 1905 года реформы уже не ослабляли, а развязывали накопившиеся силы ненависти. Чего действительно не умели и не умеют делать в России — это вовремя проводить реформы.

6. Миф „научного социализма”

Большую роль в укреплении престижа тоталитарно-социалистической идеи играет распространение одного мифа, идущего со времен Маркса: что „научная” организация общества требует в качестве одного из важнейших предварительных условий передачи всех средств производства в руки государства — для организации „научного” планирования. Это одна из основ „научной” веры советских коммунистов и множества сочувствующих им в стране и за рубежом.

Здесь обнаруживается, во-первых, непонимание сущности науки. Наука сама в своих основах не поддается научному планированию, ее фундаментальные открытия, способные кардинально изменить лик общества при любой исходной социальной структуре, непредсказуемы. Внутри социалистического общества наука оказывается сферой частной инициативы! Социалистическому государству, в сущности, приходится бороться с этим пережитком буржуазных свобод — и мы здесь, в СССР, являемся свидетелями этой борьбы. При сталинизме подвергались жестокому преследованию все кардинальные научные направления, не вытекающие из задач, поставленных „научным” планированием. И только тогда, когда Запад показал, как эти направления преобразуют те самые

производительные силы, которые, если их „научно” не планировать, вроде бы должны развиваться из рук вон плохо, — только тогда эти направления были реабилитированы. Планирование самих научных исследований в Советском Союзе во многих случаях носит характер планирования научного отставания. Разумеется, полная картина отношений между государством и наукой более сложна и содержит один неожиданный для марксистской „науки” элемент. Дело в том, что поле деятельности государственного владельца также оказывается сферой его частной инициативы! И в той мере, в какой полезность новых научных направлений становится ему понятной, — и только в этой мере — он может дать свое хозяйское „добро” этим направлениям. Но зато этим направлениям может быть обеспечена „зеленая улица”. Беда в том, что для *понимания* полезности даже специалисту нужно видеть перед собой готовые, т.е. кем-то приготовленные варианты приложений. Отсюда и возникает, если оценивать в целом, „бег вдогонку” в фундаментальных, да и во многих других науках.

Вторая и главная ошибка этого „научного” мифа заключается в том, что любое планирование предполагает предварительную формулировку *целей* и методов их осуществления — в соответствии с принятыми моральными принципами. Однако и цели, и методы, и мораль — это вещи, которые не поддаются научному обоснованию, они вообще находятся вне науки. Может быть, большинство народа простым голосованием определит и цели, и методы? Но тогда при чем здесь „научный социализм”? Это будет просто „буржуазная” демократия!

Отношения между тоталитарной властью и большинством обычно более, чем „гармоничны”. Это одна из характерных особенностей этого режима, в отличие от „буржуазной” демократии с ее более или менее свободной конфронтацией различных общественных сил. Куда бы ни шарахалось советское правительство — мы всегда с ним. Такая власть имеет огромную свободу выбора — и она ее осуществляет.

В том-то и дело, что централизация экономики для ее „научного” планирования оборачивается прежде всего фантасти-

ческой концентрацией возможностей полного произвола. Такое общество в принципе гораздо более волюнтаристично, чем общества с децентрализованными, разнонаправленными инициативами, где хотя бы частично действует закон усреднения сил. И тем не менее, „научная” идея „научного социализма” или „научного” коммунизма гипнотизирует миллионы людей! Слишком многим в мире кажется, что единственной альтернативой частной собственности должна быть собственность „общегосударственная”.

7. Призрак тоталитаризации мира

Я считаю, что мир приближается к опасной черте полной тоталитаризации. На это имеются весьма общие и глубокие причины.

Прежде всего, нравственные требования в отношении насилия над духовной жизнью у подавляющего большинства народов мира очень невысоки и легко вытесняются другими интересами. Но как раз глобальное насилие над духовной жизнью, даже в ее небольших проявлениях, является особым отличительным признаком тоталитарного социализма. У большинства современных людей тоталитаризм сам по себе не встречает серьезного протеста, если ему удастся удовлетворить хотя бы какую-то часть их взаимно противоречивых потребностей.

Далее, желание перемен, особенно перемен в социалистическом направлении, является буквально болезнью эпохи. Конечно, это желание часто опирается на справедливые эмоции в отношении капиталистической эксплуатации и эгоизма богатых классов. Но кроме эмоций оно также опирается на общую ложную идею, что люди могут разрешить *все* свои проблемы с помощью социальных преобразований, и на еще более ложный миф „научного социализма”. Я не хочу этим сказать, что социальные реформы нигде не нужны, наоборот их надо проводить вовремя, так как большие запаздывания таят в себе потенциалы насилия. Но, во-первых, если все же значительная часть человечества не умирает сегодня от голода и болезней, то это не столько от справедливого распределения

своих богатств, сколько от великих научных и нравственных достижений западных цивилизаций. Во-вторых, я уверен, что при данном уровне культуры и морали существует некий оптимальный уровень социальных преобразований, за пределами которого ситуация с человеческим счастьем может только резко ухудшиться.

Этого последнего обстоятельства не понимают нигде, в том числе в странах Запада, где это особенно непростительно: ведь они не умирают от недоедания. Бесконечная лента социальных преобразований может неожиданно сбросить Запад в пропасть тоталитарного социализма. Запад вообще не вполне ощущает опасность, идущую от растущего тоталитарно-социалистического окружения. Все еще господствует мнение, что тоталитаризм — лишь временная оболочка социализма, принципиально чуждая ему, которую он по мере развития сбросит. Нет понимания того, что в варианте, так сказать, „полного” социализма социализм и тоталитаризм подходят друг другу как левый сапог правому.

Западная демократия, если она не укрепитя высоким нравственным потенциалом и более ясным пониманием своих целей, не сможет эффективно противостоять натиску тоталитарного социализма. Если говорить о внешних причинах, то они здесь, по существу, те же, что обеспечивают исключительную устойчивость этого режима. Если, например, более высокие научные и технологические результаты Запада легко переходят в лагерь социализма, то научная и техническая информация последнего может быть закрыта в любой момент, как и любая другая информация. Наоборот, гуманитарные достижения Запада остаются неизвестными на Востоке, да и почти не могут быть там использованы, тогда как поток пропаганды, дезинформации и особым образом ограниченной информации свободно течет в обратном направлении. Наконец, капиталы стран рыночной экономики не могут маневрировать на территориях стран с плановой экономикой, тогда как обратное вторжение возможно. Мировая система социализма по мере своего расширения и укрепления будет в принципе способна целенаправленно влиять на кризисные ситуации в капиталистической системе, тогда как обратная возможность

существенно ограничена: при тоталитарном социализме даже очень крупные кризисы, результаты просчетов, экономического произвола или стихийных бедствий — демпфируются тем, что очень быстро распределяются на плечи всего населения или его большей части. Население при этом не протестует, потому, во-первых, что для людей вообще более важна разница в уровнях потребления, чем его абсолютная величина, во-вторых, тотальные средства дезинформации, включая полное сокрытие информации, не позволяют им разобраться, что и где происходит; наконец, и репрессивный аппарат не дремлет.

Тоталитарный социализм является исключительно удобной и заманчивой системой для тех лидеров, которые хотели бы вести крупную и азартную игру. Он позволяет довольно быстро получать некоторые положительные результаты, например, в индустриализации отсталой или разрушенной страны, т.е. в чрезвычайных обстоятельствах, которые, между прочим, можно создавать искусственно. Это кажется более привлекательным, чем терпеливое постепенное развитие. Но затем оказывается, что этот путь является тупиковым для очень многих сфер человеческой интеллектуальной, духовной, эстетической жизни, вообще для активной человеческой жизни.

Потенциалы насилия, всегда существующие в человеческом обществе, используются государством для целенаправленного подавления личности. Личность может проявить себя лишь в сфере государственной игры. Чувство коллективизма, также всегда присутствующее в людях, направляется государством на подавление малейших проявлений индивидуальности. Это происходит не столько по злой воле, хотя и без нее не обходится, сколько по внутренним свойствам структуры.

На Западе немало людей, искренне думающих о счастье человечества. Хочется поскорее избавить людей от физических и даже нравственных страданий. То, что нравственные страдания формируют личность, а ограниченные по величине физические трудности необходимы для развития, кажется, вообще перестает приниматься во внимание. Здесь что-то напутано и требует упорядочения.

8. Поиски выхода: этическое антитоталитарное движение

По совокупности причин зона тоталитаризма нового типа медленно, но неуклонно расширяется, причем происходит незаметная идеологическая и психологическая инфильтрация стран с устойчивыми демократическими традициями. Существует ли выход из складывающейся ситуации?

Я не считаю положение безнадежным. При этом я, разумеется, не считаю для себя допустимым обсуждать выходы, связанные с насилием, и не только по моральным соображениям. Никакое насилие не сможет сейчас изменить к лучшему ту психологическую ситуацию, которую я описал выше, — только к худшему. В сегодняшнем мире сильные встряски могут только увеличить вероятность тоталитаризации именно потому, что существует и опробирован устойчивый симбиоз описанного выше типа. Он имеет слишком глубокие корни, чтобы с ним можно было бороться с помощью примитивного насилия.

На мой взгляд, необходимо пытаться, не рассчитывая на скорый успех, но и не считая эту программу утопичной, постепенно изменять общую нравственную атмосферу, очень остро поставив вопрос о насилии в сфере духовной жизни человека.

Я настаиваю на том, что преследование независимой интеллектуальной, духовной, нравственной жизни в системах социалистического тоталитаризма, проводимое с применением жестокого и унижительного физического насилия, есть современная форма каннибализма, эквивалентная уничтожению „неполноценного” меньшинства в не столь далеком прошлом европейской истории. С этим должно быть покончено. Удивительное равнодушие, которое иногда проявляет западная общественность к ответственным сообщениям советских борцов за гражданские права — об арестах и спецпсихушках за убеждения (а не за насилия или призывы к насилию!), о крайней жестокости концлагерей и тюрем, о беспрецедентной для новейшей истории несвободе печати, мысли, совести, об отня-

тии детей у „слишком” религиозных родителей, — аморально и недальновидно.

Учитывая исключительность ситуации, я бы предложил всем, кто осуждает тоталитаризм, исходя из нравственных побуждений, организационно объединиться в единое этическое анти-тоталитарное движение.

Такое движение не ставило бы своей целью слишком всеобъемлющую нравственную проповедь; из всей иерархии нравственных принципов оно выделило бы, может быть, один, но обладающий бесспорным приоритетом с точки зрения поставленной цели. На мой взгляд, этот принцип должен гласить: **КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТСЯ И ПРИЗНАЕТСЯ ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ НАД ЛЮДЬМИ, НЕ ВИНОВНЫМИ В ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ.**

В сущности, это и есть тот принцип, та нравственная вера, которой придерживается большинство советских инакомыслящих.

Всякая мораль, как сформулированный кодекс поведения, лишь частично опирается на реальные возможности человеческой души. В основном же — на веру в этот кодекс, который сам по себе недоказуем. Хотя человеческая мораль есть продукт мысли гениальных пророков, „доказательства” иногда „содержатся” лишь в их страданиях. Удивительным и обнадеживающим прецедентом светской религии, основатель которой, по-видимому, не принял дозы страданий, является конфуцианство.

9. Поиски выхода, вариант децентрализованного социализма с частной инициативой, но без частной собственности

Помимо этической программы мы должны предложить людям — тем, кого это волнует, — также положительную социально-экономическую программу. Следует учитывать растущее отвращение к частной собственности, придав ему конструктивные формы.

Мы должны позаботиться о том, чтобы та модель, которую

мы предлагаем, была устойчива. В то же время в ней должны быть обеспечены свободы идеологического плюрализма. Как ясно из предыдущего, это, во всяком случае, должно быть общество без абсолютизма государственного планирования и государственной собственности на подавляющую часть средств производства — необходимое, хотя и недостаточное условие.

Выше я показал, что так называемая общегосударственная собственность легко оказывается на практике, в условиях современной индустриализации, особым типом временной монопольной собственности в руках немногих руководителей, обладающих монопольным правом инициативы. Особый характер этой собственности состоит в том, что прибыль, нажива не являются стимулами деятельности руководителей, и это, между прочим, дает большой психологический эффект „доверия к руководителям”. Именно в этом смысле эта собственность может быть названа социалистической.

Советский вариант социализма мог быть назван „централизованным социализмом с централизованной частной инициативой”, но без частной собственности.

Частичный сдвиг стимулов из сферы накопления богатств для себя и своего потомства в сферу творческого интереса к экономической игре произошел уже в рамках современного капитализма — не без давления общественной морали. Однако при соответствующих условиях творческий стимул поглощается стимулом проявления власти над людьми. Предельная монополизация собственности является одним из таких условий.

Так или иначе, современная психология руководства крупным хозяйством такова, что при соблюдении определенных границ, запрещающих сверхмонополизацию собственности, патриархальный стимул личной наживы и передачи собственности по наследству мог бы быть заменен стимулом интереса к игре. Это значит, что постепенное лишение крупных предпринимателей права передачи собственности по наследству, лишение их права изъятия капитала для целей личного потребления, перевод их на заработную плату, зависящую от прибыли, *с полным сохранением всех остальных существующих прав свободной экономической игры, следовательно, с сохранени-*

ем рыночной экономики — сохранит достаточно высокий уровень экономического стимулирования, характерный для капиталистической системы, но отсутствующий на этом уровне руководства в системе монополистического социализма. В то же время это частично удовлетворит современному чувству справедливости.

Несомненно, югославский вариант децентрализованного социализма удовлетворяет этому чувству больше; однако я считаю его недостаточно динамичным для современной экономики и, что хуже, недостаточно освобожденным от черт тоталитаризма: самые ответственные решения и в этом варианте принимает партийное руководство. И это естественно, так как рабочее самоуправление — слишком рыхлая система для принятия таких решений. В варианте, который я здесь предлагаю, рабочие советы должны заниматься не управлением производством, а защитой интересов рабочих.

Аналогичная программа, но с движением в обратном направлении, т.е. от социализма тоталитарного к социализму децентрализованному, выдвигается частью советских инакомыслящих, в частности — А.Д. Сахаровым. Это есть программа передачи экономической и производственной инициативы в руки непосредственных руководителей, децентрализация инициативы. Необходимость частичного введения сфер свободной инициативы именно в том аспекте, как это описано выше, я формулировал в своем письме Л.И. Брежневу в 1973 г.

При этом имеется в виду, что определенная часть экономики в известных отраслях будет управляться по-прежнему непосредственно государством. Государственный сектор необходим уже хотя бы для того, чтобы демпфировать кризисные ситуации.

Должны быть, кроме того, сняты всякие ограничения на частную собственность обычного типа, если ее хозяин не эксплуатирует наемных работников.

Косвенным указанием на то, что предлагаемый здесь режим децентрализованного социализма почти автоматически сцеплен с демократическими свободами, является следующее. Несколько лет назад советские руководители начали экономическую реформу как раз в указанном направлении, пытаюсь

таким образом уменьшить вялость непосредственных организаторов производства, повысить их инициативу и ответственность. Но они остановились и отступили. Стало, по-видимому, ясно, что на этом пути полумерами не обойдешься, одна реформа потянет за собой другую, т.е. возникнет опасность сползания в нежелательную для них структуру, в которой децентрализация экономической инициативы смыкается с децентрализацией инициативы политической.

П р и м е ч а н и я

1. Между прочим, математик Леонид Плющ, третий год жестоко исправляемый в Днепропетровской тюремной психбольнице* — марксист, верящий в социализм с человеческим лицом. Борьба против варварского союза психиатров и КГБ была начата в СССР Владимиром Буковским, находящимся сейчас во Владимирской тюрьме. Уже находясь в заключении, он продолжал эту борьбу. В частности, он и психиатр Семен Глузман, заключенный за убеждения на „обычные“ 7 лет строгого режима, составили „Пособие по психиатрии для инакомыслящих“. Через советские психушки прошли сотни известных и неизвестных критиков советских порядков.

2. Последний случай попытки отнять ребенка, из ставших известными, относился к июлю 1975 г. Милиция прикатила в деревню Илядки Винницкой области, чтобы отобрать дочь у женщины-адвентистки. Они бегали за девочкой до тех пор, пока возмущенные крестьяне не заставили их уехать на этот раз ни с чем. Под коллективным заявлением поставили свои подписи 19 жителей деревни — далеко не безопасный и поэтому редкий акт возмущения. В настоящее время несколько десятков детей находятся под угрозой изъятия из семьи в соответствии с решениями народных судов. Одно из последних решений такого рода, о котором мне недавно сообщили, относится к семье пятидесятников Муравлевых из гор. Саратова (7 человек детей, которые будут изъаты сразу, если кто-либо из детей будет застигнут в молитвенном соб-

* Л. Плющ, как известно, освобожден в январе 1976 г. под мощным давлением мировой общественности. (Примечание после написания статьи).

рации). Спасая детей, родители иногда прячут их, стараются чаще менять место жительства. Основное требование властей – *регистрация* общин, при которой верующие, в частности, обязуются не воспитывать детей в своей вере. Большая часть конфликтов связана с этим требованием.

3. „При социализме невозможны буржуазные свободы“, – совершенно убежденно говорил мне после моего выступления в пользу демократического социализма в 1956 г. (я был тогда немедленно уволен с работы) один известный физик, европейский коммунист, иммигрировавший в СССР. Теперь его взгляды несколько изменились.

4. Многочисленные (к сожалению, пока анонимные) свидетельства заставляют подозревать, что при выборах в Советы для получения нужного процента голосов иногда просто подкидывают в урны нужное число бюллетеней. Ведь чтобы „проголосовать“, с бюллетенем ничего делать не надо – кандидат один.

5. Впрочем, слушать иностранные радиопередачи считается нелояльным. На допросе 24/7–1975 г. следователь Грузинского КГБ выяснял у студента Р. Сирадзе, слушает ли он иностранные радиопередачи.

В 1949 г. мой товарищ студент Маслянский исчез на Лубянке, как говорили, за слушание Би-Би-Си.

15 марта 1975 года, Юрий Орлов

ЧТО ТАКОЕ БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ?

В августе 1973 г. голландская секция Международной Амнистии направила Международному исполнительному комитету в Лондоне документ под названием „Является ли Амнистия достаточно беспристрастной?“. Вопрос этот время от времени поднимается в кругах Международной Амнистии; он обсуждается и сейчас. Соображения по этому поводу были наиболее ясно сформулированы в указанном документе г-ном Х. Левенбергом (Huib Leeuwenberg). Вкратце они сводятся к следующему.

Люди, поддерживающие Международную Амнистию, сосредоточены главным образом в странах Западной Европы и Северной Америки. В других же странах, причем не только в тоталитарно-социалистических, но и в странах третьего мира, Международная Амнистия представлена лишь опекаемыми узниками совести. Это наносит серьезный ущерб представлению о Международной Амнистии как о нейтральной организации, которое всегда считалось одним из сильнейших ее козырей. Одну из причин неприятия Международной Амнистии автор усматривает в том, что в своей деятельности эта организация делает упор на гражданские и политические права человека, а социальным, экономическим и культурным правам отводит подчиненное место.

Различие между этими двумя группами прав состоит в следующем. Гражданские права необходимы для „свободы от страха“; государству предъявляется требование, чтобы оно не препятствовало свободному выражению идей и обмену информацией между гражданами. Необходимость соблюдения гражданских прав — основа западноевропейского либерализма, ведущего начало от эпохи Возрождения. Социально-экономические права имеют своей целью „свободу от нужды“. От

государства требуется, чтобы оно тем или иным путем эту „свободу от нужды” обеспечило. Представление о социально-экономических правах личности — гораздо более позднего происхождения; это одна из основ социализма. В XX веке, под влиянием рабочего движения, социально-экономические права были включены в конституции многих капиталистических стран, однако в социалистической идеологии они занимают гораздо более видное место. По учению Маркса, производительные силы и производственные отношения, которые отражаются в социально-экономических правах, являются определяющим элементом, „базисом”, а гражданские и политические права есть нечто вторичное, „надстройка”.

Таким образом, упор на ту или другую группу прав человека имеет отчетливо видимую идеологическую компоненту, что нашло отражение в истории соответствующих международных документов. Всеобщая декларация прав человека ООН была результатом инициативы западных держав (1948 год). В 1966 году Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах были приняты Генеральной Ассамблеей ООН после 18 лет дискуссий и компромиссов, которые показали, что первую группу прав продвигали западные страны, а вторую — социалистические и большинство развивающихся стран.

Статьи 5,8,18 и 19 Всеобщей декларации прав человека, на которых основывает свою деятельность Международная Амнистия, целиком покрываются Пактом о гражданских и политических правах. „Вывод самоочевиден, — пишет Х. Левенберг, — до тех пор, пока Международная Амнистия ограничивается категорией гражданских и политических прав, ее нейтральность, с точки зрения социалистических и развивающихся стран, — воображаемая. Это ограничение означает отказ признать социалистическую концепцию прав человека и, следовательно, отдает предпочтение капиталистической идеологии ... Подводя итог, можно сказать, что из-за своего молчаливого предпочтения капиталистической концепции свободы (которое логически следует из одностороннего продвижения гражданских и политических прав) Международная Амнистия не

смогла доказать правительствам социалистических и развивающихся стран провозглашаемой ею нейтральности.”

Х. Левенберг заканчивает свои соображения рекомендацией изучить, какую роль в отрицательном отношении этих стран к Международной Амнистии играют экономические и социальные права человека, выраженные в статьях 20 и 23 Всеобщей декларации прав человека, с тем, чтобы предпринять, если это окажется необходимым, пересмотр целей организации. Руководство голландской секции Международной Амнистии предлагает Международному исполнительному комитету вступить в контакт с учреждениями и отдельными гражданами в нескольких социалистических и развивающихся странах и попросить их сформулировать точку зрения их стран на проблему прав человека. Следует также попросить их указать, „какую позицию должна занять организация подобная Амнистии, чтобы обеспечить себе больше сотрудничества со стороны этих стран.” В другом, более позднем (сентябрь 1975 г.) документе голландская секция приводит аргументы за и против включения социально-экономических прав в сферу действия Международной Амнистии и приходит к следующему выводу: „Таким образом, невозможно сказать, что перевешивает: преимущества или недостатки”.

Что поражает меня во всех этих обсуждениях, так это диспропорция между соображениями о нейтральности и беспристрастности Международной Амнистии с одной стороны и целями и принципами этой организации — с другой стороны. Как будто не беспристрастность должна вытекать из целей, идей и принципов Международной Амнистии, а ее цели должны приспособливаться к беспристрастности — нет, хуже, к чьему-то представлению о беспристрастности, причем, далеко не беспристрастному представлению!

Г-н Левенберг совершенно справедливо противопоставляет друг другу две концепции прав человека, а по существу — две концепции общества. Западная концепция провозглашает гражданские и политические права личности основой основ человеческого общежития, непреложным принципом, который надо соблюдать здесь и сейчас. Экономическая и социальная справедливость рассматривается скорее как цель, как идеал,

об осуществлении которого можно говорить лишь в смысле относительном. Тоталитарно-социалистическая концепция общества полностью отрицает гражданские и политические права личности, но частично признает ее социально-экономические права: в той степени, в которой это необходимо для функционирования государственной машины. Однако, поскольку отрицать права человека сейчас не модно, идеологи тоталитаризма несколько приукрашивают свою концепцию для внешнего употребления; в результате на словах признаются все права человека, но на первое место выдвигаются социально-экономические права. Фактически, это лишь уловка, имеющая целью отвлечь внимание от проблемы гражданских прав. Вряд ли у кого-нибудь из серьезных людей могут быть сомнения на этот счет. Сам Левенберг пишет об этой концепции, как мне кажется, с явной иронией: „Когда все формы экономической эксплуатации будут искоренены и будет построено бесклассовое общество, иными словами, когда экономические, социальные и культурные права будут гарантированы политически, законодательство автоматически приспособится к новому экономическому базису. И только тогда будут созданы условия для осуществления гражданских и политических прав.”

Итак, перед нами две концепции, две идейные платформы. Что же должна означать беспристрастность в этом контексте? Что Международной Амнистии следует отказаться от выбора между этими двумя концепциями и признать их равноправными? Но это было бы безыдейностью и беспринципностью, а не беспристрастностью. Беспристрастность международной организации не означает, что ее идеи и принципы должны разделяться каждым человеком на планете: таких идей и принципов не существует; она означает лишь равное применение принципов ко всем странам, общинам, людям.

Акцент гражданских и политических прав человека — это идейная основа Международной Амнистии, на которой она возникла и приобрела влияние в международной жизни. Социально-экономические права — совсем другая проблема: пусть важная, но другая. Существует огромное операционалистское различие между гражданскими правами и социально-экономи-

ческими правами. Первые сравнительно легко определимы и проверяемы. Требование гражданских свобод состоит в том, что государство не должно преследовать людей за выражение политических взглядов и обмен информацией. Поэтому совершенно ясно, что должно сделать государство, чтобы удовлетворить это требование: просто прекратить преследования. Социально-экономические права допускают множество неоднозначностей в трактовке и проверке. Но самое главное — их осуществление требует сложного комплекса экономических, политических, социальных и культурных мероприятий, причем относительно того, какие именно нужны мероприятия, может быть множество различных мнений, порождающих различные политические течения. Универсального рецепта, как достичь изобилия и социальной справедливости, увы, не существует. Критика социально-экономических условий в отдельных странах неизбежно привела бы к распаду Международной Амнистии на враждующие политические фракции. И тогда она не смогла бы выполнять свою основную функцию, ради которой она была создана, — стоять на страже гражданских и политических прав. Именно эту цель — политизации и распада Международной Амнистии и вообще движения за гражданские права человека — преследуют тоталитарные страны, стараясь привлечь внимание к социально-экономическим правам в ущерб гражданским правам.

Другой важный принцип, входящий в идейную основу Международной Амнистии, — это ограничение сферы защиты лишь теми лицами, которые не применяют и не пропагандируют насилия. Этот принцип тоже подвергается кое-кем критике. Аргумент таков. Бывают такие режимы, которые, с одной стороны, бесчеловечны и отрицают основные права личности, а с другой стороны, могут быть изменены только насильственным путем; в этих случаях насилие надо признать оправданным. Я думаю, эти доводы совершенно неосновательны. Оправданность или неоправданность насилия в каждом конкретном случае относительна, она может быть предметом спора и зависит от политических взглядов. Допущение насилия хотя бы в одном случае будет означать, что Международная Амнистия взяла на себя функцию общей оценки политических режимов

и даже выбор средств для их свержения. Это радикально изменило бы идейную основу организации. От политической нейтральности не осталось бы и следа. Международная Амнистия сильна тем, что она борется именно *за гражданские права*, а не *против режимов*, которые эти права нарушают. В этом различии и проявляется нейтральность Международной Амнистии.

Беспристрастность не есть безыдейность. Да, акцент на гражданских правах человека — западная идея. Ну и что? Значит ли это, что международная организация глобального характера должна от нее отказаться? Но ведь это — великая идея, необходимая всему миру, и незападным странам в первую очередь.

В истории западной цивилизации социально-экономические права человека были завоеваны (в той степени, в которой они завоеваны) после и в результате признания гражданских прав. Взрывоподобное развитие промышленности и науки, произошедшее в новое время, неотделимо от западной идеи о свободе личности. Однако, для стран, проходящих стадию модернизации в XX веке, ситуация складывается иначе. Используя западную промышленную технологию и экономическую помощь великих держав (то есть, в конечном счете, ту же технологию), правительства этих стран получают возможность удовлетворить первичные потребности своих граждан, отказав им в то же время в элементарных гражданских правах. Опять-таки благодаря западной технологии в виде современного оружия и средств массовой коммуникации правительства могут контролировать экономическую, интеллектуальную и эмоциональную жизнь граждан с немыслимой ранее эффективностью.

Этот — тоталитарный — подход к проблеме общественного устройства ведет к дегуманизации общества, к остановке его развития. Это — эволюционный тупик. И даже с точки зрения чисто экономической, тоталитарный путь, как показывает опыт, не ведет к результатам, достижимым в свободном обществе. Тоталитаризм — это соблазн для руководителей страны, сулящий власть и богатство. Для нации в целом — это самообман, приводящий к видимости успеха лишь в пер-

вое время. Это опьянение, „алкоголем” которого является технология, созданная Западом. Поэтому и долг Запада — противодействовать тоталитарному опьянению. Нет ничего удивительного, что Международная Амнистия опирается в своей силе на западные страны. В свое время европейские колонисты и торговцы, продавая спиртные напитки туземцам, доводили до вырождения целые селения и народы. Останется ли западная общественность равнодушной к тому, что это повторяется теперь в новом качестве и в новом масштабе — грозя затопить весь мир, в том числе и Запад? От потенциальных потребностей „алкоголя” не приходится ожидать сопротивления — ведь они не знают, что это такое. А то, что в странах Запада так много людей поддерживают Международную Амнистию, дает основания для надежды. В маленькой Голландии — полторы тысячи групп Международной Амнистии. Это замечательно!

Тот факт, что Международная Амнистия основана на западных идеях, не мешает ей быть организацией глобальной и политически беспристрастной. К сожалению, западное общественное мнение в последние годы часто бывает склонным в стремлении к ложно понятой „беспристрастности” и „нейтральности” добровольно сдавать позиции в идейной борьбе с тотализмом, приносить в жертву жизненно важные идеи. Это проявилось недавно в реакции некоторых кругов на присуждение академику А. Сахарову Нобелевской премии мира — крупное событие в плане борьбы за права человека и взаимоотношений между Востоком и Западом.

Один из старейших и известнейших научных журналов мира — „Нейчур” — пишет в редакционной статье 16 октября 1975 г.:

„Присуждение Нобелевской премии мира академику А.Д. Сахарову удивило почти всех. Несомненно, одно время его можно было рассматривать как кандидата на Нобелевскую премию по физике, но мало кто думал о нем в контексте премии мира. Так было ли решение комитета в Осло вдохновенным жестом, направленным на расширение сферы „мира” путем включения в нее прав человека как „единственного прочного основания для подлинной и долговечной системы

международного сотрудничества” — как гласит формулировка премии, или это был просто политический акт, который мог быть совершен из относительной безопасности Скандинавии и был рассчитан на причинение Советскому Союзу некоторых неприятностей?

Прежде всего необходимо сказать, что деятельность Сахарова — вначале как физика, затем как пропагандиста ограничения вооружений, затем как социал-демократа, борющегося за гражданские права, — достойна восхищения. Если присуждение премии этого года и оспаривается, то спор никоим образом не идет вокруг личных качеств академика Сахарова. Далее, не подлежит сомнению, что присуждение премии поддержит Сахарова, если поддержка необходима, в его работе.

Все это хорошо. Но даже если Запад может, в целом, рассматривать эту премию как присужденную за работу в области прав человека, Советский Союз, несомненно, рассматривает ее как образчик политического цинизма, имеющий целью поддержку смутьянов. Если бы Нобелевский фонд был политической организацией, созданной для поддержки западных идеалов, это не имело бы большого значения — но тогда и Нобелевские премии имели бы значение только Сталинских премий. Претендуя на глобальное значение, Нобелевские премии должны быть свободны от той двусмысленности и поляризации, которые были порождены премией этого года; и не только этого года — недавние награждения Вилли Брандта, Ле Дык Тхо и Генри Киссинджера все были в своем роде политическими и спорными.”

Я был чрезвычайно обрадован решением Нобелевского комитета. Потому что не было в 1975 году человека, в большей степени заслужившего Нобелевскую премию мира, чем академик Сахаров. Формулировка премии мира: соблюдение гражданских прав человека в глобальном масштабе — единственная надежная основа мира. С закрытым обществом подлинного мира быть не может. Вклад Сахарова в дело прав человека — вклад в дело мира, и он значительнее, чем торжественно провозглашаемые обязательства, которые нарушаются на следующий день после подписания. Далее, не надо забывать, что

в присуждении премии мира, в отличие от других премий, играет роль не отдельный продукт личности — научное открытие, художественное произведение — а личность в целом, ее влияние на современников. Мы видим в Сахарове одну из немногих титанических личностей нашего времени. Сахаров создал новую модель поведения, влияние которой огромно и по-настоящему проявится лишь в будущем.

Все эти соображения, для меня совершенно несомненные, отнюдь не были очевидными, как мне было известно, для широкой публики на Западе. Решение Нобелевского комитета было нетривиальным, оно требовало известного мужества и вызвало приятное удивление.

Напротив, реакция „Нейчур” вызывает у меня неприятное удивление. Дело не в том, что кто-то не согласен с решением Нобелевского комитета, которое я одобряю; дело в аргументах, выдвигаемых журналом. Я готов был бы выслушивать и обсуждать любые доводы относительно вклада Сахарова в дело мира. Но ничего подобного в статье нет. А личности Сахарова дается высокая оценка. Единственная причина, по которой „Нейчур” критикует решение Нобелевского комитета, — то, что оно вызывает недовольство Советского Союза. Итак, неважно, какова роль Сахарова в международной жизни, неважно, заслужил ли он премию мира или нет, — но раз советские власти рассматривают Сахарова как „смутьяна”, от присуждения премии надо было воздержаться.

И это называется нейтральностью? Беспристрастностью? Тогда что же такое *пристрастность*? И что такое *подобострастность* — худший вид *пристрастности*, проистекающий от страха перед силой?

Когда „Нейчур” сопоставляет Нобелевские и Сталинские премии аргументация становится на первый взгляд убедительной. В самом деле, очень не хочется, чтобы Нобелевские премии были как Сталинские. Но при более внимательном анализе убедительность этого аргумента рассыпается. Для такого анализа нам снова придется вернуться к понятию *беспристрастности*.

Мы находим в современном мире две противостоящие идеологии: западную (либерально-демократическую) и восточ-

ную (тоталитарную или, если угодно, тоталитарно-социалистическую). Им соответствуют противостоящие политические блоки, обладающие противостоящими политическими целями: каждая сторона хочет, чтобы человечество в целом приняло ее идеологию и устроило жизнь по ее модели. Что же такое политическая беспристрастность в этой ситуации? И существует ли она вообще?

Западная и восточная идеологии дают на этот вопрос противоположные ответы.

Западная идеология утверждает, что беспристрастность существует и в определенных ситуациях необходима. Человеческий мозг обладает способностью смотреть на себя как бы со стороны: свою систему идей, оценок, целей рассматривать с точки зрения более обширной *метасистемы*. В частности, человек может отвлечься от своих целей, как бы страстно он к ним ни стремился в действительности, и анализировать вещи так, как если бы этих целей у него не было. Это и есть беспристрастность. Без нее не было бы науки и была бы невозможна разумная коррекция общественных целей.

Восточная идеология утверждает, что никакой беспристрастности — во всяком случае, в вопросах, связанных с общественной жизнью, — нет и не должно быть. Каждая мысль и каждый поступок индивидуума непосредственно служит целям того лагеря, к которому он принадлежит. Беспристрастность — либо обман, либо самообман. Обычно о беспристрастности говорит тот, кто тайно перешел на сторону врага.

Различие между Сталинскими и Нобелевскими премиями состоит в том, что Сталинские премии должны быть политически пристрастны и по замыслу, и по осуществлению, а Нобелевские премии по своему замыслу должны и могут быть беспристрастными. Конечно, человек — существо несовершенное, и в осуществлении этого замысла неизбежны какие-то проявления пристрастия и другие отклонения. Однако сам замысел и наличие в арсенале западной цивилизации определенной традиции беспристрастности, умение быть беспристрастным заставляет мыслящих людей во всем мире, в том числе и в Советском Союзе (в том числе и советских руководителей!), относиться к Нобелевским премиям совсем не так, как к Ста-

линским. Это отношение не изменится в результате одного-двух спорных случаев, ибо оно основано не на статистическом анализе результатов, а на понимании различия между западной и восточной идеологиями. Нужны серьезные усилия, чтобы изменить это отношение. Что касается данного случая, то именно отказ от присуждения премии Сахарову по политическим соображениям, как это хотелось бы журналу „Нейчур“, был бы отклонением от замысла. Люди ожидают, что Нобелевский комитет будет руководствоваться исключительно своим видением вклада кандидатов на премию в дело мира, отвлекаясь от политических целей как своей, так и противоположной стороны.

В выступлении „Нейчур“ мы наблюдаем странное явление: джентльмены, явно принадлежащие к западной стороне, стремясь как будто к беспристрастности, призывают на деле к политической дискриминации в пользу восточной стороны. Причина этого явления кроется в том фундаментальном факте, на который я указал выше: подлинное, без кавычек, понятие беспристрастности — понятие целиком западное. Мнимая беспристрастность, являющаяся на деле безыдейностью, ведет к отказу от этого понятия, как чуждого и неприемлемого для восточной стороны, и к замене его на политический прагматизм, а проще говоря, — на постоянную заботу о том, чтобы не разгневать Москву. Во многих случаях (и присуждение Нобелевской премии мира академику Сахарову — один из них) беспристрастный подход приводит к неблагоприятным для тоталитарного лагеря результатам. Тогда мнимая „беспристрастность“ выступает в качестве защитника теории и практики тоталитаризма.

О конечной причине сдачи идейных позиций Западом вряд ли может быть два мнения: это — страх. Когда человек Запада старается быть беспристрастным, он, следуя лучшим западным традициям, легко отвлекается от своих политических идеалов и целей, но от существования вооруженного тоталитарного лагеря и тяготеющего к нему третьего мира отвлечься не так-то просто. В результате перевес оказывается на стороне тоталитаризма. Это — психологическая основа мюнхенской политики.

„Нейчур” заканчивает свою статью словами: „Мы отмечали и раньше, что Нобелевские премии часто оставляют за собой разрушительный след. Это особенно так по отношению к премии мира: Нобелевскому фонду пора серьезно заняться поиском других способов поддержки своих достойных идеалов.” Из приведенной ранее части статьи мы видим, что эти другие способы не должны были бы, по мысли журнала, порождать „поляризации”. Но как можно избежать поляризации в нашем поляризованном мире, когда даже понятие беспристрастности отвергается одной из сторон? Очевидно, лишь проявив пристрастие к этой стороне.

Современному миру жизненно необходимы внеполитические беспристрастные организации глобального охвата, такие как Нобелевский фонд и Международная Амнистия. И в идейном, и в организационном отношении они могут базироваться только на Запад. На Востоке ничего подобного не может быть по определению. Смешанная восточно-западная организация может оказаться способной на компромисс, но никак не на беспристрастность. Однако и в западных условиях сохранение беспристрастности — дело нелегкое. Критика таких организаций, основанная на рассмотрении концепций и решений по существу, необходима и конструктивна. Критика, порожденная малодушным политическим конформизмом, — деструктивна. Будет очень печально, если такая критика разрушит традиции Нобелевского фонда или Международной Амнистии.

Москва, 1975 год

*Валентин Федорович Турчин,
председатель советской группы
Международной Амнистии.*

ОБ АВТОРАХ

Барabanов, Евгений Викторович — родился в 1943 году, окончил исторический факультет Московского университета, искусствовед, сотрудничал в журнале "Декоративное искусство", в издательстве "Искусство", писал статьи о русской философии в "Философскую энциклопедию". В 1973 году Барabanов был обвинен в передаче на Запад произведений самиздата и уволен с работы, ему грозило привлечение к суду за "антисоветскую деятельность". В своем обращении к мировой общественности от 15 сентября 1973 г. Барabanов заявил, что не считает себя виновным, что как христианин он почитает своим долгом сохранять русскую духовную культуру, и потому он передавал и будет впредь передавать на Запад те произведения русской мысли, которые не могут быть опубликованы в СССР. В защиту Барabanова выступили христианские и научные круги ряда стран: Франции, Италии, Англии, Бельгии, Германии и США. Как специалист по истории русской религиозной мысли и раннехристианской эстетике он был приглашен читать лекции в европейские и американские университеты, однако не получил разрешение выехать за границу.

Барabanов — один из немногих самиздатских авторов, пишущих о проблемах Церкви и христианства в современном мире. Одна из его статей "Раскол Церкви и мира" вошла в сборник "Из-под глыб".

Копелев, Лев Зиновьевич — родился в 1912 году. Копелев принадлежит к старшему поколению, прошедшему еще довоенную гуманитарную школу (Институт философии, литературы и истории), войну, сталинские лагеря. В СССР и за рубежом Копелев приобрел широкую известность своими исследованиями о западной литературе, в частности, современной немецкоязычной: Томасе Манне, Ф. Кафке, Брехте, Ремарке, Белле и др. После выхода из лагеря в 1954 г. Копелев вступил в общественную жизнь, добиваясь реабилитации для многих

деятели русской культуры, амнистии для политических заключенных, выступая в защиту опальной советской интеллигенции, а также борясь с попытками ресталинизации. Весной 1968 г. за откровенное интервью, данное австрийской коммунистической газете, Копелев был исключен из партии и потерял работу в Институте истории искусств. Копелев не имеет возможности публиковаться в советских издательствах, объявивших ему негласный бойкот. Однако он широко публикуется на Западе. Его последнее произведение, автобиографическая книга "Хранить вечно", изданная по-русски в США в 1975 г., вышла уже на немецком языке и переводится на многие другие.

Литвинов, Павел Михайлович — родился в 1940 году, окончил физический факультет Московского университета. Преподавал физику в Московском институте тонкой химической технологии. С 1967 года — активный участник движения за права человека в СССР. С января 1968 года из-за своей общественной деятельности потерял работу. В августе 1968 года арестован за участие в демонстрации на Красной площади в Москве против вторжения советский войск в Чехословакию. Провел несколько месяцев в Лефортовской тюрьме, затем был отправлен в ссылку в Восточную Сибирь, где работал электрослесарем на флюоритовом руднике. После освобождения в конце 1972 года вернулся в Москву, где продолжал свои выступления в защиту прав человека. Продолжал подвергаться преследованиям властей, не смог найти работу и получить разрешение постоянно жить в Москве. В декабре 1973 года КГБ предложил Литвинову эмигрировать из Советского Союза. В марте 1974 года Литвинов с семьей покинул Советский Союз. С апреля 1974 года живет в США, прочитал ряд лекций в американских университетах о правах человека в Советском Союзе, участвует в работе издательства "Хроника" в Нью Йорке, заканчивает книгу и преподает математику и физику в школе. В 1967-68 годах составил, прокомментировал и опубликовал в самиздате сборники о преследованиях инакомыслящих в Советском Союзе: "Дело о демонстрации на Пушкинской площади" и "Процесс четырех". Впоследствии сборники были опубликованы на Западе на многих языках.

Меерсон-Аксенов, Михаил Георгиевич — родился в 1944 году, окончил исторический факультет Московского университета, работал в Институте истории. С 1966 г. занялся распространением религиозно-философского и общественного самиздата и христианским просвещением. Участвовал в движении за права человека в СССР, подписал ряд писем в защиту противозаконно осужденных лиц. С 1968 года начал публиковаться как под псевдонимами, так и под собственным именем в самиздате. Его интересы охватывают широкий круг тем — от богословских и религиозно-философских до общественно-политических. В 1972 году эмигрировал. Жил во Франции, где сотрудничал в русских христианских журналах "Вестник РСХД" и "Логос", в издательствах "ИМКА-пресс" и "Жизнь с Богом" в Брюсселе. В настоящее

время живет в США, где заканчивает православный богословский институт "Св. Владимирскую семинарию", пишет на религиозно-философские и общественные темы, публикуясь в западных журналах. Статья "Рождение новой интеллигенции" написана еще в России, но была значительно переработана в последние годы.

Дмитрий Нелидов — псевдоним.

Орлов, Юрий Федорович — родился в 1924 году. С 1941 года работал токарем. В 1944 году призван в армию, был на фронте, а после демобилизации в 1946 году поступил сначала на физикотехнический, а затем физический факультет Московского университета. Одновременно работал истопником на одной из фабрик Москвы. После окончания университета в 1952 году работал в Институте теоретической и экспериментальной физики Академии наук СССР. В 1956 году был исключен из партии и уволен с работы за выступление на партийном собрании о необходимости демократических преобразований в Советском Союзе. После этого уехал в Армению, где защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. В 1968 году был выбран в члены-корреспонденты Армянской Академии наук. Однако под нажимом из Москвы Ю.Ф. Орлов в 1972 году был уволен с работы, а в 1974 году был снова уволен из Института теоретической и экспериментальной физики, куда ему удалось вновь устроиться, за то, что направил Брежневу письмо в поддержку А.Д. Сахарова. С тех пор Ю.Ф. Орлов не имеет работы. С 1973 года Ю.Ф. Орлов — член советской группы Международной Амнистии.

Пайпс, Ричард — родился в 1923 году в Польше. В 1940 году переселился в США. Три года служил в американской армии. В 1945 году окончил Корнельский университет. Специализировался по русской истории в Гарвардском университете под руководством М.М. Карповича. Защитил диссертацию о национальном вопросе во время революции в России, которая вошла впоследствии в книгу "Образование Советского Союза" (1953). С 1958 года Ричард Пайпс — профессор Гарвардского университета. Среди многочисленных работ Пайпса по русской истории наиболее важны "Биография П.Б. Струве", т. 1 (1970) и "Россия при старом режиме" (1974). Академическая работа историка-исследователя сочетается у Ричарда Пайпса с пониманием проблем современной России.

Померанц, Григорий Соломонович — родился в 1918 году в Литве. С 1937 года учился в Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ) в Москве. После начала Второй Мировой войны пошел добровольцем на фронт и четыре года служил в советской армии. В 1947 году исключен из партии и арестован по политическому обвинению, срок отбывал в Мордовских исправительно-трудовых лагерях. В 1958 году, после смерти Сталина, амнистирован. Работал учителем в Донбассе, затем возвратился в Моск-

ву, где работал в фундаментальной библиотеке общественных наук. Г.С. Померанц написал диссертацию о дзен-буддизме, но не получил разрешения на ее защиту за заявление о своем несогласии с решением суда по делу Галанскова, Гинзбурга и других в 1968 году. В самиздате известно несколько публицистических статей Г.С. Померанца, часть которых была собрана в книгу и напечатана за границей под названием "Неопубликованное". Самиздатская публицистика Г.С. Померанца отличается острой стилистикой и широким гуманизмом подхода к живым проблемам нашего времени.

Турчин, Валентин Федорович — родился в 1931 году. Доктор физико-математических наук. Работал в Обнинске в Физико-энергетическом институте, а затем был старшим научным сотрудником в Институте прикладной математики Академии наук СССР, где предложил и разработал новый машинно-независимый язык для программирования "Рефал".

В 1968 г. в самиздате появилась статья В.Ф. Турчина о последствиях сталинизма — "Инерция страха". С 1973 года он руководил лабораторией в ЦНИПИАС (Центральный научно-исследовательский институт проектирования автоматизированных систем в строительстве). Однако за поддержку А.Д. Сахарова и другие правозащитные выступления В.Ф. Турчин был лишен работы. В.Ф. Турчиным написано около 65 научных работ, из них — три монографии. В.Ф. Турчин имеет несколько предложений работы за границей. Однако в выездной визе ему отказано. Он подвергался обыскам, допросам и другим преследованиям. В настоящее время В.Ф. Турчин является председателем советской группы Международной Амнистии.

Шрагин, Борис Иосифович — родился в 1926 году. В 1949 году окончил философский факультет Московского университета, с 1966 года — кандидат философских наук. После окончания университета преподавал философию в Киргизском педагогическом институте (г. Фрунзе), работал учителем в Свердловске и в Москве. С 1958 года работал научным сотрудником в Институте истории искусств. Опубликовал в советской печати более сорока работ по эстетике, теоретическим проблемам современного искусства и истории культуры, активно участвовал в художественной и научной жизни, преподавал эстетику в Художественном институте им. Сурикова и других вузах, выступал с многочисленными лекциями. В 1968 году был исключен из партии и уволен с работы за участие в правозащитном движении. С тех пор, вплоть до эмиграции из Советского Союза, не имел постоянной работы и не мог печататься под собственным именем. С 1967 года писал для самиздата. Отдельные самиздатские статьи Б.И. Шрагина были опубликованы за границей под разными псевдонимами (Яр. Ясный, Лев Венцов и др.). С 1974 г. живет в США, профессор в Амхерст колледже.